



ЮНОСТЬ

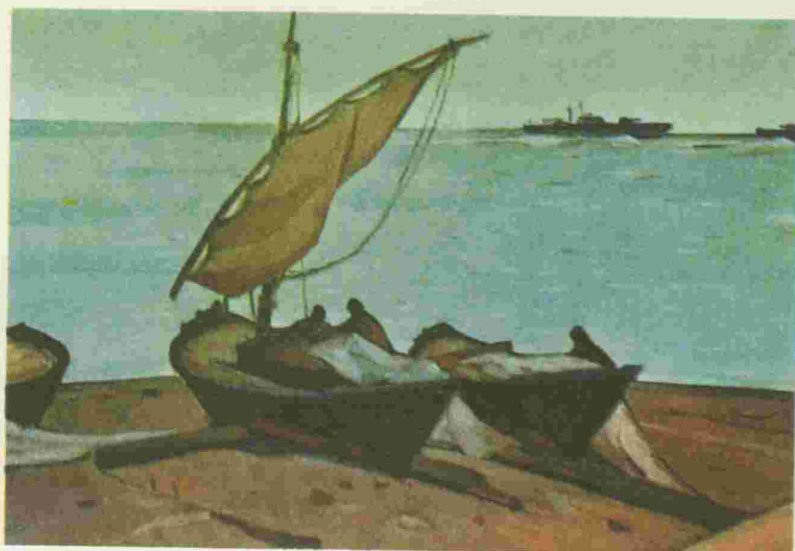
12
1971



Из произведений В. ПАВЛОЦКОГО (Ашхабад).

Студентка

У мирных
берегов



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ



12 (199)
ДЕКАБРЬ
1971

Журнал
основан
в
1955
году

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Евгений БОРИСОВ. Обычный рейс. Рассказ 5

Анатолий ТКАЧЕНКО. Праздник большой рыбы. Повесть 14

Марк СЕРГЕЕВ. Вожатый 3

Леонид ВЫШЕСЛАВСКИЙ. Утренняя почта. Лодка. Фигурное катание. Дом поэта 3

Сергей АЛИХАНОВ. «Мне вспоминается песчаный берег речки...» «Прекраснейшее из призываний...» 4

Михаил БЕЛЯЕВ. «Воротынское поле... Как дорога тиха!...». «Просторы вырастают...». «Грядет холод, грянет...». «Снега летят сквозь рамы...» 11

Леонид ЛАТЫНИН. Работа. «И снова день распался на часы...». «Нет, не метель, а листопад...». «А день подаренный не гас...». «Тихо у светлого сада...» 11

Семен ГРИНИН. Бухарские стихи. Родной язык. «Я снова за тобою следую...» 12

Инна КАШЕЖЕВА. «Стараясь вопреки рассудку...». «Питаюсь я страстями, как сластями». «О, где ты, стиль эпистолярный!...» 13

Лев ОШАНИН. Будапешт. «Краса осеннего листа...» 52

Новелла МАТВЕЕВА. Рубай о зависти. Подземелья. Цветная ночь 53

Эдуард БАЛАШОВ. «Я забыл ваше имя...». «Война. Кто сумел — уехали...» 62

Юрий ПАШКОВ. Военное дело. «Стоял народ и слушал сводку...». «С неба самолетик мой низвергся...» 63

Петря ДАРИЕНКО. Наказ отца. Перевел с молдавского А. Богучаров 63

Анна АХМАТОВА. Из неопубликованного 64

Евгений КРАСАВЦЕВ. В тайге. «Не кукуй, моя кукушка, сколько лет...» 91

ПУБЛИЦИСТИКА

Алексей СУРКОВ. Великий демократический поэт России 54

П. КАРП. Дух гнева и печали 57

Н. НАУМОВА. О зрелости подлинной и мнимой 65

Владимир АМЛИНСКИЙ. Мальчишки без девчонок 67

Ю. ЗЕРЧАНИНОВ, А. СИЛЕЦКИЙ. Фурмановы и Чапаевы. (К 80-летию Д. А. Фурманова) 88

С. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ. Певец отважных людей. (К 70-летию со дня рождения А. А. Фадеева) 90

«Аврора — золотой час». Обзор писем в редакцию 92

Образ образования. Беседа с делегатом Первого Всесоюзного слета студентов Камилем Исхаковым 95

НАУКА И ТЕХНИКА

Евгений ФЕДОРОВ. По законам природы 79

КРУГ ЧТЕНИЯ

Маленькие рецензии и аннотации 86

ДЕБЮТЫ

Леонид ЯКОБСОН: «Моя битва за новую хореографию» 97

СПОРТ

Дмитрий РЫЖКОВ. В поисках человека, убежавшего от шайбы 100

ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

А. АРОНОВ, А. ПЧЕЛЯКОВ. Тимофеев любит падать на сено 103

ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

* Н. БЫСТРОЛЕТОВ. После диктанта. * А. ТАРАСКИН. Эти двое. * Е. ШАТЬКО. Бег трусцой. * Мих. РАСКАТОВ. Не слышу. (Пародия). * Галка ГАЛКИНА. Я меняю адрес 105

Содержание журнала «Юность» за 1971 год 108

Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

14 Редакционная коллегия:

3 А. Г. АЛЕКСИН,
3 В. И. АМЛИНСКИЙ,
В. И. ВОРОНОВ
4 (зам. главного редактора),
В. Н. ГОРЯЕВ,
А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ,
11 Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ
(отв. секретарь),
11 К. Ш. КУЛИЕВ,
12 Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

Художественный редактор
Ю. А. Цишевский.

57 Технический редактор
Л. К. Зябкина.

67 На 1—4-й стр. обложки
рисунок
В. ОРЛОВА.

90 Адрес редакции:
Москва, 103006.
(Для телеграмм: Москва, 6).
ул. Горького, № 32/1.
92 Рукописи
не возвращаются.

95 Сдано в набор 6/X 1971 г.
79 А. 09466.
86 Подп. к печ. 25/XI 1971 г.
Формат бумаги 84×108/16.
Объем 12,18 усл. печ. л.
17,62 учетно-изд. л.
Тираж 1 800 000 экз.
100 Изд. № 2468. Заказ № 1963.
Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
103 Революции
типография
газеты «Правда»
имени В. И. Ленина.
105 Москва, А-47, ГСП,
108 ул. «Правды», 24.



МОСКВА, СОРОК ПЕРВЫЙ ГОД



1941 год. Осень. Москва готовится к обороне. С парада на Красной площади танки уходят на фронт. Фронт рядом. В 25 километрах от столицы.
Все силы на защиту Москвы!

Трудовая Москва готова во всеоружии встретить врага. Вы видите пушки на площади Маяковского.
В декабре 41-го полчища немецко-фашистских войск получили сокрушительный удар под Москвой. Удар, от которого так и не сумели оправиться.

Фото А. Устинова.

Марк Сергеев



Вожатый

Говорят, что поэзия может творить чудеса...
Если б стал я и вправду хоть чем-то волшебника
вроде,

я бы в детство вернулся хотя бы на четверть часа,
чтобы вас повидать, чтоб сказать вам

спасибо, Володя...
Будут горны трубить, и отряды замрут у дровя,
и зверье всполошится, решив, что явилась охота,
и на стареньком фото на миг оживут облака
довоенного трудного и незабвенного года.

И Китой шевельнется и берегу скажет: «Пора!» —
и смоленные бревна на нем колыхнутся послушно,
и тогда соберемся мы к сладкому гулу костра,
чтобы песни попеть, чтоб рассказы Володи
послушать.

Ах, в какие затеи он, помнится, втягивал нас:
испытанием воли и сил обращались проказы,
мы ходили в походы, набив рюкзаки до отказа,
мы разили мишени, отвагу копя про запас.

Он рассказывал нам: «...В южный город
вошли беляки,
коммунисты — в подполье, готовятся новые
схватки...

И мальчишка-оборвыш на рынке швыряет листки
и частушки поет, вызывая в толпе беспорядки:
«Эй вы, буржуи, намажьте салом

пятки,
Пока вам не попало — тикайте
без оглядки!»

...Но бежит офицер между рыночных тесных
лотков,
матерясь, на ходу расстегнув кобуру револьвера.
«Красный мститель», мальчишка, частушкой
пальнув в офицера,
исчезает, предерзкий, за плотной толпой

мужиков...»
...Но седеют костры. Вот и наш стал белесым,
как лунь.

Ах, какая погода, какая, ребята, погода!
Над последними искрами тихо восходит июнь,
и плывут в вышине облака сорок первого года.
Мы стоим на пинейке и те и не те, что вчера.
Облака, точно взрывы, на красной заре проступают.
Мы уходим повзводно, и это уже не игра,
но незримую грань мы с улыбкой еще преступаем.
...И когда я с войны возвратился к началу начал,
я увидел Китой, пионерский костер на восходе,

— Где Володя! — спросил я. — Скажите,
вернулся Володя!
И начлагеря наш подозрительно долго молчал.
А потом он сказал: — Понимаешь ли, жизнь
не кино...

Понимаешь, не всем суждено возвратиться из боя.
Ты же знаешь Володю: солдат заслоняя собою,
он взорвал сам себя и фашистов взорвал заодно.
...Я поднялся с земли, сам откуда не зная к чему,
я увидел ребячьи худые, послевоенные лица,
я увидел костер, что кровавым клубком

шевелится,
и, слезы не стирая, шагнул напряженно к нему.

— Поколение новое, нашему не соболезнуй,
лучше зубы сожми... К испытаниям грядущих
годов,

как вожатый Володя, как он, коммунист
Соболевский,

будь готов!
И поднялись отряды, и в ответ прозвучало:
— Г о т о в!

Леонид Вышеславский



Утренняя почта

Тьмы событий на нашей планете
в тьме ночной накопились опять,
и о том, что случилось на свете,
все стремится вздохнуть на рассвете
сообщить, протрубить, прокричать.

Даже камень, немой от природы
и пошедший на кладку стены,
подпиравший за долгие годы
неизменно молчавшие своды,
что-то шепчет среди тишины.

И хотя небосвод независим
от сумятицы нашей пока,
над землей, чьею долею дышим,
будто сумки тяжелые писем,
грозовые висят облака.

Снова ночь не стояла на месте,
и в почтовые щели дверей
лезут письма с газетами вместе,
блещут молнии, грохочут вести,
потрясая людей.

Лодка

Не пугаясь неудачи,
о как часто мы хотим
в жизни все переиначить,
снять движением одним!

У стихий в извечном споре,
в дерзновении своем
мы и радости и горе,
точно комья глины, нем.

Мнем в руках огонь и воду,
и надежды, и судьбу...
Вот я в лодку прыгнул с ходу
и отчаянно гребу.

Свой обжитый берег бросил
и гребу к иной звезде...
Только вмятины от весел
остаются на воде.

Фигурное катание

Новейших дней изобретенье:
танцестремительный полет.
Но от времен минувших тенью
упала музыка на лед.

Каприз ледовой балерины!
С ее мелькающим коньком
сдружился тот мотив старинный,
что был прабабушкам знаком.

Разгон. Разлет. Прыжок упругий.
А сердце с сердцем говорит.
Один конек скользит по кругу,
другой над чистым льдом парит.

И чудится: напоминая
о задушевности былой,
поет пластинка ледяная
под тем коньком, как под иглой.

Дом поэта

Волна кипит на пламени норд-веста,
и в старый дом влетает вечный шум.
Но шумной лжи в том доме нету места.
В нем не живет ни лстец, ни толстосум.

Здесь полки книг встают стеной отвесной,
Поэт живет здесь. Дух его и ум.
На Карадаг его высоких дум
я подымаюсь по тропе словесной.

На берег волей ветреной весны
клоки морской травы нанесены.
Прохладен зной. Тягучи космы пены.

Былым радушьем переполнен дом.
В нем тишина и свет. А за окном
гремит прибой. И сотрясает стены.

Сергей Алиханов



Мне вспоминается песчаный берег речки,
И две змеи, плывущие в воде,
И взрослых неразгаданные речи,
И рой ос, слетавшихся к еде.
Мы завтракали, помню, перед домом,
Таким огромным, очень незнакомым.
А черный пес нас ночью сторожил.
И паровоз в полуденную пору
Всегда свистел, сердясь, у семафора,
А после к белой станции спешил.
Тогда и мы домой спешили к полдню,
Пропахшие травой и молоком.
Но главное, я море, море помню
За железнодорожным полотном.
Меня к нему без взрослых не пускали
И одного в воде не оставляли.
Нырять особо запрещали мне.
И помню, мне хотелось очень плакать
О том, что кораблям так мягко плавать,
А мне так жестко бегать по земле.
И я хотел купаться на просторе,
А взрослые внушали, как могли,
Что в безмятежном и прекрасном море
Большие погибают корабли.



Прекраснейшее из призваний —
Смотреть на небо без конца,
И сжиться с прелестью названий,
И узнавать черты лица
Созвездий Девы и Стрельца.
Я не любил людской обычай
Давать названия, имена
И ждать познания от различий.
Но беспредельность так страшна,
Когда не названа она.
Мне кажется, я весь заполнен
Земною, трепетной листвою;
Как слово за нее замолвлен.
Но в роще, нежной и пустой,
Я счастлив утренней звездой.



ЕВГЕНИЙ
БОРИСОВ

ОБЫЧНЫЙ РЕЙС

РАССКАЗ



Рисунок
А. Головченко.

Июньским утром, в воскресенье, шофер автопарка Корочкин подождал к остановке свой автобус с двухминутным опозданием. Было около восьми, но солнце, едва поднявшись до высоты третьего этажа, работало вовсю. От асфальта, как из открытой духовки, тянуло полуденным жаром.

Пассажиры на остановке нервничали. Всем не терпелось поскорее выбраться за город. Корочкин открыл обе двери и, равнодушный к посадочной суматохе, стал безучастно глядеть в окно.

Да, денек предстоит жаркий: шесть рейсов до Березовой рощи — излюбленного места отдыха горожан. Сорок минут в один конец. Туда — обратно, туда — обратно... Как заведенный. А тут еще жарится, солнце прямо в глаза. Эх, не за баранкой бы сейчас, а где-нибудь на пляже, на чистеньком песочке и чтобы рядом ларек «пиво-воды»! А можно и без пляжа — просто кружечку пивка. Холодного, с белой пенистой шапкой. Сидеть в теничке, дуть на пену и потягивать потихонечку — хорошо!..

Корочкину даже захотелось сплунуть в окошко с досады — до того некстати взбрело ему в голову про это пиво, — но во рту пересохло, нечем было плевать. Он страдальчески поморщился, вспомнив вчерашний вечер.

Вчера они крепко «завелись» с Федотычем. Начали мирно — с кружки пива, а потом понесло... Разговор, как водится, завязался. Федотыч про жизнь рассказывал, а Корочкин на ус наматывал.

И наматал. Утром пошарил по карманам — шесть рублей с копейками. Весь аванс. Мать, конечно, в своем репертуаре: «Загонишь в могилу, со свету сживешь!» Отцу, когда тот с ними жил, тоже выговаривала. Выжила из дому, а теперь плачет. Ни себе, ни ему, Костыке Корочкину, житья не дает. Махнуть бы из дому в общагу, к Федотычу. Ездят в одном автобусе, и жить бы в одной комнате — душа в душу. Койки рядом, голова к голове... Глядишь, не буксовал бы Корочкин на ровных местах, не протирал бы скаты.

Это Федотыча выражение — «не буксовать». Однажды, месяц назад, вот так же, после аванса, Корочкин только от кассы отошел, стоял с постной физиономией и свою мелочь пересчитывал. Федотыч подошел. Руку Корочкину на плечо положил, как старому знакомому, хоть и зная его не знал: Корочкин в парке-то без году неделя. Зато Федотыча знают все. У шоферов в гараже, как Костыка уже заметил, что ни разговор, то непременно: «Вчера Федотыч-то наш отколол...» Или: «А Федотыч, слышали, что говорит...» Словом, личность. И вот на тебе — руку на плечо...

— Ну что, паря, буксуешь?

— Буксую, — признался Корочкин, пряча деньги в карман. — На пиво еле-еле...

— А я смотрю, скаты дымятся, думаю, надо парня выручать.

Федотыч пересчитал свои деньги, вытянул из них одну синенькую и протянул Корочкину.

— На-кося, паря, сгазуй в угловой и обратным ходом ко мне в общагу. Спросишь Федотыча — все знают. Сообразишь, как и что?

Корочкин принял деньги и побежал в угловой магазин. К Федотычевой пятерке своих три рубля прибавил. Обернулся мигом.

— Вот это по-нашему, — встретил его Федотыч, — давай отгружай на стол и начнем... на всю железку. Чтобы не буксовало.

В тот вечер они крепко выпили. А наутро Федотыч к начальнику пошел — «качать права» за Короч-

кина. И «выкачал». Не Федотыч, сидеть бы Корочкину на автобусе с кондуктором, с этой старой мымрой Никифоровой. Правда, план с ней они легко брали, и забот не было никаких. Зато насчет «левых» денег карман у него, как бак без бензина, всегда на нуле.

И вот теперь Корочкин кум королю. Всю Федотычеву механику в неделю освоил. Способным оказался учеником. Да и Федотыч — учитель что надо; принцип у него простой: твоя бутылка — мой секрет. Так и спелись.

— Ты, паря, — дирижируя перед Костыкиным носом плавным сырком, наставлял Федотыч, — ты перво-наперво такую формулу усвой. Плакат в диспетчерской видел? «Совесть водителя — лучший контроль!» Золотые, паря, слова. А совесть наша знаешь как? Контролируй, чтоб свой карман не объесть...

Помутившимися глазами он обшаривал стол, среди хлебных огрызков и селедочных костей отыскивал недокуренную сигарету, обжигаясь пальцами о спичку, прикуривал.

— А дальше, паря, теорема такова. Тебе по утрянке в рейс. Скажем, к восьмью ноль-ноль. Ты, конечно, садишься в телегу и давишь, чтоб без десяти ноль-ноль быть на стоянке. Так я говорю?

— Так... — неуверенно поддакивал наивный Корочкин.

— Ну и дурак! — Федотыч довольный откидывался от стола и хохотал хриплым, прокуренным смехом, раскачиваясь на табуретке. — Дураков в нашем парке, паря, хоть пруд пруди. Дураку-шоферу благодарственное письмо от пассажиров подавай, с теплыми словами. Дурак, он любит теплые слова. А меня, паря, мой карман греет... Да вот это еще. — Он кивал головой на ополовиненную бутылку. — У меня теорема другая. Из парка вышел чин-чинарем. Привет диспетчеру! Но ты же не на пожар, не к теще на блины. Волеешь, волеешь по дороге. Две минуты заволинь от графика — и все, лады. К стоянке подвали так, чтоб пассажир подумал: торопится паря, ко мне торопится. А дальше такая психология идет. Раз ты из графика вылез — волинь с билетами недосуг. Время — деньги! Забрал пассажиров — и ходу. А пассажиру нужен билет. Пассажир нынче пошел такой: не может он без билета. Ему мало пятнадцать копеек отдать, ему — билет в руки. Но ты ж не будешь ему билет рвать, тебе некогда, у тебя график. А билетик, вот он, два рулончика на виду. Берите, кому не терпится. Только не копошись возле меня и не засти, не отсвечивай... Ты мне деньги, деньги положи, а я тебя без билета доведу. Сиди, не нервничай...

Федотыч тянулся за бутылкой, расплескивал оставшееся по стаканам.

— А дальше — высшая математика: план — в кассу, лишек — в сберкнижку. А книжка, вот она — мой карман. Мелочь, конечно, но жить, паря, можно...

И сегодняшний день Корочкин начал «по системе Федотыча» — две минуты из графика. Сейчас он настраивает зеркальце, вот так, чтобы ясно было, что там у него за спиной. Да, полный комплект, можно ехать.

Поехали.

Впереди над перекрестком, забываемый солнечным светом, еле видимый, зажегся красный огонек светофора. Корочкин затормозил. И тотчас кто-то в соломенной шляпе и в клетчатой рубашке навывпуск вырос за его спиной. Стоит, побрякивает мелочью. Насобирав с пассажиров.

Корочкин искоса следит за рукой пассажира. «Ну, сыпь, сыпь, — нетерпеливо приговаривает, — не торгуйся, не отсвечивай».

Высыпал. Тянет руку к билетам. Очень самостоятельный пассажир. Сейчас Корочкин посадит его на место...

— Товарищ, товарищ, — Корочкин сердится, — прошу от кабины. Не загораживайте. Успеете еще...

Пассажир в соломенной шляпе конфузится, пожимает плечами и возвращается на место, что-то объясняя на ходу другим пассажирам.

Как говорит Федотыч, что и требовалось доказать.

Дальше бежит автобус. Перекочевав с правой стороны, солнце опять вернулось на прежнее место и светит в лобовое стекло. Корочкин опускает черный щиток и мельком заглядывает в зеркальце. Кто-то опять, балансируя меж кресел, движется к нему по проходу. И снова, все больше раздражаясь, Корочкин просит пассажира не отсвечивать, сесть на место. Но этот какой-то настырный, улыбается нахально Корочкину, что-то бормочет и один за другим берет рулоны с билетами, отрывая от каждого по длинной ленте.

«Во, наглец, — нервничает Корочкин, — еще и лыбит. Есть же такие крохоборы!»

Корочкину хочется пить. Он просто умирает от жажды. В зеркальце, как назло, он усмотрел сумку, висющую над чьей-то головой возле окна, а в сумке две бутылки, кажется, с квасом. Корочкин старается не глядеть в зеркальце, но две бутылки с квасом не дают ему покоя, так и лезут в глаза. «Сейчас увижу цистерну с квасом, — мечтает он, — увижу и остановлюсь. Не могу больше». Но цистерны с квасом почему-то не попадают, и настроение у Корочкина портится совсем. Его раздражают пассажиры, раздражает клетчатая рубашка навывпуск, которая маячит снова за его спиной, раздражает сумка с двумя бутылками...

Сейчас он не выдержит и скажет этому типу в соломенной шляпе пару теплых слов... И он уже собрался это сделать, но не успел... Кто-то в розовом с поднятой рукой мелькнул в окне. Все верно — остановка по требованию. Придется остановиться. Придется взять пассажирочку.

Корочкин затормозил. Автобус остановился, проехав метров двадцать дальше того места, где стояла та, в розовом. Сейчас влетит, запыхавшись, будет копаться в сумочке... Да не в заднюю — сюда, в переднюю дверь давай. Ну, совсем растерялась. Вот так! Влезла. Ишь ты, какая! Плетеная сумочка, шапочка красная на голове... Куда собралась-то? На деревню к бабушке? Ну-ну! Поехали.

Дверь вжикнула. Автобус покатил.

Нет, дурацкое это зеркало: розовый сарафан и сумочка видны, а больше ничего. Корочкин поерзал на сиденье, повертел зеркальцем и так и этак... Наконец увидел ее лицо...

«Лицо как лицо, — сказал он себе, — ничего особенного, бывает и хуже». Но тут же понял, что сказал совсем не то, что думал. И сказал для того, чтобы обмануть себя, потому что так было бы легче. Ехала бы в автобусе обыкновенная рядовая девчонка, каких каждый день он пачками возит, и ничего. И ему бы от этого ни жарко, ни холодно. И не бежали бы эти дурацкие мурашки по спине, и не лезли бы в голову разные странные мысли... Совсем это ни к чему! Не видит Корочкин в этом никакой перспективы. Ну, доедет она до своей остановки, сойдет и даже не взглянет на него, мелькнет красной шапочкой в толпе пассажиров — только ее и видели. А ты, дурак, чего-то ждал, на что-то надеялся, придумывал себе разное.

Нет, легче вот так: увидел красивую девчонку, не признаваясь себе, что она тебе нравится. Ищи в ней какие-нибудь недостатки. Ищи и найдешь. Потому что не может быть человек без недостатков,

что-то да должно быть. Или нос длинноват, или глаза косит, а может, дырка на чулке... И все. Одной дырки на чулке достаточно: неряха. И станет легче, спокойней, и уйдет досада, что не ты, а кто-то другой сидит рядом с ней в твоём автобусе, у тебя за спиной, какие-то слова ей говорит, охмуряет, наверное.

Ему бы и теперь хотелось так сделать. Он даже попробовал мысленно наградить Красную шапочку бородавкой на левой щеке. Подумал, что если внимательней ее разглядеть, то можно и найти эту бородавку...

Но что-то мешало ему, что-то необъяснимо бесспорное, не поддающееся никаким наговорам, оберегало незнакомку, не было никакой бородавки у нее на щеке. Была маленькая родинка. И все в незнакомке, как назло, хотел или не хотел того Корочкин, было хорошо необыкновенно.

Впрочем, не один Корочкин заметил это—теперь весь автобус глядел на нее. А она, смущенная этим откровенным вниманием, с виновато-растерянной улыбкой копалась в своей плетеной сумочке. Видно, искала деньги на билет и никак не могла найти. И от этого еще больше смущалась.

«Во, паразиты,—разозлился Корочкин, безошибочно определивший, что творится у него за спиной.—Ну, чего, чего пялитесь? Вон даже туристы ушки наострили, особенно тот, с бородой и с гитарой. Даже орать перестал...»

Отчего-то тоскливо, беспокойно сделалось Корочкину. Как будто какая-то очень хорошая, нежная и грустная песня, ни слов, ни мелодии которой он еще не успел разобрать, едва заронила в его душу что-то волнующее, светлое и вдруг притухла, стала расстраиваться, исчезать и вот-вот совсем исчезнет, не состоится...

А так хочется, чтоб состоялась.

Она нашла наконец нужную монету и улыбнулась облегченно. И все в автобусе, будто того и ждали, тоже заулыбались. А тот, с бородой, дурачась, почему-то захлопал в ладоши, как бы зааплодировал. А дальше случилось что-то непонятное. Не успела Красная шапочка сделать шаг к кабине, как со всех сторон—и слева, и справа, и с задних, и с передних мест—к ней потянулись руки: безбилетные пассажиры передавали ей мелочь на билеты.

«Ну, прижималы,—негодовал Корочкин.—Сидели, выжидали, мусолили гроши в кулаках. И вот навалились...» Всех их он готов был теперь провезти бесплатно в оба конца, пусть даже он прогорит с зарплатой. Только бы не лезли они к ней, не тянулись бы руками со своей мелочью, не глазели бы на нее...

Ему еще больше стало не по себе после того, как зеркальце, которое с магнетической силой притягивало его взгляд, отразило уже знакомого пассажира в соломенной шляпе, которого Корочкин несколько минут назад шуганул с прохода. Он увидел, как Соломенная шляпа что-то сказала Красной шапочке—та в это время остановилась рядом с ним, брала чьи-то деньги,—и все, кто его услышал, почему-то дружно засмеялись, и Красная шапочка засмеялась тоже и остановилась на полдороге, не пошла, как ожидал Корочкин, с деньгами к его кабине, а осталась стоять в проходе, рядом с тем в шляпе. А он, вдохновленный общим вниманием, опять что-то говорил, и все опять смеялись. Корочкину вдруг показалось, что о нем говорят: мол, знаем мы его, как облупленного. И билеты не отрывает и штрафов не берет. А высыпать деньги в его карман всегда успеется...

Может, не об этом говорила Соломенная шляпа, даже наверняка не об этом, но что-то обидное

вдруг почудилось Корочкину в том, неслышном ему разговоре, и в дружных смешках пассажиров, и в их недвусмысленных поглядываниях на него, Корочкина Уши Корочкина, и без того раскрасневшиеся на солнце, начинали рдеть, как петушиные гребешки.

И опять—свинцовой рекой бегущая под автобус гладь асфальта. И жаркое солнце прямо в глаза... «Приеду на конечную,—вдруг мстительно подумал Корочкин,—и начну сам продавать билеты. Буду держать их при закрытых дверях, пока всех не обилещу...»

Неожиданно пришедшая мысль понравилась Корочкину, и несколько минут, оставшихся до конечной остановки, он ехал, обдумывая, как и что он будет говорить пассажирам, когда они, повскакав с мест, похватав свои авоськи, рюкзаки, транзисторы, корзинки, ринутся к выходу, а двери окажутся закрытыми. Ясно, начнется кутерьма. Все глядят на Корочкина: как, в чем дело, по какому праву задерживаешь? «А по такому,—скажет Корочкин и, встав из-за баранки, обведет всех спокойным взглядом,—по такому, что кое-кто,—тут его небрежно-презрительный взгляд остановится на его борода- том, с гитарой, который, конечно же, успеет пристроиться рядом с Красной шапочкой,—кое-кто,—повторит Корочкин, продолжая мысленно испепелять бородатого,—забыл, что совесть пассажира — лучший контроль... В общем, доверяй да проверяй...»

Все, конечно, повернутся к Бороде, будут глядеть на него соответствующим образом. И она тоже. Но это еще не все, это только начало. Конечно. Борода начнет «качать права», базарить по мелочам, доказывать, в общем, что он не верблюд, засуетится, по карманам своим шарить начнет, свидетелей призывать, чтоб подтвердили, что он платил. Но тут Корочкин и добьет его. «Будя,—скажет он,—кончай, паря, буксовать, давай задний... Нет монеты, ходи пешком... с этой, с гитарой. А теперь одно из двух: или проси у пассажиров, пусть по копейке сыпят, или штраф...»

Что будет дальше, скинуты ли пассажиры по копейке на билет Бороде или он сам будет вылезать из этой позорной истории,—эту картину Корочкин почему-то никак не мог дорисовать. Что-то мешало ему, что-то смущало его и в том и в другом варианте. И вдруг он понял, что Красная шапочка... В самом деле, как он забыл: ведь по его же, Корочкина, расчетам Красная шапочка должна быть где-то рядом с Бородой. Конечно, Борода не упустит случая к ней подкатиться, а если так, то неизвестно, как она себя поведет. Вдруг охмурит ее этот хмырь бородатый. А может, и нет, но все-таки... Все равно этот номер не пройдет. Те деньги, что она держит в кулаке, что пассажиры ей надавали, ведь там, наверное, пятнадцать копеек бородатого. Не упустил, небось, случая, подсунул.

Нет, тут и сам забуксуешь по самый кузов. Никакой Федотыч не вытянет.

А может, просто как есть: извините, мол, граждане, так, мол, и так, недоразумение вышло... По техническим, так сказать, причинам. Попрошу без паники, по одному... И размотать катушку. Чтоб не думалось. Чтоб не болтали всякую чепуху за спиной.

Но куда там! Какое там — без паники! Легко сказать... Не успел Корочкин остановить автобус, а пассажиры, как будто кто повыталкивал их с мест, уже теснили друг друга к дверям. Казалось, терпение, которое всю неделю держало их в городе, в один миг кончилось и не хзатило какой-то малости — тех двух минут, которые Корочкин отхватил утром из графика.

Рука Корочкина сама потянулась и легла на пневматический рычаг. Двери вжикнули и разъехались, выпуская упревших от духоты, примятых и взвинченных автобусной толкотней пассажиров. Бородатый, раньше всех сумевший выбраться из автобуса, оказался длинноногим, складным парнем. «Техасы» — давняя мечта Корочкина, короткополая краями вверх шляпа и светло-зеленая с небрежно приподнятым воротничком рубашка — все это делало его похожим на ковбоя из какого-то американского фильма. И улыбался он как-то так — во все зубы, по киношному.

Корочкина аж передернуло от этой его улыбки, и он отвернулся от окна, успев, в который раз, больно ущемить себя невыгодным сравнением с этим парнем. Дело, конечно, не в бороде. И не в «техасах». Хотя «техасы» тоже не последнее дело. Росточком Корочкина бог обидел — в этом беда. Пока за баранкой сидит — сходит, а вылез... Ну и так, по мелочам... Вот и морда у него как-то не такая: опухла после вчерашнего, глаза, как у вареного окуня... Брюки заносил до блеска, ботинки стоптались вдрызг. Одним словом, срамота. С прошлой зарплаты Корочкин собрался сандалеты купить. Сорвалось. Загудели с Федотычем, как водится, ну и...

Автобус тем временем быстро пустел. Последние пассажиры, пропуская вперед нетерпеливых, уже подтягивались к выходу. Кое-кто притормаживал возле кабины водителя, на ходу бросал приготовленную монету Корочкину в раскрытую ладонь. С фальшивой готовностью Корочкин порывался за катушкой, будто намереваясь оторвать билет, но пассажиры, кто вовсе не оглядываясь, а кто отмахиваясь — ладно, мол, чего там, — спешили к двери. И снова монета за монетой падали Корочкину в ладонь...

Все это было как в плохом кино, когда тебе все ясно, но ты сидишь и ждешь, не теряя надежды, что что-то будет еще там, впереди. И тебе очень хочется, чтобы это неизвестное ожидаемое обернулось для тебя какой-то долгожданной радостью. Чтобы все прочее исчезло, ушло от тебя совсем, а радость или надежда, что радость все-таки будет, чтоб это осталось.

Все началось с той минуты, когда в автобус вошла Красная шапочка... Или нет — чуть позже... И Ко-



рочкин понял, что на этот раз он не сумеет обмануть себя и обрести душевное спокойствие не раз проверенным способом — приравняв нежданную пассажирку к тем многим, которых он возит в автобусе каждый день и от присутствия которых ему не бывает ни жарко, ни холодно.

Не очень веря, что ожидаемое сбудется, он сам попробовал придумать конец, но ничего не получилось — события развивались своим чередом. Впрочем, и не было никаких событий, все было так, как вчера, как день, как пять дней, как месяц назад... И стоит ли себя обманывать, будто что-то еще будет. Сейчас он перекурит на дорожку и развернется. И отправится обратным рейсом...

— Извините. — Корочкин даже вздрогнул от неожиданности: розовое платье, вот оно, совсем рядом. В какой-то миг ему вдруг показалось, что Красная шапочка вышла из другой, задней двери — что-то розовое, похожее на ее платье, мелькнуло за окном, — но это была не она. Выходит, она была там, среди оставшихся пассажиров, и сейчас... Корочкин поднял глаза. Она стояла перед ним с протянутыми, сложенными лодочкой ладонями — держала деньги. — Вот насыпали целую гору... Тут и мои пятнадцать... Вот, пожалуйста, — она высыпала деньги Корочкину в подставленные ладони, — а то я очень спешу...

И шагнула к двери. И спрыгнула на землю. И даже не оглянулась.

Корочкин видел, как, пробежав метров десять по дорожке, она остановилась, ловко сбросила с ног и взяла в руки сандалеты и побежала босиком краем дорожки, по траве, туда, к лесу. Может, к бабушке в деревню, а может, вдогонку за веселыми туристами, за тем длинноногим бородачом, похожим на ковбоя...

С минуту Корочкин сидел, как потерянный, пересыпая мелочь с ладони на ладонь, как песочек. Потом высыпал ее в карман пиджака, висящего на спинке его сиденья. Достал сигареты. Зачем-то взглянул в зеркальце. Оно отразило пустые кресла. Корочкин встал. Собрался вылезти из автобуса, покурить в тенечке да ехать обратным рейсом. Пассажиров в такую рань в город не предвиделось, может, кто из деревенских подсядет по дороге. Словом, можно было не ждать.

Он вышел в салон, привычно — не оставил ли какой-нибудь разина чего-нибудь — прошелся по автобусу до задних диванов, повернул назад. И вдруг... Что такое? На полу, под креслом, маленький, пушистый комочек. Кошка? Нет, щенок. Ушастый, потешный. Не то овчарка, не то дворняжка, не поймешь. Он одиноко сидел под диваном, тыкался в пол чернявым носом, мелко дрожа обвислой кожей. Увидев Корочкина, он жалостно пискнул и пошел к нему, ковыляя с боку на бок.

— Вот это тигра! — сказал Корочкин, растерянно оглядываясь по сторонам, надеясь увидеть хоть кого-нибудь из пассажиров и спросить про собаку, чья она. Но пассажиров и след простыл. — Давай, давай, вылезай.

Присев на корточки, он взял мягкий, трясущийся комочек и положил на диван. Благодарно лизнув руку Корочкину, щенок залестился к нему, заколотил по дивану передними лапами.

— Эх ты, подкидыш! — Корочкин взял на руки щенка. — Чего дрожишь-то? Жрать, небось, хочешь? Или боишься?

Потом он взглянул на часы: все, пора ехать. Но как же быть со щенком?

Раньше, случалось, Корочкин находил в своем автобусе забытые вещи: то зонтик, то перчатку, то батон, завернутый в газету, а то детскую игрушку.

Зонтики и перчатки он, не задумываясь, относил в комнату при автопарке, где собирались забытые пассажирами вещи, и тут же сам забывал о них. Игрушки оставлял в автобусе и возил с собой, выставляя их на видное место, перед стеклом. Хозяева частенько находились. Другие водители подбирали в автобусах кошельки с деньгами. Был случай, один шофер принес в комнату забытых вещей бумажник, а в нем триста рублей красненькими. После о нем писали в стенгазете, вспоминали на всех собраниях. А Федотыч по этому поводу тогда сказал: «Дураку ложку меда в рот положи, он спросит, а где взяли, и уж потом решит, глотать или не стоит».

Корочкин денег никогда не находил. Может, и кстати. Потому что он не знал бы, как с ними поступить: оставить себе или сдать, как сдавал перчатки и зонтики? Сдашь — Федотыч засмеет. Оставишь — будешь маяться, ходить да оглядываться. Нет, лучше не надо. Так спокойней.

И вот на тебе: не деньги, не бумажник с деньгами, а хлопот не оберешься. Последним разиней надо быть, чтобы собаку оставить. Теперь ломай голову, в которой и без того, как назло, все будто набекрень.

Корочкин с досадой морщился, сидя за баранкой, то и дело поглядывая на щенка. Щенок лежал у него в кабине на полу, на жаркой резиновой кладке, глаза его, маленькие, черненькие, глядели на Корочкина тоскливо, виновато.

— Ну что, брат, — сочувственно приговаривал Корочкин, — бросили нас... Бросили. Вот так-то. А как дальше жить будем? Не знаешь? И я тоже. А кто бросил, тоже не знаешь? А может, забыли, оставили второпях, тоже бывает... Может, теперь спохватились, ищут...

Последнее предположение озадачило Корочкина и расстроило почему-то. «Да, — подумал он, — в самом деле его, наверное, кто-то ищет, кому-то он нужен...» Нет, он вовсе не собирался оставить и приютить кем-то забытую или брошенную собаку, он как-то не подумал об этом, но мысль, что этот рыжий щенок не подкидыш, а забытая кем-то, кому-то нужная собака, эта мысль вдруг необъяснимо и странно связала теперешние переживания Корочкина с несчастьем одинокой собачонки. Как будто и его, незадачливого и в чем-то запугавшегося, до которого никому на всем свете, кроме Федотыча да вот этой рыжей несмышленной псиньки, нет никакого дела, будто его тоже кто-то обидел невниманием. Прошел и не заметил второпях...

И вот теперь, может быть, кто-то ищет щенка, а его, Корочкина, небось, и не вспомнит никто. Разве только тот пассажир в соломенной шляпе, и то не добрым словом...

Рыжий комочек беспокойно ерзал на прогретой резине, часто и тяжело дышал, высунув язык. Корочкину стало жалко щенка. Он остановил автобус, снял пиджак со спинки сиденья и подстелил его собаке.

— Потерпи, — сказал он ей, — в город приедем, попить дам. Мне и самому, паря, не легче.

В городе на автобусной остановке снова толпа. Дачники, туристы, выходной народ... И снова сутолска в дверях, снова ругань, давка... Отыскав в карманах три копеечных монеты, Корочкин вылез из автобуса и пошел к автомату с газированной водой. Два стакана он выпил залпом, один за другим, а третий понес к автобусу. Вода была газирована слабо, и Корочкин подумал, что собаке это не повредит, а, наоборот, взбодрит ее немного. Поить псину пришлось с ладони, предварительно потыкав ее пуговицей-носом в воду. Щенок сначала пофыркал,

покрутил головой, потом защекотал ладонь Корочкина своим шершавым языком.

Пассажиры с передних мест с интересом наблюдали за Корочкиным. Кто-то спросил:

— Не продаешь, случаем? А?

— Не, — ответил Корочкин, не оборачиваясь.

— Жалко. Деньги бы дал. Пятерку. Через год посадил бы на цепь возле дачи: сторожи.

Мысль о том, что он и в самом деле может продать щенка и избавить себя таким образом от всех хлопот, до сих пор не приходила Корочкину. И теперь, впервые подумав об этом, Корочкин невольно подивился сам себе. Подивился не столько своему быстрому решению не продавать, сколько тому, что он и в самом деле даже в мыслях не держал такого намерения. «А ведь чего бы легче, — подумал он запоздало, — пятерка в кармане, и дело с концом». Но он уже знал, что не сделает этого. Пусть хоть червонец дадут за щенка, он его не продаст.

Десять минут — ни больше ни меньше — Корочкин занимался билетами. Почему-то это занятие на сей раз не показалось ему таким уж скучным. Он даже улыбался пассажирам, даже острлил, отвечая на их любопытные расспросы насчет собаки. И все это время его не покидало странное ощущение, что кто-то невидимо и с интересом следит за ним, как и что делает он, что и как говорит, и от этого все, что он теперь делал и говорил, для него наполнялось каким-то особым, важным смыслом. И все вокруг воспринималось как-то по-другому.

Потом он снова ехал. Снова бежала навстречу блестящая лента асфальта, и солнце, как раскаленная добела сковородка, катилось по жарким крышам. В какой-то миг Корочкин вдруг услышал: незнакомая, тихая песня... Светлая и грустная, похожая на осень. Все это время она словно ходила где-то рядом, не умея прорваться через другие, громкие звуки, и вот дождалась момента...

Странная это была песня. Тихая, осенняя ее грусть не печалила Корочкина, а словно высветляла его душу. Вселяла в него уверенность. И не таким утомительным казался ему этот жаркий день, и не так много рейсов осталось сделать.

Он мечтал о последнем рейсе, не сомневаясь, что тогда-то все и встанет на свои места. Конечно, хозяин собаки найдется. Жалко, но что поделаешь. Конечно, он вернет ему щенка и скажет при этом что-нибудь этакое, остроумное: мол, «собака — друг человека, но и человек, мол, собаке должен быть друг... Вот, не оставили в беде». Все в автобусе станут подтрунивать над разиней-хозяином. И она, Красная шапочка, тоже будет смеяться. А потом, набравшись храбрости, она спросит у Корочкина: «А как зовут этого вашего друга?» И Корочкин ответит шутя, не без смысла: «Серый волк». И она опять засмеется, смущаясь, опустит глаза — вспомнит, конечно, про свою красную шапочку...

Потом у Корочкина был обед. Но ему не обедать, он все куда-то торопился. К тому же собака голодная ждала его в автобусе. Он отоварился в диетической столовой сухим пайком, купил Серому волку — так он прозвал рыжего щенка — двести граммов колбасы и пакет молока. Потом накормил его до отвала.

Затем Корочкин сгонял на заправочную станцию. Заправился. И сделал еще два рейса — туда и обратно.

И вот последний рейс.

Он ее сразу увидел. Сначала — ее одну среди толпы пассажиров, уже собравшихся к остановке. А потом он увидел его... Нет, не того, с бородой и в «техасах», а другого, которого и не было в автобусе. «Наверное, он был здесь, — догадался Корочкин, — а она к нему торопилась».

Пассажиры приступом брали автобус. Их было значительно больше, чем автобус мог вместить. Кто-то, не надеясь втиснуться, отошел в сторону, стал с надеждой поглядывать на дорогу, рассчитывая на попутные машины. Красная шапочка с молодым человеком тоже отошла. Они стояли рядом и держали друг друга за руки, как детский сад на прогулке.

— Эй! — неожиданно для себя крикнул Корочкин и помахал тому парню рукой. Парень пожал плечами и подошел к окошку. — Я сейчас сгоняю до города, — сказал ему Корочкин, — и сразу назад. Лишним рейсом вне графика. Вон сколько вас тут... Ты скажи людям, пусть не паникуют. Всех сведу.

— Спасибо, — обрадовался парень. — Большое спасибо! Будем ждать.

Потом он подошел к ожидавшей его в сторонке Красной шапочке и что-то сказал ей, и она тоже обрадовалась и приветливо помахала Корочкину рукой.

Корочкин не обманул их. Приехал. Однако хозяина Серого волка он так и не нашел. Спрашивал. Никто не признавался. Хвалили щенка. Заигрывали с ним. Но не признавали.

В парк Корочкин вернулся позже обычного, очень удивив диспетчера своим объяснением. Тот недоверчиво взглянул на шофера и ответил, что этот лишний самовольный рейс так просто ему не пройдет. «Ну и пусть, — сказал себе Корочкин, выходя из диспетчерской, — не налево ездил, денежки все до единой копеечки в кассу сдал».

Кассир, который принимал у Корочкина деньги, тоже удивился и сказал:

— Ну, висеть тебе, Корочкин... Либо на доске почета, либо еще где. Этого я сказать не могу. А тебя тут, между прочим, твой шеф дожидается, извелся весь от жажды. Спешу, не мучь собутыльника.

— Жаба. Небось, не сгорит, — бросил Корочкин у двери.

Федотыч и в самом деле ждал его. Он был уже навеселе.

— Ну, паря, —дохнул он в лицо Корочкина перегаром, — а я тут загудел без тебя. Извини, не дождался... Причина есть: псину потерял, ну и с горя... Тут раздобыл по делу, такой, знаешь, пес... Хотел к себе в общагу, от скуки, понимаешь, от одиночества... И на вот... Весь парк обшарил... Пошли уж, размочим горе.

Он поднял руку, собираясь по привычке хлопнуть напарника по плечу, но Корочкин спокойно отвел его руку.

— У меня твой пес, — сказал он. — Тебе кланялся, велел передать...

— Чего передать? — Федотыч ошалело уставился на Корочкина.

— А то, что, говорит, хорошо, когда собака — друг, да плохо, когда друг... Это самое... Словом, катись ты...

— Ты что, паря? Собака, что ли, тебя укусила?

Корочкин насмешливо посмотрел на Федотыча.

— При чем тут собака? Собака тут ни при чем. Иди-ка ты, друг, в свою общагу, а мне... Мне это... не по пути. Не понимаешь?... Подумай. Может, поймаешь.

Утром Корочкин зашел в общежитие к Федотычу и выложил на стол пятерку.

— Тебе — за собаку.

И ушел. Ушел, ничего больше не сказав.

г. Калинин.

Михаил Беляев



Воротынское поле... Как дорога тиха!
Осень, осень уходит и суха и строга.
Осень, осень минула, как махнула платком.
Что ж стоишь ты в раздумьи, молчаливый
мой дом!

Воротынское поле на пути, на пути.
Может, время настало навсегда мне прийти,
Может, сбросить тревоги, отвернуться

от рек...
Походил и поездил милый твой человек.
Воротынское поле... гляну я — загрущу.
Может быть, я не счастье, а тебя я ищу.
Как случилось, что мимо проходил много
раз!..

Воротынское поле — свет, упавший из глаз.
Воротынское поле — материнский покой,
Ты приди ко мне в радость и в тоске

успокой.
Ничего не нашел, никаких новостей.
Мне бы снова очнуться средь твоих

журавлей.
Как цвело ты, шумело! Где цветения те!
Поднимался я к солнцу по твоей высоте.
Воротынское поле — воздух первой любви.
На заре мое имя в тишине назови.



Просторы вырастают.
К тебе уйти теперь бы...
Как бы цыплячьи стаи
Бегут по веткам вербы.
А ты остановилась,
А ты не удивилась,
А ты как будто снова
На белый свет явилась.
А ты не веришь свету,
А ты не выйдешь к ветру,
А ты живешь, как будто
Тебя и вовсе нету.



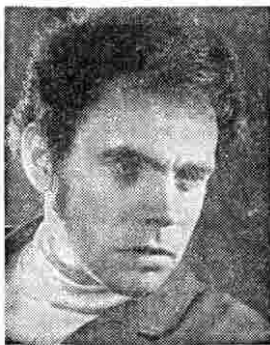
Грянет холод, грянет...
Не случайно ветер
Даже ранней ранью
В желтизне заметен.

Вот и листья пали,
А давно ль весною
Так всем солнцем звали,
Всей водой живою!
Солнце холодится.
Не найду затишья.
Хочет в землю мышью
Каждый лист зарыться.
Листопад всклокочен
Выше звезд Вселенной.
Забираюсь в осень,
Словно в скирду сена.



Снега летят сквозь рамы,
Гуляют белым эхом.
Попробуем снега мы
Своим вечерним бегом.
Ах, видно все во власти
Той стужи самотечной! —
Так сразу унеслась ты
В веселый пар молочный.
Но на каком-то круге,
Надснежном и надзвездном,
Твои поймал я руки,
Как два снежка холодных.
Где плечи доверяла,
Склоняясь от мороза,
Там зиму простояла
Зеленою береза.

Леонид Латынин



Работа

Удачам шалым — несть числа,
Водоворот их кружит душу,
Законы скорости нарушу,
Сорвавшись в бездну ремесла.
Звезда летит опять по кругу,
Дома заверчены, дела.
Зима качала и пыла,
Крутя за лохмы снега выюгу.
Скользила, падала, ярясь,
И в пепел памяти играла,
Душила, путала, и мяла,
И покрывала белым грязь.
И шла удача на заботу,
Все круче круг гончар валил

И перепуганно молил,
Но без него несло работу.
Пора уснуть, пора устать,
Но круг закрученный крутится,
И поздно плакать и молиться,
И поздно выхода искать



И снова день распался на часы.
И голос растворен в разноголосье.
С трудом медноголовые колосья
Прощаются с прохладною росы.
Мгновение земли подарено мне было
В глазах твоих, руках твоих... Дыша.
Со мною то мгновенье говорила
Распахнутая, зримая душа.
Река моя, ручей далекий, Таха,
Пошли мне исцеленье от беды,
Верни ее иль воссоздай из праха
И осеней движением воды.
Соедини своим теченьем
В теченье дней часы мои.
Прости ее своим прощеньем,
Своею силой напои.



Нет, не метель, а листопад
Был страшен в этот час.
Он нес разлом и нес распад.
И день зажженный гас.
Перекрыл строений строй.
Решетки обнажил,
Закрыв дома глухой стеной.
Все выходы закрыл.
Он объяснял любой финал,
Любое торжество,
Но я еще не понимал
Безумия его.
И, вовлеченный в смертный ток,
С листвою рядом мчал.
Я подводил себе итог
И торопил финал...
Но как, снега спустя, понять —
Возможно ль наяву! —
Следа листвы не отыскать...
А я опять живу.



А день подаренный не гас —
И так тебя мне не хватало,
Но небо лишь соединяло
Степями разделенных нас.
И о его простор с разлета
Мы бились, падали в пески.
И те паденья и броски
Лечили память и работа.
И кто за это нас осудит,
Что дни палим в огне строки!
Да будут боли нам легки,
Да будет нам как есть! Да будет!



Тихо у светлого сада,
Где за стеной — ни огня.
Тянется к морю ограда
И не пускает меня.
Вдоль побреду осторожно,
В глине оставляю следы.
Но отчего так тревожно
Мне уходить от беды!

Хлопнет калитка. Зальется
В звонком испуге звонок,
Звякнет, вздохнет, отзовется
Медный старинный замок.
Старая липа. Корона.
Дремлют вокруг дерева.
В небе седая вброд
Вещице знает слова.

Семен

Гринин



Бухарские стихи

Я помню, как с песчаной бурей
Здесь повстречался в первый раз.
Бойницы глаз от солнца щуря,
Смотрела Азия на нас.
И походили знойным летом
Папахы спутников моих
На шапки гор над минаретом,
На тыквы башен городских.
Казалось, все вокруг чужое.
Саманов глиняных стена,
И ночью, как под паранджою,
Смотрела мутная луна.
Но, пробуждая утром гулким,
В путь приглашал нас проводник.
Сверкал тенистым переулком
Холодный, как клинок, арык.
Я, мучим жаждой и в печали,
Склонясь, лицом к нему припал,
И, как клинок дамаской стали,
Я гладь его поцеловал.

Родной язык

Еще в кроватке трехнедельный
У дальних предков и предтеч
Уж в звуках песни колыбельной
Я впитывал родную речь.
И сказок плавное течение
Позднее слушать я привык.
Слова любви и утешенья
Стал повторять и мой язык.
Узнал я теплых слов немало
И горечь слов глотнул, как дым,
За тем, за первым словом «мама»,
За словом «родина» — вторым...
Они то клятвой, то наказом,
В груди рождая столько чувств,
В бою смертельном и пред казнью
Слетали с помертвевших уст.

Но я хотел бы в жизни зыбкой,
Познав и радости и страх.
Умолкнуть с тихой улыбкой
И с добрым словом на устах.



Я снова за тобою следую,
С утра звоню тебе опять.
И кто еще звонит — не ведаю.
Но тридцать пять — не двадцать пять.
Не льстит — тебя из дома выхватить,
Тайком, урывками видать
Или внутри метро при выходе,
Томясь, подолгу ожидать.
Нет, жажду видеть постоянно я
Твои глаза, твое лицо
И даже это окаянное,
Не мной дареное кольцо.
И слышать не на расстоянии
Твой голос, смех звенящий твой
И ощущать твое дыхание,
К груди прижавшись головой.

Ирина Кашежева



Памяти Сергея Дрофенко



Стараясь вопреки рассудку
Беспечный погасить заем,
Все чаще мы — как будто в шутку! —
Друзей по отчеству зовем.

Тому, с которым так мечталось
О превосходстве зрелых лет,
Теперь кричу: «Привет, Михалыч!»
В ответ: «Иналовне — привет!»

Но не смогу сказать про то лишь,
Что знает памяти дневник:
на сверхпризывное «Петрович!!»
Безмолвствует один из них.

Нас баловала жизнь, но все же
и обдирала, как наждак.
Но... как же так, скажи, Сережа!
Сергей Петрович, как же так!!

Вот так. Ни войн, ни бенкендорфов.
Но вспышками обычных дней
горят года, как шнур бикфордов,
а чей короче, чей длинней!

По отчеству или без отчества,
по именам ли кликну я,
о, только б отзывались тотчас
мои прекрасные друзья!



Питаюсь я страстями, как сладостями,
кидаюсь во все стороны
вдогонку
за еле уловимыми словами:
стог сена ворошу — ищу иголку.
Пусть даже мне придется уколаться,
я соглашаюсь загодя на это...
Опять спешу куда-то... У колодца
стою и слышу собственное эхо.
Пусть глубиной изменен мой голос.
пусть, как ведро, его о край колотит...
А глубина — мой несолидный возраст,
мой неглубокий, несвятой колодец.
Журавль над ним — оглобля, а не птица,
и если говорить об этом строго,
то даже мне пока что не напиться,
не то что всем, кто в мире жаждет слова.



О, где ты, стиль эпистолярный!
Где вы, альбомы, дневники!
Чисты листы, как ледники
в стране безжизненной, полярной.

Письмо начать бы — от руки! —
«Мой первый друг, мой друг бесценный...»
Пусть информацией бесцельной
повеет от любой строки.

Не по делам, не по нужде,
не с меркантильным смыслом тайным,
а просто так: о снеге талом,
о вешней молодой воде.

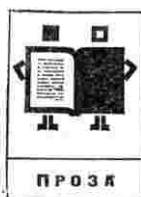
О милой общей чепухе,
о прошлых памятных застольях...
С тоской — о временных застоях,
о неудавшемся стихе.

Письмо писать не торопясь,
со вкусом... Не забыв постскрипtum...
Чтобы потом по чувствам скрытым
имен улавливалась связь.

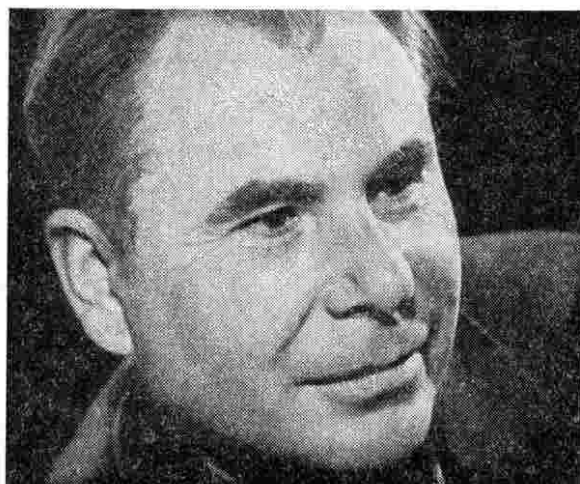
Ах, в письмах смысл особый скрыт!
Ведь даже непонятный почерк
и, впрочем, идеальный — прочен,
как самый редкий манускрипт.

Ах, в письмах жив еще полет,
что вопреки прогрессу долгот:
я — лист — конверт — почта —
графолог —
тот, кто мое посланье ждет.

И если, заложив листки,
к друзьям вы гоните машинку,
то совершаете ошибку —
перепишите от руки!



ПРОЗА

АНАТОЛИЙ
ТКАЧЕНКО

I

Дедушка Розов открыл дверь, вскинул длинную ладонь к глазам, но очков на носу не оказалось. Он сильно сморщился, чтобы заставить глаза видеть, спросил:

— Ребятки?..

Мы позабыли сказать «здравствуйте», как это уже не раз случалось у него на пороге, замялись, прячась друг за друга, хотя еще минуту назад договорились, что первым все объяснит Бэркэн.

— Вы ко мне?

— К вам, к вам,— сказал наконец Бэркэн из-за моей спины.

— Ну, так прошу.

Дедушка Розов пошел в дом, неслышно ступая мягкими оленьими туфлями с беличьей оторочкой, на ощупь застегивая меховую жилетку. Он так же неслышно сел в низенькое кресло, покрытое бурой, очень лохматой медвежьей шкурой, нацепил на кончик маленького носа, загнутого сапожком, очки и только сейчас как следует разглядел нас.

— Опять эта двоица! Вы же у меня были недавно. Музей смотреть хотите?

За открытой дверью, дальше, в глубине низенького и длинного до-

ПРАЗДНИК БОЛЬШОЙ РЫБЫ

ПОВЕСТЬ

Рисунки Г. Пондопуло.

ма, виднелись полки, стеллажи вдоль стен, застекленные ящики, столы, лавки. И на всем этом тесно, пестро, громоздко размещались чучела птиц, зверей, рыб, горки кристаллов, разного цвета камней. Невозможно было отвести глаза, невозможно было, кажется, заговорить в этом царстве замерших, заколдованных таежных и морских жителей, мерцающих камней. За спиной дедушки Розова сидела желтоглазая сова; справа, на книжной полке, висел вниз головой красноголовый дятел, внизу, у его ног, на некрашеной доске стояла пятнистая, оскаленная рысь, а на письменном столе — белая, как зимний горноста, белка.

Конечно, музей можно смотреть каждый день, и все равно что-нибудь не увидишь: так здесь много всего,— и мы будем приходить смотреть по выходным дням, когда дедушка Розов открывает музей для всех (в обычные дни ему тоже надо работать), но сейчас у нас с Бэркэном особенное дело.

— Давай,— сказал я, и Бэркэн вынул из-за спины стеклянную банку.— Вот... — Он осторожно приблизился к Розову.— Экспонат... — выговорил я красивое, не совсем понятное мне слово и поставил банку на стол перед стариком.

Не поднимаясь, не протягивая руки, дедушка Розов направил стекляшки очков на банку. Стал смотреть. Смотрел долго, кажется, совсем безучастно. А в банке была мутная вода, и на дне — длинная, похожая на змейку рыбка. Рыбка дремала, может быть, померла в теплой воде, и мы не знали, что делать, что сказать. Я начал потихоньку просить, умолять рыбку: «Ну, шевельнись, ты же еще живая... Ну пожалуйста...» И рыбка наконец всплеснула воду, кольцами проплыла за стеклянными стенками.

— Вы где это взяли? — спросил Розов.

— В Кутиме, в речке, — ответил быстро и почему-то жалобно Бэркэн. — У вас такой нету.

— В Кутиме?

— В Кутиме, точно, — подтвердил я. — Вместе на-шли.

— А еще видели?

— Видели несколько штук. Одну поймали.

— Ай, молодцы!

Он все еще сидел, не трогая банку, лишь слегка придвинул к ней нос, всегда почему-то дергающийся, как от комариного укуса, ближе к глазам придвинул очки. Принюхивался будто. А вода кутимская всегда илом пахнет.

— Да вы садитесь, садитесь, ребятки. Я сейчас, одну минутку. — Он не глянул на нас, и, наверное, мы могли бы потихоньку выйти за дверь. — Так, так... Скажите, пожалуйста... В Кутиме, значит...

— Честное слово, — шепотом сказал Бэркэн.

— А вы знаете, что это такое?

— Рыбка-выюнок, — выговорил я, потому что когда-то в деревне на Амуре видел выюнов.

Дедушка Розов слабенко и радостно захихикал, достал платок, вытер глаза, усы и бородку, надел очки. Потом встал, взял банку, сунул длинные пальцы в воду, выловил рыбешку.

— Ну вот. Я не ошибся. Это минога. Подкласс бесчелюстных позвоночных животных класса круглоротых. Предполагал, что миноги у нас водятся, а не нашел... Вот только маловата что-то... Ничего, теперь разведем... Что вам за это дать, как наградить, ребятки?

Все знали в поселке, что краевед Розов платит за редкие экспонаты: взрослым мужчинам покупает спирт, женщинам — духи, а ребятишкам — конфеты; или даст немного денег на цветные карандаши, рисовальную бумагу. Его считали чудачком, забавным старикашкой, подсмеивались даже, когда он с ловушками, сачками, сетками, малокалиберным ружьем, в шляпе-накомарнике отправлялся на марь или в тайгу. Но все равно уважали, говорили, что он очень ученый человек. К нему приходили советоваться учителя, здоровался за руку сам заведующий культбазой. А мы, мальчишки и девчонки, побаивались дедушку Розова: он казался нам колдуном немножко, шаманом, знающим все про зверей, рыб и людей.

Я глянул на Бэркэна, мой дружок посмотрел на меня. Его узкие глаза стали еще уже, широкие щеки еще шире, тоненькая шейка вовсе истончилась. Бэркэн вспотел. Мне тоже было жарко. Я подумал, что говорить надо мне, потому что Бэркэн плохо знает русский язык, ему трудно выговаривать слова. Мы заранее договорились, если наш экспонат будет хорошим, не брать конфет, денег, а попросить Розова рассказать про гору Лумукан.

— Он бичаны Гутчинсон? — вдруг спросил старик, наклонившись к Бэркэну.

Я понял его — это он спросил по-эвенкийски, как живет Гутчинсон, дед Бэркэна.

— Ая! Со ая! — ответил Бэркэн очень серьезно, но сразу улыбнулся: так ему понравилось, что Розов умеет по-эвенкийски, — и очень находчиво сказал: — Дедушка не хотел рассказать Лумукан.

— Лумукан? — удивился Розов, снимая очки, будто ему надоело смотреть на нас. — Вы такие маленькие... Зачем вам?

— Бэркэна дразнят «америкашка», — сказал я.

— Вот как? Почему же это?

— Гутчинсон говорит, что он американец.

— Когда выпьет, наверно?

— Не знаем.

— Ну так и рассказал бы он вам.

Бэркэн махнул рукой, отвернулся к окошку, показав красное ухо, выговорил:

— Этыркэн не умеет, однако.

Дедушка Розов прошелся до двери, вернулся, нежно потрогал красный хохолок на голове дятла — тот качнулся, будто ожил на минуту; глянул в комнату-музей — сейчас там все сияло, светилось, пестрело, дико теснилось в пробившемся сквозь туман свете; опустил в свое медвежье кресло, принялся молча пощипывать седую, острую бородку.

«Его зовут еще «розовый старик», — вспомнилось мне, — потому что все у него розовое: щеки, нос, даже морщинистая шея; и руки нежные, розового цвета. Интересно, сам он придумал себе такую фамилию или от предков ему досталась? Может быть, они тоже были все розовые?..»

— Ну что ж, ребятки. Плату вы придумали не простую. Придется рассчитываться. Вот только обдумать надо. Попроще бы... Вы в каком классе?

— В пятый перешли.

— Старички, совсем старички!

— Мы хорошо учимся, — сказал Бэркэн.

Розов засмеялся, упер ладони в колени, смежил слеповатые глаза на зеленые лиственницы за окном.

— Когда-то давно, может, лет пятьдесят назад, может, больше — в истории про это не написано — приходили из Америки сюда китобойцы. Добывали зверя, рыбу ловили, пушнину скупали. В нашем заливе база у них была, фактория. Это понятно вам? Хорошо. Сколько тут было американцев, никто не знает. Но главным у них был будто бы Гутчинсон. Самый богатый. Хозяин. Он полюбил девушку Лумукан, эвенкийку. Жил с нею, дорогие подарки дарил. А потом уехал. Она ждала, ходила встречать на гору, что у моря. Гутчинсон не вернулся. У Лумукан родился сын. Она брала его с собой и все ходила на гору. Понятно это вам?.. Ну и как-то упала вместе с ребенком со скалы. Сама утонула, а ребенок зацепился одеждой за лиственницу. Там его потом нашли люди. Гору называли Лумукан. Мальчику дали имя Гутчинсон, будто бы в память о добром американце. Вот и все. Понятно?..

Мы молчали. Бэркэн смотрел в пол, на кумалан — коврик из оленьей шкуры — и почему-то сильно сопел носом (можно было подумать, что он плачет). Я перебирал в уме слова дедушки Розова, искал в них то, чего не сказал старик, утаил, считая нас совсем маленькими. Не может же быть так понятно и просто: мы уже от кого-то знали все это. И за наш ценный экспонат хотели услышать длинную сказку с пиратами, парусными кораблями, пещерами и кровавой мстостью. И, конечно, чтобы Бэркэн оказался не «америкашкой», да и Гутчинсону зачем американцы?.. Сказка должна быть очень интересной, страшной, но все равно должна быть только хорошей...

Дедушка Розов сказал, будто кто-то спросил его:

— Да. Этыркэн Гутчинсон говорит, что он сын Лумукан.

Бэркэн всхлипнул, вскочил, прижимая ладонь к глазам, выбежал в дверь, не захлопнув ее. Я видел, как он, размахивая одной рукой, низко наклонившись, бросился в одну, другую сторону и спрятался в кустах стланика за музеем. Встав с лавки, я хотел

побежать за Бэркэном, но меня поймал за рубашку дедушка Розов.

— Подожди-ка. Вот не ожидал! Беда с вами. Ты вот что. Скажи дружку, что это легенда, сказка. Никто не проверил. А он, Бэркэн, самый настоящий звенк. Посмотри, какие у него щеки, глаза. Нашли американца! Всем ребятам скажите: Розов говорит, — выдумка это. А Гутчинсону я обязательно скажу, чтобы меньше болтал. Ну, иди.

Я бросился к двери, выбежал на крыльцо.

— Подожди минутку!

Дедушка Розов сунул мне в руки горсть конфет-подушечек, шлепнул слегка ладонью в затылок.

— Дуй! А за миногу спасибо. И заходите, жду...

Он еще что-то кричал мне вслед, но я уже не слышал. Метнулся в одну, другую сторону по следу Бэркэна, нырнул в кусты стланика. Запрыгал по багульнику, упал, запутавшись ногами в цепких ветках; чуть не задохнулся в туче багульниковой пылицы; зато, когда поднялся, сразу увидел Бэркэна. Он сидел под густой стланиковой лапой, на белой кочке из мха-ягеля, держа ладонями голову. Он уже не плакал, лишь сопел и надувал толстые губы, будто кто-то невидимый ругал его за нехороший поступок.

Я подсел к нему и сразу заговорил, чтобы Бэркэн опять не сбежал; в тайге мне его не найти: он все тропки звериные и человеческие знает.

— Послушай. Дедушка Розов сказал: это все сказка, выдумка. Скажи, говорит, Бэркэну: он самый настоящий звенк. У него совсем черные волосы. — Я провел ладонью по колючему ежику друга. — Щеки, глаза... Всем ребятам скажите, говорит Розов. А дед твой просто болтает много... Вот, конфет дал, на.

Конфеты Бэркэн любил, никогда не отказывался, в интернате зимой кашу и суп на конфеты менял и поэтому подставлял ладонь; я все ему высыпал, оставил себе за щеку заложить, чтобы вместе сосать. Он не заметил такой дележки: очень был расстроенный, а когда съел конфеты, перестал сопеть. Значит, поправилось настроение.

— Ты хороший лучакан¹, — сказал Бэркэн. — Байе, друзья будем.

— Мы уже байе.

— Всегда будем.

Я вспомнил, как зимой выручил меня Бэркэн. Шел я вечером куда-то, и меня подкараулил Никита Ям-сольский. Повалил в снег, начал колотить за стишок в стенгазете. Стишок маленький такой: «В нашей школе есть Никита, не похож он на бандита, но девчонок и мальчишек он клюет, как филлин мышек». Пустяковый, можно сказать, стишок. И зачем обижаться, если правда в нем написана? Но старшие Ям-сольские, отец и мать, в школу приходили, с завучем ругались, а потом Никита меня подкараулил. Навалился, бьет. Я голову прячу, вырваться и не думаю; он вдвое тяжелее меня. И вдруг Никита упал в снег, я вскочил, вижу: на нем верхом сидит Бэркэн, как на олене, подпрыгивает. Намяли мы бока Никите, потребовали слова, что больше не будет на меня нападать. Только после всего этого, когда мы остались вдвоем с Бэркэном, я заплакал. Нет, не от кулаков Никиты — оттого, что Бэркэн так помог мне, не побоялся огромного Никиты; оттого, что дружба может быть не только в книжках... Стыдно мне потом было, но Бэркэн никому не рассказывал о моих нюнях. Таежные люди умеют молчать.

Я протянул Бэркэну руку:

— Давай.

Когда Бэркэн сжал мои пальцы, я дернул к себе его руку, поднял Бэркэна с кочки.

— Чего сидим? Пойдем куда-нибудь.

Бэркэн подумал немного, раскусил пополам последнюю конфету, сунул мне в рот.

— Пошли на лайду, дельфинов смотреть будем.

Пробрались сквозь стланиковые кусты, нашли тропинку, пустились по ней вниз. Тропинка твердая, пробита до земли, извилистая, как ручеек. По сторонам лиственницы плотные, ветвями небо закрывают. Бежим — и лес понемногу редее, вот уже марь² проглянула впереди и за нею серо-синяя полоса. Это — море. Пересекаем марь, но не так быстро: надо прыгать с кочки на кочку, чтобы не намочить ноги, да еще морошка и голубика попадают, попробуй не сорви, если особенно крупная, — прыгаем, хватаем ягоду. Бэркэн похож на подстреленного зайца, я, наверное, тоже. Все-таки выбегаем на лайду — морской берег, заваленный плавником, водорослями.

Слева гора Лумукан (она у самого устья реки), справа мысы, голубая галечниковая лайда, уходящая в открытое море, исчезающая в тумане; прямо перед нами шумит мутная, илистая вода залива. От нее ветер, морские запахи, от нее морось и холод.

Я смотрю на Лумукан, смотрю незаметно для Бэркэна (он-то, знаю, смотреть не будет), но ничего интересного, нового не вижу. Это даже и не гора — большая скала, покрытая сверху лиственницами, обрывается к морю, как срезанная ножом булка. Красивая скала, зелено-черная издали. Но лишь издали. Подойдешь — вся в завалах камней, в гротах, пещерах, и лиственницы поверху корявые, покореженные ветрами. Неужели она была такой всегда, даже еще не имея имени Лумукан?

— Ты зачем думаешь? — толкнул меня Бэркэн. — Смотри, не ловят дельфинов.

В заливе не было катеров, лодок. Дельфиний невод был подвешен на козлы для просушки. Это и я теперь заметил. Или вчера много выловили дельфинов-белух и на жиротопном заводе не управились, или шторм больше пяти баллов... Из воды виднелись лишь кольца ставных сеток на кету, да справа, за валуном, сидел охотник, подкарауливая нерп.

— Пойдем смотреть, — сказал Бэркэн.

К охотнику подбирался медленно. Сначала, пригнувшись, перебежали за плавником, потом ползли к валуну по мокрой гальке. Неслышно, почти не дыша. Шумел прибой, кричали чайки, посвистывал ветер. Подползли, поднялись на корточки за валуном, возле охотника, отдохнули, и Бэркэн слегка тронул оленью куртку охотника.

— Мэнду бэе, Гиравуль!

Охотник быстро повернулся, наверное, испугавшись, посмотрел на нас и сразу показал широкие зубы — не рассердился, значит.

— Кэ, мэнду! — ответил (здравствуйте!). — Закурить есть?

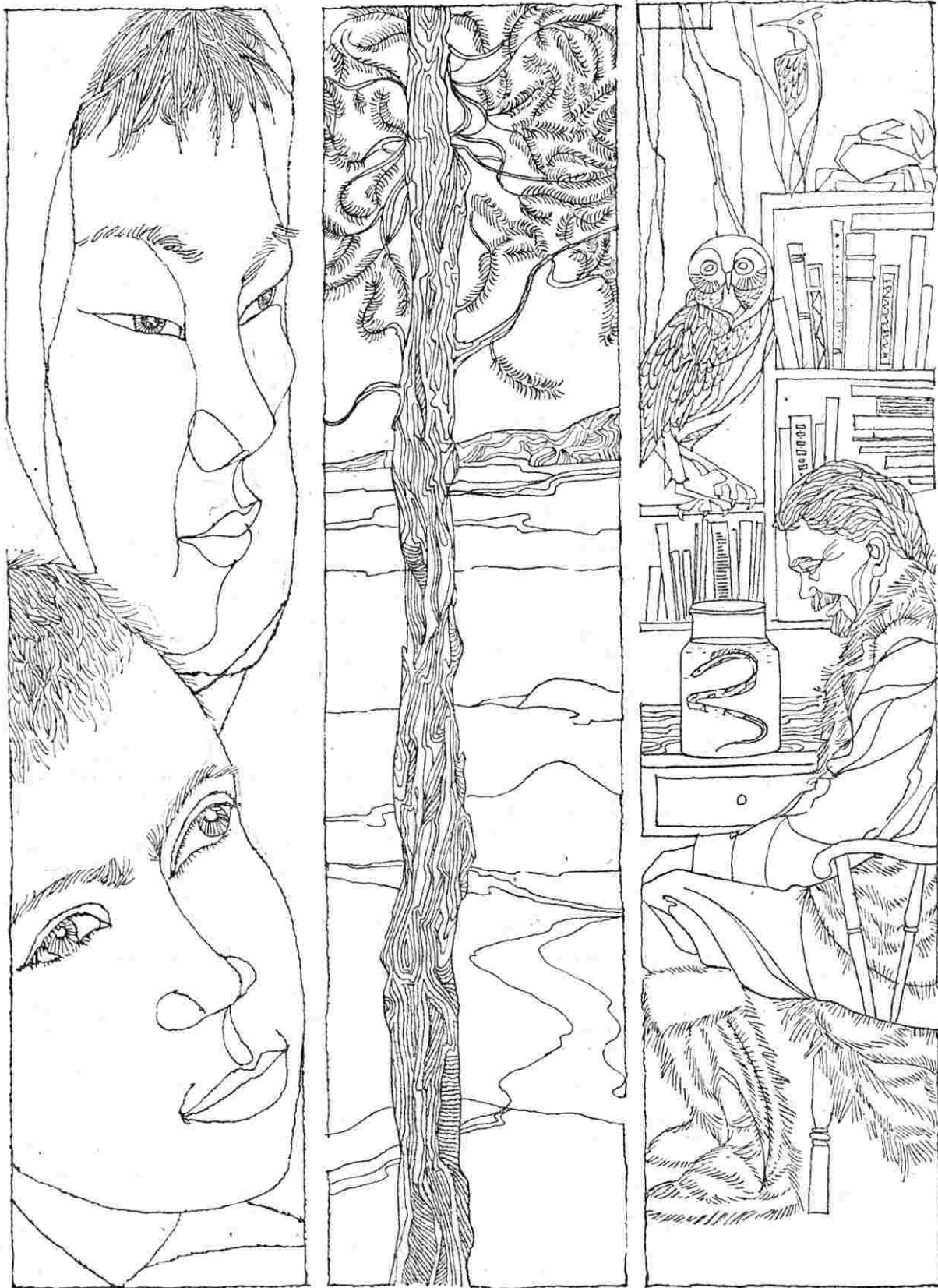
Бэркэн сунул руку в карман пиджачка, вынул горсть махорки. Гиравуль медленно взял, набил махоркой трубку, закурил, жмурясь и сладко вздыхая.

— Ая. Спасибо, — сказал, показывая зубы.

Мне сделалось обидно, что не я угостил Гиравуля табаком. Для него бы ничего не пожалел. Он лучший стрелок в школе среди старшекласников, хороший лыжник, лучший гонщик на оленьей упряжке. И еще чемпион в звенкийской борьбе. Но мне никак нельзя носить в кармане махорку: отец заметит, скандал будет. А Бэркэну можно. Ему чуть ли не с первого дня жизни трубку пососать давали, спиртом угощали. И теперь ни родители, ни дед Гутчинсон за табак не ругают. Правда, Бэркэн не очень любит курить, в школе никому не дает, но табак всегда носит — привычка такая. Чтобы старших угощать. Еще примета у звенков есть: табак злых духов отгоняет.

² Марь — безлесное, заболоченное место.

¹ Лучакан — русский (э в е н к.).



— Хорошо, что пришли,— говорит Гиравуль.— Скучно одному, однако.

— Не убил? — строго спросил Бэркэн, будто он самый старший здесь.

Гиравуль перестал улыбаться, ответил очень серьезно, даже немножко извиняясь:

— Понимаешь, далеко ходят... Убью — как достать?

— Далеко — не надо,— согласился Бэркэн.— Давай все смотреть будем.

Гиравуль кивнул, и мы облепили камень, высунув из-за него головы.

Выслеживать нелегко. Волны у берега толкались, плясали, вспенивались барашками. Солнце то высвечивало сквозь тучи, то пропадало в их черноте. Глаза уставали. Кажется, невозможно заметить в таком месиве мокрую голову нерпы, тем более попасть из малокалиберки в нее.

И все-таки дзинькнул выстрел. Гиравуль вскочил, побежал к воде. Мы — за ним. У прибой Гиравуль сдернул с себя одежду, остался в трусах и с коротеньким гарпуном на шнуре бросился в воду. Было не очень глубоко, но волны сбивали его; он то плыл, то бежал. Наконец, завертелся на месте, нырнул, фыркнул, что-то крикнул нам. Мы не поняли, принялись раздеваться. И тут Гиравуль, барахтаясь, быстро побежал к берегу. Его свалила прибойная волна, он на четвереньках выбрался на гальку, сунул нам в руки шнур.

— Тащите! — И, схватив одежду, побежал за валун одеваться.

Мы тянули шнур, на конце его, где-то в воде, чувствовалась упругая тяжесть. Она медленно подвигалась к нам, и было боязно: вдруг оборвется шнур! Мы тянули, наверное, очень медленно, потому что Гиравуль, вернувшись, крикнул:

— Ай, охотники! Я думал, вы уже вытащили.

Он так начал работать руками, что мы едва успевали за ним, однако шнур, еще более натянувшись, не думал лопаться, словно железным был.

— Ну, теперь дружно! — скомандовал Гиравуль.— Раз, два, взяли!

На песок, как бы сама, выползла пятнистая, длинная, валуном обкатанная нерпичка. С ходу мы отволокли ее к плавнику и тут бросили шнур, изрезавший нам пальцы.

— Ур-ра! Праздник будем делать! — крикнул Гиравуль, а я и Бэркэн заплясали вокруг нерпички, как старые звенки вокруг большого убитого сивуча.

Гиравуль вынул нож, освободил гарпун, перевернул нерпичку на спину и взрезал ей живот от хвоста до головы. Запахло теплой тухлой рыбой, забелел жир, покраснело мясо.

— Делайте костер.

Мы принесли несколько охапок крупного сушняка, бересты для растопки, сухих палок для жара, уложили все за валуном, подожгли. А потом стали смотреть, как разделяет тушу Гиравуль.

Красиво он работал. Широко взмахивал рукой, вертел нерпичку, как куклу, придавливал ее коленом. Но ни одной капли крови мы не видели у него на одежде, даже руки выше ладоней были сухие. Пеструю шкуру он снял с нерпички, как платьице, отбросил в сторону. Выпотрошил внутренности, бережно положил на валун печенку. Короткими ударами высек три куска мяса, подал нам.

— Делайте шашлык.

Бэркэн вынул свой нож, срезал три палки-рогульки, надел на них мясо, воткнул палки заостренными концами в песок над огнем. Зашипело сало, запузырилась кровь, и мясо из темно-красного стало делаться черным. Душно запахло горячим рыбьим жиром.

— Ая! Со ая! — морщился от огня, радостно по-

казывал зубы Гиравуль, вертя свой кусок мяса, обжаривая его со всех сторон.— Кароший обед будет!

Я никогда не ел нерпичьего мяса, тем более поджаренного на костре. Русские говорили, что это невозможная дрянь, пахнет тухлой рыбой, вонючим жиром. И на самом деле меня подташнивало от запаха, но я терпеливо вертел свой кусок над огнем, повторяя движения Гиравуля, и старался выказывать радость.

Гиравуль и Бэркэн сели у костра, подогнув под себя ноги, вынули ножи, принялись есть. Ели они, хватая зубами горячее мясо, ножом отрезали возле самых губ и, почти не жуя, глотали кусочки. Смотреть на них было страшновато.

— Делай, кушай,— сказал Гиравуль.

И я впился зубами в горячую, душную мякоть, потому что хотел быть похожим на них, звенков, с которыми мне, я знал, придется долго жить.

2

Утром я зашел к отцу на культбазу. Он работал в маленькой комнатке, где, кроме стола, табуретки и оленьих рогов у двери (они заменяли вешалку), ничего не было. Самым важным предметом на столе, а может быть, и в жизни отца, как мне казалось, были счеты. Он постоянно щелкал костяшками, очень четко и звучно, и мог заниматься этим в присутствии любого количества людей, даже разговаривая с кем-нибудь. Переставая щелкать, он оставлял руку на счетах, трогая, ощупывая их, как охотник цевье ружья, плотник — топориче.

В его комнате всегда было дымно, накурено, припахивало брагой или спиртом: отец пил с друзьями каждый вечер. Ходили по очереди в гости друг к другу и пили. Похвалялись легкой жизнью на Севере, ругали прошлую жизнь, и отец всегда кричал, пьянея: «Друзья, товарищи, хорошо живем!»

Я поступался в дверь, вошел.

Отец хлестко бросал костяшки от доски до доски счетов, густо дымил, щуя глаз и скосив голову. Был он небрит да еще с усами (усы, щетина на щеках — седые, почти белые), и потому, наверное, резко выделялись темные, без седины, волосы. Большеулыбчивый (звенки говорили о нем: «Нос — все равно чангай»), палка тяжелая, которую привязывают пасущимся оленям), смугловатый лицом. Иногда он называл себя «амурским гураном»¹. Что это означало, я не знал толком.

— А, ты,— сказал он, глянув сквозь дым.

У меня екнуло в груди, я перестал дышать. И так всегда. Почему я боялся отца, почему не мог назвать его ни татей, ни папой,— непонятно. Он никогда меня не бил, не ругал. На гулянках даже хватался мной (рисую хорошо, стишки сочиняю). В обычные дни, правда, совсем не замечал меня, но я не обижался: больше свободы. Может быть, все потому, что отец не был мне ни другом, ни врагом?

— Хочу на Эвакан идти,— выговорил я в пол.

— Зачем? Это же далеко!

— Праздник олло, рыбы смотреть.

— С кем?

— Бэркэн и я.

Отец задумался. Хорошо — значит, можно настаивать. Прекрасно, что Бэркэн остался на улице. Отец наверняка подумает о нем, как о взрослом человеке — такое крепкое имя. Может быть, он знает, что Бэркэн по-звенки — это ловкий, отважный.

— С ночевкой?

¹ Гураны — так называют себя забайкальцы смешанной национальности.

— Одна ночевка.

Отец опять задымил, обволок себя дымом. А я уже знал, в чем дело: он боится отчета перед матерью. «Что, куда, как?» А самому ему уже стало скучно со мной, ему лучше просто знать, что я существую, здоров, одет, но говорить, заниматься мной скучно, неинтересно. Особенно он остыл ко мне после того, как купил навеселе баян — единственный в поселке, привезенный парнем по фамилии Смитсон с золотых приисков, — и за полгода я не выучил даже гопака. Узнав, что мои друзья на моем баяне легко играют «На сопках Маньчжурии» и «Коробушку», отец чуть не разбил баян, мать вовремя его спрятала, а после продала.

— Матери скажи, — наконец решил отец.

Идти к матери мне было совсем ни к чему, лучше вовсе не собираться на Эвакан, и я соврал:

— За ягодами с бабами ушла.

И сам поверил, что так оно и есть: почему бы ей не уйти за ягодами? Погода отличная, голубика поспела. Отец не станет проверять, сестры едва ли прибегают к нему. В нашей семье все жили как бы сами по себе, лишь к ночи собираясь домой. Да и зачем было следить за нами в маленьком поселке, где каждый каждого знает по имени?

— Ладно, — махнул костистой, как костяшки, рукой отец.

Вот и все, так бы сразу. Так легче нам обоим, и я ныряю за дверь, по ступенькам сбегая к Бэркэну.

— Почему долго? — солидно сопит он.

— Поговорить надо было.

— Русские дома сидят, других тоже не пускают. Чудной этот Бэркэн! Ему кажется, что все в мире должны жить так, как живут его сородичи. Никто никого не держит, дети считаются взрослыми, живут самостоятельно. Охотятся, рыбу ловят, в тайге ночуют. Их никогда не бьют, не «воспитывают». Очень уважительно с ними обращаются.

— Пошли, однако.

За спиной у него котомка, обшитая кожей, на плече малокалиберка, в руках два гладких длинных шеста. Я беру у него шесты, и мы быстро идем под гору, к реке, где стоит оморочка Бэркэна — выдолбленная из тополиного ствола лодка.

Зимой наша учительница, Лия Матвеевна, рассказывала нам, будто в Америке столько автомобилей, что богатые капиталисты покупают и дарят своим сыновьям машины. Не знаю, хорошо иметь автомобиль или нет (у нас здесь, по нашим пенькам, на нем и не проедешь), но быть хозяином малокалиберки и оморочки — это так здорово, что ничего лучшего и не придумаешь. А Бэркэн вовсе не хвастается этим, для него это просто, как носить штаны и рубашку.

Укладываем в лодку котомку, ружье, прыгаем сами. Бэркэн становится с шестом на корме, мне определяет место впереди. Отчаливаем, упираемся в дно шестами, толкаем лодку. Вскидываем шесты, снова разом толкаем. Это называется здесь — ходить на шесте. Дело нелегкое, утомительное. Надо уметь стоять в верткой долбленке, не раскачивать ее, гибко работать шестом. Я еще учусь, но уже умею немного ходить на шесте.

Скрылись за лиственницами дома поселка, показался дом связи с высокой деревянной мачтой, потом проплыла справа гора Лумукан, промелькнули склады на косе, и вот кончилась коса — на конце ее чистый галечниковый вал. Ребята загорают, купаются: сегодня теплый день.

Кто-то, хохоча, кричит:

— «Америкашка», куда счетоводишку повез?

Кричал, конечно, Никита Ямсолевский. Он только

что выскочил из воды, плясал на одной ноге, выключив воду из уха, и длинные трусы у него сползли до колен. Неуклюжий, какой-то неладный человек: плечи, как у мужика, ноги тоненькие и кривые. И слово держать не может — божился, что не будет лезть, дразниться... Будто я виноват, что мой отец бухгалтером работает.

Сильно отталкиваемся шестами, молча проплываем мимо. Все почему-то смеются, наверное, угождая Никите.

Удачно вышли из Кутима — прилив уже подпирал течение — и в устье большой реки Тугур вплыли по тихой, стоялой воде. Свернули влево, в узкую протоку, начали пробираться сквозь мари, которые были ровень с бортами оморочки.

Вошли в широкую протоку. Кромкой берега двигались час или два, отдыхали. В одном месте я опустил шест, но не достал дна (попалась глубокая яма) и чуть не вывалился из оморочки. Когда солнце начало растекаться, краснея, в лиственницах, втокнувшись наконец оморочку в речку Эвакан.

На рыбозаводе светились фонари, шумела вода, скрипели вагонетки, а дальше, на чистой лаиде, белели палатки, кое-где в них горели огни, и палатки были похожи на большие фонари с красными фитилями.

Пристали к берегу напротив палаток: здесь было много оморочек, батов, на воде качались кунгасы; мы вытащили на берег подальше свою оморочку, чтобы приливом не смыло, пошли в палаточный поселок.

— Мы к кому? — спросил я Бэркэна после очень долгого молчания (звенки, работая, плывя на лодке, охотясь, всегда молчат, чтобы не привлекать к себе внимание злых духов). Мне казалось, что сейчас можно заговорить, да и струсил я немного: впервые попал в эвенкийское стойбище. — Может, ты один пока?..

— Не надо тебе бояться.

Бэркэн крепко схватил мою руку, откинул полу палатки, наклонился и втянул меня внутрь. Мы сразу присели у входа, потому что в палатке от махорочного дыма и горелого жира нечем было дышать. Через минуту я уже кое-что видел.

У правой стенки жарко топились камин, жестяной бок был красным; посередине, подвешенный к перекладине, горел жирник — банка с нерпичьим жиром и фитилем, горел ярко, чадая, потрескивая, а то и разбрызгивая горячие капельки жира. Вокруг низенького деревянного столика сидели на оленьих шкурах эвенки, почти все старые, сгорбленные. Они молча прихлебывали спирт из фарфоровых чашек, ели вареную кету. Рыбы была целая гора, рыба варилась в чугунах на камине. Я заметил: отдельно лежали сырые головы кеты. Потом увидел, как один, помоложе других, взял голову, впился зубами в хрящ, принялся сосать, причмокивать.

— Вкусная еда, — толкнул меня Бэркэн. — Вот мой этыркэн — дедушка.

Напротив нас, в середине, на самом видном месте сидел громоздкий, сутулый, бородатый старик. Под ним была черная медвежья шкура, и чашка у него была больше, и трубка походила на молоток. А главное, он был бородатый, носатый, большого роста. Я понял: это Гутчинсон — и стал смотреть только на него.

— Там шаман, — опять толкнул меня Бэркэн.

Слева от Гутчинсона сидел седенький старичок с жиденькими усами и бороденкой, с красным, величинным кулаком личиком и желтой мокрой лысиной. На коленях у него лежал потертый, замасленный бубен, обшитый золотистой бахромой. Старичок ни на кого

не смотрел, ничего не брал сам — ему подносили к губам чашку, клали в ладони рыбу. Он молчал, и все вокруг молчали. Это так не походило на русскую гулянку.

Мне было жутко до морозца под рубашкой, интересно и жутко: в первый раз видел живого шамана; видел Гутчинсона, который, может быть, сын американца.

Нас не замечали, с нами не заговаривали, будто нас вовсе не было в палатке, и я удивился, когда по кивку Гутчинсона нам подали две чашки, два куса вареной кеты. В чашках был спирт — так резануло мне нос, когда я понюхал, — зато горячая рыба пахла отлично. Я сткусил кусочек брюшка, а чашку поставил у ног на еловую ветку.

— Нельзя, обидишь их, — шепнул мне Бэркэн. — Пить надо араки.

— Не могу. Никогда не пил. Заболею.

Бэркэн поднял мою чашку, придвинулся ко мне, отгородив нас от людей своей спиной, и вылил спирт из обеих чашек в еловые ветки.

— Тоже не могу, — сказал он серьезно, очень сожалел, что не может.

Пустые чашки он поставил на столик (никто не обратил на это внимания; видели они, как Бэркэн вылил спирт, или нет, — понять было невозможно), и мы принялись рвать зубами, жевать рыбу: так наголодались и натерпелись, глядя на еду. Съели свои куски без соли, без хлеба, но все равно, мне казалось, я никогда не ел такой вкусной кеты.

Потом опять сидели, смотрели. Густел в палатке воздух, наполняясь табачным дымом, становилось совсем жарко, кружилась голова от сгоравшего перичьего жира, запаха шкур, спирта. Клонило в дрему. Я опускал и вздергивал голову; смотрел на Бэркэна: он сидел столбиком, строго, как старичок.

И вдруг гукнул, звякнул бубен, затих на мгновение и начал бубнить, дрожать, громко и жалобно вздыхая.

Будто развеялся дым, стало прохладнее, будто эти люди просветлели лицами, выпрямились сидя и сделалось больше места в палатке.

Шаман привстал на коленях, вскинул над головой бубен, выкрикнул:

— Келдэгэр-дэгэр-дэгэр!

Люди отшатнулись, начали отодвигаться к стенкам палатки, в сумерки. Гутчинсон убрал столик и тоже попятился в угол, где затих, держа потухшую трубку на колене.

Шаман подпрыгнул, словно его снизу сильно припекло, и закружился, заплесал посередине, выкидывая в стороны ноги, размахивая бубном, колотя в него кулачком, трясая изо всей мочи голову.

— Дэгэр-дэгэр-эр! — хрипя и задыхаясь, пел он.

В такт его прыжкам, выкрикам люди начали раскачиваться, негромко напевать. Зашевелился возле меня Бэркэн. Я слегка отодвинулся. Мой друг показывался, как Ванька-встанька, что-то нашептывая.

И вдруг шаман прыгнул к нам — я шарахнулся в сторону, шаман откинул полу палатки, прыгнул, выпрыгнул наружу. Следом за ним бросился Гутчинсон, а потом все, толкаясь, выбежали из палатки. Бэркэн вцепился в мою руку, по-сумасшедшему подпрыгнул, потащил меня за собой.

Было темно, тихо, от прилива несло холодным туманом, но я сразу заметил на площадке между палатками прыгающих, пляшущих людей. Взявшись за руки, как в хороводе, они бежали, бежали за сутулой, огромной фигурой Гутчинсона, а посередине круга вертелся на месте, бил в бубен, выкрикивал непонятные слова маленький шаман.

Мы присели возле пеньки, и сразу на нас напали комары. Даже в темноте было видно, как их много —

зудящая, морозящая туча. Они впивались в руки, лицо, кусали сквозь штаны и рубашку, гудели в волосах, набивались в любую щелку, дырочку. Мне стало понятно, почему в палатке был такой воздух — это лучшая защита от комаров. Может быть, и праздники эвенки устраивают с хороводом, пляской, чтобы не кормить комаров?

— Давай, — сказал Бэркэн, протягивая мне руки.

Я понял его, живо поднялся. Мы сцепились пальцами, закружились, приплясывая. Вскоре приладились к бубну шамана, стали подпрыгивать, будто играли в лошадки, но почти точно так же, как эвенки.

— Эрз-эрз-э! — слышался сильный голос Гутчинсона, и разом в большом хороводе подхватили: — Эрз-э!

— Эрз! — подпрыгнул и сказал Бэркэн.

— Эрз! — повторил я.

И все вместе, в один голос, подпевая Гутчинсону, начали выкрикивать то протяжно, то коротко:

— Эрз-эрз-э-э!

Из палаток выскакивали эвенки, мужчины и женщины, расцепляли хоровод, становились в круг, плясали, пели. Круг увеличивался, делался огромным. Нам пришлось отодвинуться к лиственницам. Потом образовался новый хоровод за палатками. Прибежали эвенкийские мальчишки к нам, взялись с нами за руки, закричали: «Эрз!» Потом на другом конце стойбища послышались удары бубна.

Взошла огромная оранжевая луна, от Эвакана засквозило морозцем, осел туман, а мы прыгали и пели. Прыгали и пели по всему стойбищу эвенки. И кажется, нетрудно было плясать. Не чувствовалось усталости. Наоборот, ноги делались все легче и гибче, как при ходьбе на лыжах, когда перейдешь на второе дыхание. И не хотелось останавливаться, будто самое интересное будет впереди, — вот только надо выше прыгать, громче кричать «Эрз!», крепче держать руки товарищей. Будет, обязательно будет, потому что так легко, почти воздушно, и дружно, и необыкновенно!

— Ребята!

Мы замедлили пляску, не расцепляя рук.

— Что это такое?

Из кустов на лунный свет вышел толстый, небольшого роста человек в шляпе-накомарнике. На боку у него висел фотоаппарат, через плечо была перекинута сумка-планшет. По нему-то, по планшету, мы сразу узнали старшего воспитателя интерната Боровикова Ивана Сидоровича, Ван-Сиду, как звали его эвенкийские ребята. Он служил в армии младшим командиром, говорили, будто участвовал в бою где-то на границе, а потом, уволившись, приехал на Север работать воспитателем. Был очень строгий, носил хромовые сапоги, галифе и гимнастерку. И самое главное — значок пулеметчика.

Ребята, плясавшие с нами, пустились бежать, спрятались за палатками, а мы с Бэркэном так и стояли, держась за руки.

— Так, так, — сказал Ван-Сид, раскрывая планшет, нащупывая карандаш. — Ваши фамилии?

Бэркэн молчал, я решил тоже молчать: Боровиков мне не начальник — я не живу в интернате.

Ван-Сид подошел вплотную, сквозь накомарник взгляделся в нас. Бэркэну приподнял ладошкой опущенную голову.

— Так, так... Один интернатский, другой... Запишем обоих.

— Мы просто прыгали, — наконец выговорил Бэркэн.

— От комаров, — прибавил я.

— Так и запишем: плясали ритуальный танец. Пишем омерзительно.

— Да мы так просто, честное слово!—Мне хотелось заглянуть в лицо Боровикову, увидеть улыбку: ведь он шутит, конечно.—Ван-Сидыч, честное...

— Назовите фамилии других.

Я не знал ни одного мальчишки из тех, кто танцевал с нами, да и не успел присмотреться к ним. Значит, ничего не мог сказать. Молчал и Бэркэн. Может быть, он тоже не знал их или не присмотрелся? Или не хочет говорить?

— Молчим? Скрываем? Думаем, что это героизм? Так и запишем.

Ван-Сид сел на пенек, достал металлический портсигар, слегка приподнял нижнюю часть сетки, сунул в рот папироску. От него пахло одеколоном, сапоги сияли лунными бликами, фотоаппарат, планшет делали его всегда особенным, ни на кого не похожим, а теперь и вовсе почему-то пугали. У меня заходили мурашки по спине, вспотели ладони, как в страхе перед шаманом. Ван-Сид курил, и дым от папиросы был нездешним, напоминал о городах, Большой земле.

Мне вспомнилось: зимой, где-то в тайге, вверх по Кутиму, упал самолет. Учителя и старшеклассники ходили искать. Нашли. Посадили летчиков на лыжные связки, в поселок привезли. Лучшее всех вел себя в походе Боровиков, героизм даже проявил, когда в снежный обвал попали. Главный летчик на собрании подарил ему свой портсигар, поцеловал при всех. Заведующий культбазой денежной премией награждал.

«Такой человек,—думал я,—все понимает. Мы же не верим шаманам, ни я, ни Бэркэн. Просто интересно. Посмотреть приехали, ну потанцевали... Как получилось — сами не понимаем. Комары кусали. Это же ерунда! И не надо потом в школе об этом говорить. Такой человек все понимает... Он сейчас засмеется, скажет, что пошутил. Мы возьмемся за руки, попрыгаем, а потом пойдем в палатку, поедем отличной рыбы...»

— Подойди-ка ближе, — сказал строго, будто скомандовал, Ван-Сид.

Бэркэн зайцем отпрыгнул в сторону и, пригнувшись, словно в него могут выстрелить, побежал к палаткам.

— Стой!—крикнул, вскочив, Боровиков.

Он хотел схватить меня за руку, но я удачно повернулся, бросился вслед за Бэркэном — его светлый пиджачок виднелся за третьей палаткой.

— Мы еще поговорим, имейте в виду!

Бэркэн нырнул в крайнюю от леса палатку, я просунулся за ним. В палатке было пусто, горел неярко жирник, лишь в углу одиноко сидела дряхлая старушонка. Она дремала, едва заметно раскачиваясь в такт пляске, выкрикам «Эрэ!», на нас не глянула, ничего не сказала.

— Не танцует ава, — сказал Бэркэн. — Совсем старенькая.

— Твоя бабушка?

— Бабушкина бабушка.

— Сколько ей лет?

— Каждый год говорит: сто лет.

Бэркэн подкочегарил печку, поставил на середину чайник, достал из кастрюли за печкой рыбу, из другой кастрюли — хлеб, масло. Потом налил в кружки густого чая.

— Ты почему всегда убегаешь? — спросил я.

— Не знаю... Ноги убегают.

За палаткой, чуть в отдалении, слышались тяжелый топот, хрипучие выкрики. Люди утомились, сорвали голоса, но все еще плясали. Лаяли, выли не то перепуганные, не то возбужденные собаки. Была глубокая ночь.

— Спать будем, — сказал Бэркэн, поправив у стены оленьи шкуры, одну свернул трубкой, бросил под головы. — Ложись давай.

Лег, минуту смотрел на качающуюся старушку в желтых бликах жирника, слушал топот, голоса и провалился в черноту сна.

Проснулся от холода, вскочил, будто криком меня испугали. Скаты палатки сделались прозрачными, розовели. Снаружи подрагивали капли росы. Бэркэна не было. В углу, заваленная шкурами, спала вечерашняя старушка. За палаткой стояла глухая тишина, лишь изредка где-то невдалеке возникал и обрывался хрип, похожий на скрип расколотой лиственницы.

Я выбрался на воздух. На большой поляне между палатками в туманной дымке прыгал, издавал короткие звуки одинокий человек. Был он скорченный, растрепанный, длинные волосы свисали ему на лицо. По краям поляны прямо на земле лежали сваленные усталостью люди — спали. Это было похоже на древнее поле сражения.

Подождал Бэркэн, сказал шепотом:

— Один танцует.

— Кто это?

— Гутчинсон. Всех победил.

3

От Кутима послышался вой сирены. Он прошел сквозь березовую рощу, сквозь стланик и лиственницы, и его услышали в каждом доме. Ребята сразу позабыли самые интересные свои дела, пустились под гору, волоча за собой младших братишек и сестреноч. Взрослые, кто был свободен, и те, кто мог оставить работу на какое-то время, тоже зашагали к Кутиму.

Из города пришел катер «Тугур».

В лето он делал несколько рейсов на «материк», увозил и возвращал отпускников, привозил новых вербованных, письма, посылки, учебники для школы. И всегда это был праздник для поселка: «Пришел «Тугур». Его дребезжащую, как бы отсыревшую на море сирену знали все, могли отличить от разных других и приходили встречать в любую погоду, даже по ночам.

Я прибежал на берег, когда катер причалил к пристани напротив магазина. Никита Ямский поймав конец и, нахлывшись, солидно тащил его к деревянному столбу-кнехту. Пришлось немного помочь ему: ведь это не его личная работа, — но все-таки мы успели слегка поругаться. «Отодвинься, — сказал Никита, — придавлю». «Силач Бамбула, — сказал я, — вон сопля из ноздри вылезла». Закрепили вместе конец, и я отодвинулся подальше от Никиты: стишки-то мои он еще не позабыл. Да и народ собирался, скоро тесно будет на досках пристани, надо местечко получше выбрать, чтобы катер хорошо видеть.

Пришел заведующий культбазой, крупный человек, одетый во все эвенкийское; он даже летом носил торбаса, оленью куртку; во рту постоянно держал короткую трубку-носогрейку. Пришел мой отец, другие работники культбазы. Кое-кто успел подвыпить по такому важному случаю, женщины нарядились в косынки и платья. Стало шумно, начинался галдеж, а с «Тугура» почему-то не подавали сходи, будто ждали большего скопления народа. Где же его возьмешь — почти все здесь. Эвенкийские старухи из дальних палаток приползли. Собаки сбежались, дерутся в стланике.

Ко мне на краешек пристани пробрался Тимоха Клок — сердитый человек с такой непонятной фамилией. У него рыжие волосы, и на лице всегда коно-

пушки — рыжие, широкие, как клопы. Протиснулся, чуть не столкнул меня в воду.

— Ты чего?

— Там не видно.

— Тебе здесь цирк, что ли?

— А сам?

Ладно, пусть стоит. Он слегка ненормальный, психованный: когда дерется — визжит и кусается. Одному ухо чуть не отгрыз, другому палец прокусил. С ним лучше не связываться. И жалко иногда бывает его: такой рыжий и злой!

— А где твой... — Клок хотел сказать «америкашка», но только скривил рот, будто ему стало смешно.

Я не ответил — не обязательно отвечать клопам (его и так иногда называли), к тому же из рубки наконец появился старшина катера, которого все в поселке зовут «капитан». Он был в новенькой морской фуражке, в кителе с медными пуговицами, на рукавах шевроны.

— Подать трап! — скомандовал «капитан».

С носа прибежал Колька Нечаев, из машинного отделения вылез Володька Зеленец. Они сняли с надстройки трап, развернули, развели на борту ворота, бросили трап на пристань.

И сразу из открытого трюма полезли на палубу приезжие, подкидывая чемоданы, тюки, мешки (раньше срока им не разрешалось толкаться на палубе, чтобы не перевернуть катер), издали здоровались со своими, переговаривались. Навстречу им пробился начальник узла связи — принимать почту. Бочком протиснулись заведующий культбазой и мой отец, сразу скрылись в рубке «капитана».

Колька Нечаев и Володька Зеленец командовали у трапа. Перебрасывали на пристань чемоданы, поддерживали старушек, укаченных штормом женщин. Мужчин, тоже укаченных, подбадривали острыми словечками, чтобы не позорились на народе. Одну девочку, из новеньких, на руках вынесли на пристань: ее совсем измучила морская болезнь.

А катер слегка пошевеливался, широкий, весь деревянный, с полосатой трубой, выветренным флажком на мачте. Борта потерты до желтого дерева, кранцы помяты, проржавевший клюз — как заплаканный глаз. Катер опять попал в шторм, сутки его трепало возле Шантарских островов. А, бывало, приходил без мачты, с искалеченной капитанской рубкой, с оторванными отвальными брусьями.

— Слышь, — толкнул меня Клок. — Вот бы и нам матросами!..

— А штаны запасные есть?

Клок обиделся, запыхтел, жалобно отвернулся. Зачем я с ним так?.. Он ведь просто сказал, мечтаю. Куда нам матросами на такой катер! И почему хочется обижать слабого человека, хоть и знаешь, что это не хорошо?

Теперь я смотрел на Кольку Нечаева и Володьку Зеленеца. Оба они в тельняшках, матросских форменках, широченных (аж дух захватывало!) брюках-клеш. На обоих черные, военные, но без кокард зюйдвестки. Загорелые до черноты, с большими руками, сноровистые. И только немножко, чуть-чуть грубые, пренебрежительные. Но кто им это запретит? Ведь они всего-навсего семиклассники, а уже на такой опасной и тяжелой работе.

— Полундра! Вирай, вирай! Тетенька, не тяните шкертки! — покрикивали, смеялись Колька и Володька.

Мне больше нравился Колька Нечаев. Ростом он был ниже Володьки, но зато шире в плечах, крепче; и неуклюжесть его нравилась: напоминал борца в тяжелом весе. Мы немножко дружили — я и Нечаев. — Потому что он дружил с моей сестрой, иногда приходил к нам домой. Зимой помогал решать мне

задачки, летом, если мы вместе оказывались на кутимской косе, учил плавать.

— Шабаш! — крикнул Зеленец.

Пассажиров выгрузили, перебросали их багаж. Начальник узла связи выволок на пристань мешок с письмами, два радиста — его работники — достали из трюма и перенесли посылки: десятка два ящичков. Начальник растолкал людей, освободил небольшую площадку и начал выкрикивать, беря в руки посылки:

— Сидоров! Здесь?

— Здесь!

— Бери! Распишешься потом.

Ящик плывет над головами, попадает в объятия радостному Сидорову.

— Клементьев!

— Здесь!

— Бери!

Потом тут же началась раздача писем, бандеролей, упаковок с книгами. И отдельно были вручены дедушке Розову стеклянные колбы, оплетенные сетчатými, плотными корзинами. Никита Ямольский взялся помочь донести до музея. Я бы тоже пошел, да уж очень хотелось хоть на минуту увидеться с Колькой. Толкнул Клока:

— Помоги человеку.

Посопел, но не смог оторвать глаз от катера. Надеюсь, наверное, прошмыгнуть по трапу, слазить в кубрик, взглянуть в машинное отделение, чтобы потом хвастаться, грудь колесом выпячивать.

— Все, товарищи, все! — сказал начальник узла связи. — Здесь служебная корреспонденция.

Толпа начала редеть, люди пошли на работу. На пристани остались мальчишки и собаки — им торопиться некуда. Да в стороне, возле стланиковых кустов, стояли девчата. Я заметил свою сестру.

Колька Нечаев и Володька Зеленец нырнули в кубрик, побыли там, опять появились и легко сбежали по трапу на пристань. Они успели сбросить рабочие форменки — теперь на них были белые, с отложными воротниками в синюю полоску, — в руках они держали маленькие кожаные чемоданчики.

— Здорово, Колька, — сказал я не очень громко: как-то сразу перехватило в горле, горячо сделалось щекам.

— Привет другу. — Колька крепко стиснул мою руку (он всегда называл меня другом), опустил мне на плечо ладонь, слегка прижал к себе (от него пахло машинным маслом, одеколоном). — Как живешь?

— Хорошо живу.

— Правильно делаешь.

Кончились доски пристани, мы пошли по траве к лиственницам, и я понял: мы идем к девчатам. Мне так не хотелось, чтобы Колька шел к девчатам — я даже думать об этом боялся. Пусть бы шел к ним один Зеленец. Он, наверное, им больше нравился: чернявый, глазастый, с развалистой походкой... А я стесняюсь девчат, не понимаю, как можно с ними дружить, они же от лягушки в обморок падают, если сунешь им в карман...

— Ты знаешь — в Испании война?

— Знаю.

— Республиканцы дерутся с фашистами.

— Знаю.

Из-за магазина вышел Гиравуль, сделал рукой салют, подбежал к Кольке и Володьке, сияя от радости всей круглотой лица, принялся обеими руками стискивать им ладони, приветствуя по-русски и по-эвенкийски:

— Мэнду бэе! Дорово!

— Мэнду! Кэ мэнду! — отвечали Колька и Володька, толкали Гиравуля кулаками, хлопали по плечу так, что он едва не падал. — Почему опоздал?

— Охотился. Сирену не слышал.

— Заказ не получишь.

— Юколой тогда не угощу.

Девчата накинулись со всех сторон, их было много, и начались новые приветствия, охи, ахи, шуточки. Кольку и Володьку толкали, дергали, требовали немедленно городских конфет; окружили, взяли под руки, повели в поселок. Гиравуль тоже оказался в середине.

Я бежал то сбоку, то впереди. Мне было стыдно вот так бежать за взрослыми, но я не мог отстать, злился на девчат (вечно они лезут со своими приставаниями, болтовней!) и чувствовал: Колька мне что-то привез — он обещал что-нибудь привезти.

Поднялись на сопку, отсюда хорошо был виден Кути, «Тугур» у пристани, Лумукан с гущиной лиственницы на голубизне моря, дальние сопки — синие и еще более дальние — в сумерках всегдашнего тумана. Здесь росли березы, это место называлось Горка, ее очень любили все в поселке: нигде поблизости да и в тайге не было таких рослых, таких белых, таких кудрявых берез (наверное, потому звенки поставили когда-то на сопке свои первые чумы). Все остановились — Горку нельзя было просто так пройти, — и Колька Нечаев, сев на дерновую кочку под березой, положил на колени кожаный чемоданчик. На соседней кочке устроился Володька Зеленец. Когда Колька хлопнул ладонью по крышке чемодана, Володька силно запел: «Эх, полным-полна коробушка...» Девчата засмеялись, представление им вполне понравилось.

— А теперь всем по конфетке, — сказал Колька, щелкнув замком чемодана. Крышка подпрыгнула, он стал осторожно, двумя пальцами, поднимать бумагу и тут увидел меня — я протолкался наконец сквозь женскую толпу. — Э, постойте, — сказал Колька, — поважнее дело есть.

Он сунул в чемодан руку и вынул оттуда что-то яркое, голубое, с красными кисточками.

— Держи!

Девчата заговорили негромко, будто чего-то испугались: «Испанка»... настоящая... с кисточкой... какая красивая...» Колька глянул куда-то за мою спину, слегка улыбнулся.

— И тебе тоже, а то заплачешь.

Я оглянулся. Клок протянул свою рыжую руку, и Колька Нечаев вложил в нее «испанку». Оказывается, рыжий ни на шаг не отставал от меня, просто я не видел его: так бежал и суетился. И вот получил отличную оранжевую «испанку». За что это ему?.. Да Колька, может быть, впервые и увидел его. Чтобы не заплакал? Я вспомнил Бэркэна и чуть сам не заплакал — так жаль стало друга. Ему бы «испанку»! Он смелее, умелее всех нас. Он уже почти взрослый среди нас, хоть лет ему ничуть не больше. Да я не надену свою «испанку», если у Бэркэна не будет такой же.

— Коля, — сказал я, отталкивая девчат. — Дай еще одну.

— Кому?

— Бэркэну.

— А, другу?! Почему встречать не пришел?

— В стойбище. — Но этого мне показалось мало, и я быстро приврал: — С дедушкой охотиться ушел...

— Гутчинсон дедушка?

— Ага.

Колька Нечаев оглядел всех: как, мол, решим — уважительная причина? Девчата загалдели кто что: «Обойдется!.. Нет, надо выделить!.. Сам решай!» Володька Зеленец, видя такую неразбериху, открыл свой чемодан, и девчата бросились к нему, потому что сверху сплошным слоем лежали шоколадные конфеты «Ромашка».

— Надо, — строго сказал Гиравуль.

— Тогда — закон. — Колька вынул третью, зеленую «испанку», я схватил ее, отпрыгнул, будто кто-то мог вырвать у меня, напрямик через рощу побежал к поселку.

Дома никого не было; я очень обрадовался этому: хотелось без свидетелей примерить «испанку». Пригладил ладонью волосы, осторожно надел, ощутив, как мягким кольцом она охватила голову от затылка до лба. Медленно подошел к зеркалу. Глянул... Ну, конечно, там был совсем не я. Не тощий, курносый, с исцарапанными коленками, в разбитых ботинках мальчишка, а... (надо смотреть на голову), а боец, хоть и молодой, но суровый, республиканец в пилотке из отряда генерала Лукача. Я взял наган с металлическим стволом, деревянный меч. Разбегайтесь, фашисты!.. Начал скакать от стола до кровати, рубанул голову Франко — это оказалась глиняная кукла младшей сестренки, — замахнулся на тряпичную обезьяну... И увидел в зеркале: в дверь вошла и остановилась у порога мать. Все-таки крикнул, опустив меч:

— Рот фронт!

Мать приблизилась ко мне, сняла с головы «испанку», разгладила в руках, распушила шелковую кисточку.

— Нечаев привез?

— Коля.

— Умылся бы хоть. — Увидела куклу без головы, немного поморщилась (наверное, подумала, как будет орать Надька). — Бери клей, приладь голову.

Ладно, приклею голову. Кукла не фашист. Сестренка Надька не должна страдать: она ни о какой революции в Испании не слышала. Реветь начнет — всех расстроит. А мне мать жалко: одна в семье работает: и еду готовит, и стирает, и штопает. Отец у нас книжки читает или выпивает. Летом еще ничего, мать успевает с домашним хозяйством; зимой совсем из сил выбивается, потому что еще работает поварихой в интернате. Она всегда немножко усталая, немножко грустная. Если сидит минуту, ничего не делая, значит, думает — не знает, за что сначала приниматься. А поет лишь на гулянках, хорошо поет деревенские песни, особенно «Зеленый гай». Конечно, никогда я не говорю матери никаких ласковых слов — почему-то стыдно (или боюсь, что расплачется вместе?), но стараюсь не очень сильно обижать ее. Стараюсь слушаться.

Хоть и не каждый день мне это удается: я ведь сын — главный ребенок в семье.

Мать села подштопать мой вельветовый костюм, куртку и брюки-клеш, чтобы я лучше выглядел в новенькой «испанке», а я прилаживаю глиняную голову. Здорово отшиб. По всему туловищу трещины пошли, и шея кусками скололась.

Работаю спиной к матери, чтобы не видела бедную куклу.

Склеил, подержал над теплой плитой, развел акварельные краски, подкрасил самые некрасивые места, воротник платьица подтянул к подбородку, посадил куклу на сундук — ее всегдашнее место, для начала сойдет, потом видно будет...

— Все, — сказал матери.

— Ладно. — Она не глянула (может быть, чтобы не расстраиваться?), бросила мне куртку и брюки. — Надевай.

Переоделся, но к зеркалу подойти не смог: было почему-то стыдно при матери или побоялся своего очень красивого вида и на улицу пойти сразу не решился: станут еще все глазеть, как на приезжего, подшучивать. Лучше к вечеру, когда немного стемнеет.

Взял книгу Лермонтова, начал читать «Мцыри» —

лучшую поэму из всех существующих на земле. Когда я ее прочел первый раз, то заплакал и сам сочинил стихи.

Какие были стихи!.. Жаль, я не записал их сразу, а потом забыл.

— Мама, послушай.—Я хочу прочесть ей то место, где умирающий Мцыри говорит старому монаху: «Но верь мне, помощи людской я не желал... Я был чужой...»

— Слушаю.

Распахивается во всю ширь дверь, будто ее выносит ветром, входит отец. Он развеселый, дозвольный, нос-чангай сизый и потный: значит, отец крепенько заправился в капитанской рубке (обычно пьют что-нибудь городское, «водочку, коньячок ресторанный», как говорит отец). Он подходит к матери, усмехается, словно знает что-то секретное, важное, заглядывая ей в лицо, говорит:

— Маруся, ты знаешь, что Никифоров рассказывал, какие новости?

— Знаю,—отвечает мать, не поднимая головы.

— Да что ты! — удивляется серьезно отец, разводя руки, и, конечно, радуется, что мать не спрашивает: рассказывать-то, наверно, нечего.

— Когда придут?

— Вот сейчас и придут,—радостно оживает отец.—Бражка у нас есть там?

— Допивайте.

Отец быстренько, расторопно бежит к печке, тормозит бочонок, выколачивает деревянную пробку, из отверстия слышится шипящий звук (я думаю, это джин невидимый вырвался на свободу), комната наполняется острым запахом перекисшего хмеля. Отец нацеживает себе литровую банку — для пробы.

Я прячу «испанку» Бэркэна в книги на этажерке, свою скатываю трубочкой, толкаю в карман брюк; осторожно, чтобы отец не задержал меня для разговора о том, как он отдаст меня учиться на инженера, пробираться к двери, выскакиваю наружу.

По поселку движется аргиш — караван навьюченных, оседланных оленей. Едут две старушки, старик, одна молодая эвенка; детишки качаются в деревянных лотках-люльках, как выюки. Впереди инзгимни — пастух, хозяин. Он ведет оленя-передовика за поводок. Щелкают суставы тонких оленьих ног, потрескивают копыта, бьются рога, над караваном облако комаров, будто на привязи залетевших из тайги. Пахнет оленьей шерстью, кожей, стойбищным дымом. Пастух неторопливо направляется к магазину. Семейство оленевода из колхоза прибыло в поселок закупить продуктов, мануфактуры, погостить у сородичей.

Возле клуба галдят, толпятся мальчишки. Издали вижу — рассматривают, примеривают по очереди оранжевую «испанку» Клока. Все ясно. Свою пока не буду надевать — залапают. Подхожу. Рыжий злится, шмыгает носом. Никита Ямский хохочет:

— Да я чо, виноватый? Примерил — треснула! Разито «испанка»?

Клок разглаживает ценную вещь, близко к глазам подносит распоротый шов, словно хочет убедить себя в том, что все это ему лишь чудится, отчаянно выговаривает:

— Дурак, филин!..

Никите немного стыдно (от зависти порвал «испанку»), поэтому он не терпит Клока да и побавляется его зубов, но веселится с удовольствием. У него тут и подхалимы имеются, суетятся рядом, ждут команды — любого заколотят, только бы угодить своему начальнику.

— Дай твою примерю,—говорит мне Никита.

Я держу руки в карманах, показывая этим: «Не видишь — дома оставил!» Клок смотрит на меня, дела-

ет круглые глаза от страдания: зачем он первый полез хвастаться? Кричит Никите еще раз: «Дурак, филин!» — и убегает к своему дому, размахивая «испанкой», как желтым флажком.

Никита, кажется, вспомнил, что «филин» — словечко из моего стихотворения, придвигается ко мне, пристает:

— Принеси, а? Честное слово всех вождей, не порву. Правда, ребя?

— Правда! — соглашаются ребята.

На стене клуба афиша: «Сегодня художественный фильм «Путевка в жизнь». Младшие школьники не допускаются». Ленту привезли на катере. Читаю, думаю: хорошо бы пробраться на сеанс; Никита поет в самое ухо:

Мустафа дорогу строил,
Мустафа по ней ходил,
Мустафу Жиган зарезал,
Колька Свист похоронил...

Чувствую, как у меня начинают дрожать колени, горячий комок подступает к горлу, потеют ладони. Так всегда перед дракой. Сейчас я ударю его в рожу, они все нападут на меня... И вдруг вижу: от Горки гурьбой идут Колька Нечаев, Володька Зеленец, Гиравуль. С ними девчата. Никита тоже смотрит туда, замолкает и, махнув рукой своим, быстро удаляется в лиственницы за клубом.

И я ухожу. Потому что впереди шли Колька и моя сестрица. Мне всегда стыдно почему-то, когда они вместе. А может быть, сержусь на сестру: чего она пристаёт к парню, будто ему нечем другим заняться?

4

Появилась осенняя кета — главная рыба на побережье. Старшеклассники, учителя, все свободные люди уехали на рыбозавод. Старики, ребята ловили кету сетками — на солку себе, на зимний корм для собак.

В отлив вбивают колья, развешивают сетки, приходит вода, в сетках запутывается рыба, вода отступает, и рыбу собирают в мешки. Так просто ловят старики.

У нас с Бэркэном шестовая сетка. Мы сидим на лайде, греемся у костра, ожидаем прилива. Вода медленно, растекаясь пенными языками по илистой глади, всплывая куликов, подступает к черным камням Лумукана. А на лайде, справа от нас, зверобой перебирают, готовят невод для дельфинов-белух, которые должны подойти к берегу вместе с косяками кеты.

— Корошо,—говорит Бэркэн, поджаривая на невидимом огне кусок юколы. Кожица вспухает белыми пузырями, лопается, шипит, брызжет рыбий жир, чернеет розовая мякоть. Бэркэн откусывает, мотает головой, проглатывая горячий кусок, краснеет скулами, будто розовый цвет юколы перешел ему в щеки.—На, пробуй. Дэпкэл!

Многие слова он повторяет по-эвенкийски, словно подкрепляет их. Чтобы я запоминал. Хочет научить меня своему языку.

Беру юколу, держу на ветерке — а он холодный, с сырым туманцем, прямо из непроглядности моря, — откусываю, жую. Вкусная еда, ничего не скажешь, сочная, с отличным запахом, только несоленая: юколу эвенки сушат не присаливая — это и собачий корм, а собакам соленое нельзя. Развешивают на вешалах у моря, долго вялят. И, что удивительно, ни одна муха не сядет.

— Со ая! Очень хорошо! — говорю я.

Вода залила ил, коснулась гальки. Теперь прилив пойдет вверх, будет набирать силу, и нам пора готовиться. Бэркэн берет скрученную жгутом сетку, дает мне один край, медленно идет поперек лайды, растягивая дель¹ на чистой гальке. Вытряхивает остатки сухих водорослей, застрявшие корешки, губки. Потом волочит от скалы двадцатиметровый шест (составили мы его сами из стволов тоненьких лиственниц, высушили, скрепили), укладывает его вдоль балбер² сетки, конец вставляет в петлю. Шестовая сетка, или шестовка, как зовут ее в поселке, готова к лову.

С моря приходит туман, понизу жидкими, размокшими хлопьями бьется о черные глыбы Лумукана, моросит. Желтые лиственницы, каменный столб, издали похожий на стоящего человека, то пропадают в небе, то ярко проглядывают. Ширится прилив, белыми гребешками, закипая, шипят волны. Уже видны гладкие блестящие спины выныривающих белух, где-то недалеко шумно выдыхает воздух сивуч. С моря медленно, взрываясь сиреной, подходит катер с кунгасом — заводить дельфиний невод.

По тропе из леса спустились двое мальчишек, волоча шест.

Увидели нас, отодвинулись метров на двести, принялись разбирать сетку.

— Начнем, однако, — командует Бэркэн.

Бегу в конец сетки, поднимаю шест. Бэркэн подходит к воде, поднимает другой конец шеста вместе с накинута на него петлей и, прижимая балберы к шесту, кричит мне:

— Кз!

Понемногу толкая шест, он тянет за собой балберы и проволочные кольца-грузила, сеть медленно вдвигается в воду, и мне уже видно: первые поплавки прыгают, сверкают на волнах. Значит, хорошо. Сеть не запуталась, шест не сбил прибором. Шаг за шагом приближаюсь к воде, а крайняя, красная балбера все дальше уходит от берега.

Бэркэн берет у меня конец шеста, забегает немного в воду, резко дергает шест к себе. Петля спадает, сеть становится на якорь, а шест я вытаскиваю на гальку — бегом, до сухого плавника.

Все. Заброс сделан.

Садимся у воды, Бэркэн держит в руке бечевку. Смотрим на поплавки. Слева от нас меж кольями ставной сети вспухает белый всплеск — попалась крупная рыбина. Можно подумать, что кета обходит нашу шестовку, но мы знаем: косяки не идут вдоль берега — с моря, наискось упираются в лайду. Поплавки играют, пляшут, надоедает следить за ними.

Но вот два крайних занывают, минуту не показываются, потом начинают вспухать, пузыриться вода в конце сетки, и я вижу, как вместе с бечевкой сильно дергается рука Бэркэна.

— Попалась?

— Однако есть.

Бэркэн встает, сматывает бечевку, быстро выбирает из воды сеть, накидывая верхний подбор с балберами на руку. Я помогаю: став ближе к воде, подтягиваю дель, держу ее в напряжении, чтобы не сорвалась рыба.

Последний рывок делаем вместе. Крупная, синеватая кета, перемахнув гриву прибора, шлепается туло и тяжело на гальку, бьется хвостом и головой, брызгая мокрыми песчинками.

Бэркэн вынул из-за пояса деревянную колотушку, сел верхом на рыбину, прицелился и ударил по го-

лове. Зубатый гонец³ замер, пустив из жабер густую кровь. Бэркэн выпутал его из сетки, отбросил к костру, сказал:

— Убил. Их надо убивать. Плохо, когда сами умирают. Нехорошо.

Я знал этот эвенкийский обычай: надо убивать, чтобы зверь, птица, рыба не мучились, чтобы вкуснее было мясо. Убивать мгновенно, красиво. Я видел, как забивают оленей. Не режут им горло, не бьют колуном, не стреляют. Пастух подходит, гладит голову оленю, нащупывает впадинку на затылке, нацеливает в нее кончик ножа, не очень сильно ударяет ладонью по рукоятке. Олень замертво падает.

— Большой, — говорю я, глядя на гонца (он потемнел на воздухе, от спины к животу проступили нежные фиолетовые полосы, будто чернильной кисточкой подкрасили). — Килограммов семь будет.

— Больше бывает.

Бэркэн накидывает на конец шеста петлю, расправляет дель, я толкаю шест, и мы неторопливо, очень удачно вдвигаем сеть в воду навстречу прибору, волне.

Мальчишки, наши соседи, вытащили сразу две кеты, некрутых, но прыгают возле них, кричат. Бэркэн не глянул на них: дураки, разве можно на рыбалке кричать, отпугивать добрых морских духов, а злых приманивать?.. Дальше в тумане покачивается у берега катер с кунгасом. Невод загрузили, верблюдом горбом возвышается он над кунгасом. Одна, другая сирена... Шибче стучит мотор, бегают по берегу возле кунгаса люди. И, натянув буксир, катер начинает медленно отдаляться к морю. С кунгаса сбрасывают сеть, натягивается канат, прикрученный к деревянному вороту на лайде. Дельфиники заводят свой большущий невод. Значит, скоро полный прилив.

— Смотри, — прошептал Бэркэн.

Наша шестовка задержалась, запрыгали поплавки, и над нею поднялись два буруна. Я едва не крикнул: «Тащи!» Но Бэркэн выждал, пока рыба запутается как следует, потом начал быстро выбирать сеть. Две кеты-икрянки мы бросили к костру, снова поставили шестовку. Ее затрясло почти сразу, мы, не сговариваясь, ловко вытащили на берег второго, еще большего весом гонца. А после считать перестали: видимо, подошел крупный косяк, — едва успевали распутывать сеть, вталкивать в воду, как в нее попадалось тут же по две-три рыбины.

— Добрый день, ребята!

Возле костра стояла Лия Матвеевна, наша учительница. Грела руки, улыбалась нам. Маленькая старушка, тепло одетая в оленью дошку, новенькие торбаса, будто снег уже выпал. Но она слабенькая, часто болеет, и ей, конечно, это можно. Ее даже на рыбозавод не послали. Добрая Лия Матвеевна как родная бабушка всем, поэтому мы ее не очень слушаем зимой. Получается так, будто она нас слушается. Зато рассказывает всегда интересно, на любой вопрос может ответить. И муж у нее был красноармейцем, погиб в гражданскую войну.

— Здравствуйте, Лия Матвеевна!

— Ого, сколько вы рыбки наловили!

— Много надо, — говорит Бэркэн. — Ему бочку солить. — Он показывает на меня. — Мы будем юколу делать. — Он приложил ладошку к своему пиджаку. — Себе, собачкам надо.

— Сколько у тебя собачек, Бэркэн?

— Шесть моих. У отца шесть, однако Дед имеет столько же.

— И на всех ты должен запастись?

— У них работа. Никак не могут.

¹ Дель — полотно сети.

² Балберы — поплавки на сети или неводе.

³ Гонец — самец лосося, идущий впереди косяка.

Лия Матвеевна смотрит на меня, на Бэркэна, улыбается, морща беленькое, круглое, как у девчонки, лицо. Наша шестовка на берегу, перепутана, сами мы грязные, забрызганные соленой водой, в рыбьей чешуе (у Бэркэна чешуя в волосах, будто они седые сделались). Лия Матвеевна тихо смеется, говорит:

— Ах, какие мужички! Ну, прямо мужички!

— Рыбу надо? Бери,— буркнул, немного рассердившись, Бэркэн.

— А вас не обижу?

— Чего там! Ловить будем.

— Какую ж мне дадите?

— Бери две. Которые с икрой. Посоли икру. Русские любят.

Лия Матвеевна не обиделась на такое обращение: Бэркэн позабыл за лето, что старших надо называть на «вы», у них в языке нет такого местоимения.

— Собакам отдаем,— не объясняя, строго выговорил Бэркэн.

— Как же я выберу?

Убитая рыба лежала горкой, вывалившаяся в песке, испятнанная кровью. Разве можно было взять ее белыми маленькими руками Лии Матвеевны?

Я отобрал две не очень крупных икринки, бросил в воду, их прополоскал прибой, нашел среди плавника гибкий прут, разломил, продел сквозь жабры, переплел концы прутьев, подал в каждую руку Лии Матвеевны по кетине.

— Вот спасибо! Теперь донесу. Приходите уху есть.— Она идет к ливневнице, потому что ей стало холодно возле моря, но вдруг оглядывается, кричит:— Не застудитесь только!

Мы распутываем, вталкиваем в воду сеть. Надо торопиться. Прилив остановился, скоро вода покажется назад, и кета будет ждать в море нового попутного течения.

Конечно, хорошо бы взять и прийти в гости к Лие Матвеевне. Она живет в интернате, в конце коридора, в маленькой комнатке. Один раз я к ней заходил — она болела, принес от матери банку брусники, — и увидел: вся ее комнатка завалена книгами. Книг было больше, чем в школьной библиотеке. И журналов много. Большущая стопка «Огоньков». На обложке одного — летчик Водопьянов. Еще много книг о художниках, с цветными иллюстрациями. Это понятно: Лия Матвеевна сама отлично рисует. Вот бы и прийти в гости. Смело похлебать ухи, полистать журналы, попросить с собой книгу про войну или о рыцарях. Наверняка у нее есть такие. Но мы не пойдем. Не хватит смелости. И есть не сможем от стеснительности. И заикаться будем. «Какие там мужички!» — подумает Лия Матвеевна. Лучше не надо. Мы смелые, когда все вместе, в классе.

Рыбы прибавлялось, было уже не меньше двадцати штук, однако Бэркэну казалось, что этого мало, мы вталкивали и вытаскивали шестовку, хотя попадалось теперь реже и по одной штуке. Косяк прошел, возле берега бродили отставшие лососи.

Сделалось совсем холодно. Ветер настолько отяжелел от влаги, что теперь густо моросило. Казалось, где-то далеко в море сварили его из тумана, соленой воды, приправили водорослями, запахом погибших рыб, остудили и погнали продувать берега, сопки, тайгу.

Я бегал к костру, совал в огонь руки, распахивал пиджачок, набирая тепла. Но все равно мерз, клал зубы.

— Смотри,— сказал я Бэркэну,— невод уже тащат.

Катер описал большую дугу, с кунгаса подали на лайду конец, и сейчас ловцы, крутя деревянный ворот, подтягивали другой край невода, чтобы примкнуть его к берегу. Катер удалился в туман отстан-

ваться. Значит, вода покатила назад, начался отлив.

Бэркэн молчал, сопел (когда он сердится, всегда сопит, будто у него появляется насморк), заставлял меня «греться»: толкать шест в воду, вытаскивать на гальку. Понятно, собачек надо кормить, однако зачем так много ловить в один прилив — перенести рыбу в поселок, и то будет нелегко. А мы еще в соленой воде намокли — она прямо обжигает на ветру.

— Тэрэлунгэ! — сказал Бэркэн. — Ты тэрэлунгэ! — Он ткнул в меня пальцем и засмеялся так, будто нашел мне самое подходящее имя.

— Что это?

— Потом скажу. Давай, собираем сетку.

Вытряхнули водоросли, повесили сетку на корягу: забросали рыбу песком, чтобы не сохла; расшуровали костер, нацепили на палки куски ююлы, поставили к огню; сняли пиджаки, брюки, повесили сушиться.

Вода уходила от берега, кое-где обнажился ил, на перекатах била хвостами кета. А в дельфиньем неводе творилось что-то страшное: белухи почувствовали себя отгороженными от большой воды, метались от одной стены невода к другой, вспучивали мутную воду, пускали длинные фонтаны, тяжело выдыхая воздух. Их спины, как обкатанные валуны, горбились над поверхностью. Издали все это напоминало загон, в котором невиданный зверь гоняет стадо коров.

— Смотреть будем, а?

— Давай.— Бэркэн подержал свои штаны над огнем, чтобы набрать тепла.

— Что такое «тэрэлунгэ»?

— Не скажу!

Бэркэн захохотал, отпрыгнул, будто я хотел его ударить, побежал вдоль лайды к дельфиньему неводу.

У первого ворота, где отдыхали зверобои, был дедушка Розов. Он сидел на белой коряге плавника, что-то рассказывал. Мы тихонько подошли, примостились сзади.

— Вот так, добытчики. Убивать надо, да с толком.

— В каждом деле голова требуется,— кивнул бригадир неводников, очень невидный по внешности мужичок, с тоненьким голосом, по фамилии Абрикосов.

Все другие закивали, заусмехались, поддерживая его, даже эвенки согласились, хотя они на морского зверя всегда охотились.

— Иной раз жалко, пищат, будто тебе жалуются.

— Глаза у них умные.

— Детенышей жалче всего.

— Должен вам сказать,— поднял руку дедушка Розов,— должен сказать, что белухи не совсем те дельфины, о которых легенды существуют, хотя одного семейства. Их около семидесяти видов так называемых зубатых китов. Я рассказывал об афалинах — они меньше, проворнее. Но белуха — тоже дельфин. О ней, правда, нет легенд, однако кто их искал, легенды, кто изучал белух? Шкура и жир были нужны.

Зверобои называли Розова «наш инспектор». В шутку так называли, потому что старик присутствовал при каждом забросе невода — в любое время прилива, в самую недобрую погоду. Следил, чтобы выпускали молодняк, маток с детенышами, которые кормятся молоком. Над «инспектором», конечно, подсмеивались, но слушались его, не хотели связываться с «профессором» (его и так еще называли). Говорят, был случай года три назад: Розов приказал отпустить молодого дельфина, а бригадир запротестовал, улов нужен был для плана; тогда старик сел верхом на белуху и не дал застрелить ее, караулил

до следующего прилива, да еще воду носил, чтобы у дельфина кожа не пересохла. С тех пор и перестали с ним ссориться зверобои.

— Пора,— сказал дедушка Розов, поднялся, подтянул до пояса резиновые сапоги, натянул на лоб капюшон дождевика; увидел меня с Бэркэном, обрадовался:— И вы здесь, ребятки? Пришли помогать?

— Помогать,— сказал я.

— Только осторожно, знаете?

— Понятно.

От ветра лицо у него сделалось пунцовым, пунцовыми были шея и руки. Размахивая палкой, как холодным оружием, он пошел к морю. За ним двинулась бригада Абрикосова, зарядив и вскинув на плечи берданки. Мы засучили повыше колен гачи, поплелись, пока отставая.

Топкий, илистый плес почти обнажился, воды было фута на два, и белухи сбивались в ямы, ворочались, дымили фонтанами. От взбаламученного ила вода сделалась серой, густой, даже фонтаны, вспухавшие над крутыми лбами белух, были грязные. Мощно хлестали хвосты, воду резали острые плавники.

Подожли к улову. Белух было штук тридцать, больше крупных, белокожих. Среди них промелькнули синеватые спины молодых дельфинов, и один белушонок — синий, будто обмазанный чернилами. Белухи понемногу затихали, истратив все силы, лишь слышались тяжкие вздохи, тонкий, почти комариный писк, да белушонок все старался влезть на спину матери и с плеском падал в илистую жижу.

Зверобои раздвинулись полукругом, бригадир поднял берданку, скомандовал:

— Начинай!

— Осторожнее, прошу,— сказал ему Розов.

— Знаем! — ответил Абрикосов, но не очень вежливо, даже сердито, а нам мотнул головой, чтобы отодвинуться назад.

Выстрел как треск молнии. Второй, третий... Зверобои подходили вплотную к белухам, поглядывая на взмахивающие хвосты, прикладывали к голове ствол, стреляли. Зверь делал последний рывок, сваливался на бок, затихал. Выстрелы превращали белух в неподвижные белые глыбы, похожие на валуны.

Редко кто промахивался. Но если такое случалось, раненый зверь бился яростно, фонтанировал кровью, зарывался в ил. К нему нельзя было подойти, пока он не обессилеет или не впадет на минуту в забытие.

Дедушка Розов не любил таких стрелков, ругал их, сам хватался за берданку. Сегодня бригада поработала хорошо, это понравилось Абрикосову.

— Молодцы! — крикнул тоненько он.

Живыми остались два молодых синих дельфина, белая крупная матка и чернильный белушонок. Мы подошли к ним вплотную. Звери не шевелились. Лишь белушонок возился в илистой жиже возле бока матери, едва слышно попискивал, как умирающий комарик. Дедушка Розов, потрогав кожу синего дельфина, затормозил:

— Давайте, давайте. Отсыхают звери.

Бригадники накинута петлю на хвост матки, затянули, взялись всемером за канат, поволокли тяжелую белуху к стенке невода. Дедушка Розов и трое других мужиков потащили синего. А мы с Бэркэном взяли за лапы, как под ручки, белушонка, наклонились и бегом припустили догонять воду. Белушонок был тяжелый, килограммов на пятьдесят, но скользил по жидкому илу хорошо — пузо у него было гладкое, и весь он был упругий, толстокожий, будто туго накачанный воздухом. И сердился. Пробовал вырваться, шлепнуть нас хвостом и, если удавалось ему заглотнуть илистой жижи, обдавал нас фонтанами грязью.

Подтащили белушонка вовремя: бригадир как раз снимал петлю с хвоста белухи. Толкнули его к голове матери, он стал ласкаться, тереться о ее нос своей острой мордочкой. Мать лежала, цедя зубатым ртом чистую воду, потом вяло повела хвостом, пошла, скользая животом по илу, ведя сбоку малыша, и занырнула в глубь зеленой воды. Через минуту она вынырнула вдалеке — белушонок темным бугорком лепился на ее белой спине. Дедушка Розов помахал им платком.

Зверобои столпились в сторонке, закурили.

— Чертов старик! — сказал один, самый испачканный. — Столько работы задает.

— Вот скотинка, — толкнул сапогом дельфинью голову другой, — выпрыгивала бы сама. Нет, сетки боится.

— Справил свое дело и пошел...

У бригадников было еще много работы. Убитых белух надо связать по четыре-пять штук, заякорить, поставить буйки, чтобы по следующему приливу катер мог найти добычу и отбуксировать на жиротопный завод. До ночи они будут месить ил.

Мы побежали догонять дедушку Розова. Он едва тащил свои сапоги, горбился, припадая к палке. На лайде Бэркэн сказал ему:

— Тебе рыба надо?

— Возьму штучку.

— Идем тогда.

Дали дедушке Розову большую икрянку, он поворошил легонькой ладошкой наши головы, сказал: «Спасибочко, ребятки», — поковылял в поселок. Я взял свои сапоги, четыре рыбины — на первый засол, четыре штуки положил в мешок Бэркэн. Остальную рыбу перенесут домой на юколу сородичи Гутчинсона, живущие вместе с ним.

5

Всю ночь на горе Лумукан горели большие костры, а утром весь поселок узнал: пришел «снабженец». Так называли грузовой пароход «Иня», который каждую осень обходил побережье Охотского моря, снабжал поселки продуктами и товарами. Ребята, палившие сигнальные костры, слышали хриплый, долгий гудок, когда «снабженец» вошел в Тугурскую губу.

В этот день мы явились в школу без книжек и сумок — лишь бы показаться, потому что знали: занятий не будет. Даже в класс не пошли, ожидая, пока директор проведет совещание с учителями. Потом сразу собрали в красном уголке старшеклассников — создавать рабочие бригады, а нас распустили по домам с наказом: «Сидите дома, нянчите младших братишек и сестреночек, — родители пойдут выгружать пароход».

Конечно, помогать надо. Не выгрузишь свои продукты — год на голодном пайке сидеть будешь, пароход лишние сутки ждать не станет, даст гудок — и к другим поселкам поплывет: ему до больших льдов все побережье снабдить надо.

У меня дома полный порядочек. Младшая сестренка не такая уж маленькая, да и старая бабка Шесталова по соседству живет (ее-то на выгрузку не позовут), а Бэркэну совсем хорошо: никогда своих младших не нянчат — сами растут. Вот только забегу домой, сапоги надену, проверку наведу...

Бежим вместе с Бэркэном.

Мать уже ушла — ей придется готовить еду на всех грузчиков; отец тоже на пристани, возле скла-

дов: он будет вести учет мешкам и ящикам. Старшую сестру подавно не заставишь сидеть дома: комсомолка; они всегда должны быть впереди, пример показывать, хоть и девчонки. Неужели мешки таскать будут?

— Надь, ты посидишь дома, а? — говорю я очень ласково.

Она молчит, нарочно сильно начинает сопеть, будто собирается заплакать.

— Я быстренько, Надь?

— И-ишпанку дай.

Вот они такие, младшие, которых любить надо! В самый трудный момент — удар под дых. Я на самом деле чуть не задохнулся от злости, чуть не ударил Надьку. Мне хочется крикнуть: «Ничего не получишь, а если пикнешь!..»

— Дай, — говорит Бэркэн, — маленьким не надо жалеть. Мое братишка носит.

Достаю, держу в руках, аж пот на лбу выступает, но все-таки отдаю.

— Надь, ты осторожно, ладно?

Хватает, смеется, сразу позабыв обо мне, тоненько поет: «Моя Зойка публиканец...» Примеряет куклу «испанку».

— Мы пошли.

Не слышит, не понимает. Прячу спички, ставлю на стол еду. Киваю Бэркэну, на цыпочках выходим.

Лиственницы желтые, тропинки желтые, воздух желтый: сыплется сверху сухим дождем лиственничная хвоя. Багульник побурел, пожелтела марь. Даже стланник издала рыжий — созрели на нем кедровые шишки.

А ягод — ступить негде. Голубика, клюква, брусника. Рябина поспела. Морошка — северная земляника — кое-где еще попадает. Моховиков, масляток много, и здесь они не бывают червивые. В тайге можно до зимы прожить без домашней еды.

Горстями хватаем ягоду, суем в карманы шишки, которые порыжей, перебегаем марь, не сбавляя скорости, взбираемся по пологому склону на Лумукан.

Тут уже много мальчишек и девчонок, жгут костерки, пекут кедровые орехи. Нас не очень замечают, мы кидаем свои шишки в горящую золу — и сразу к обрыву, за лиственницы.

Да, пароход стоит в заливе, ржаво-белый, с яркой трубой, мачтами, лебедками. Огромный, хоть и далеко до него — не меньше десяти километров. Выпрашиваю чей-то бинокль — старенький, с одной уцелевшей линзой, — прижмуриваюсь, прикладываю к глазу. Пароход мгновенно придвигается ко мне, как в кино, даже отступаю немного. И вижу надпись «Иня» над клюзом. У борта покачиваются черные кунгасы, наш «Тугур», еще один пароходный катер. Из полосатой трубы кучерявится пар. Стрелы движутся, поднимают из трюмов сетки с мешками и ящиками. На корме мерцает флаг. И людей видно, если присмотреться, бегают, копошатся, почему-то все растопыренные, как пауки. Отдаю бинокль Бэркэну — он уже толкает меня в бок, горячится, бормочет что-то по-эвенкийски.

— Нагрузили? — спрашивает Никита Ямольский.

— Нет еще.

— А ты бы помог.

— Сам помоги.

— Ого! А ты чего такой смелый?

— Ничего.

Никита грызет шишку, руки у него облипли смолой, сажей, зубы коричневые от смолы и ореховой шелухи, усмехается, намекая, что запросто могу заработать «на орехи». И почему он так не любит меня? За стишок? Но ведь я правду написал. Никита переросток, плохо учится, дерется. Брагу пьет и о

девчонках всегда гадости говорит. Его работать надо послать, а не защищать от стишков, как делают родители.

Никита боком, потихоньку, плюясь шелухой, пододвигается ко мне, будто хочет толкнуть со скалы; я знаю — это он делает для виду, пугает, однако на всякий случай пячусь в сторону, к костру.

Бэркэн смотрит в бинокль. Я, конечно, крикну его, если что... Но вот подбегает и становится между нами Алка Замахнина. Хмурится, улыбается, откидывает взмахом головы белобрысую челку со лба, делает руки буквой «ф» — и все это разом, невозможно уследить, притом еще говорит:

— Ну чего, чего ты?.. Такой бугай. — Она поворачивается к Никите, выпячивает острую грудь; Никита отступает, жалобно смотрит на Алку. Она подмигивает мне. — Он трус, бей чем попало — убежит.

Никита хохочет, выгребает угли вместе с шишками, дает всем понять: «Не могу спорить с девчонкой, женский пол, уступаю, но в другой раз...» А я знаю, что он ухаживает за Алкой Замахниной, видел их на Горке вдвоем. И пусть, мне какое дело. Но почему она всегда на людях издевается над Никитой, будто презирает его, и меня сейчас защитила? Приказала бы тогда ему, если может, раз и навсегда: «Не приставай!»

Я смотрю на Алку, почти ненавижу ее. И не могу не смотреть: волосы у нее белые, длинные, глаза черные, щеки смуглые от загара, зубы чистые, как кварцевые камешки. Она старше меня года на три и, хоть не совсем взрослая, знает, что на нее смотрят мальчишки, всегда показывает себя. И еще я чувствую — Алка отличает меня от всех других, будто я меченый, даже заигрывает со мной иногда. За чем ей это?

— Погруз кончили! Идут! — крикнул Бэркэн.

От борта парохода отвалил катер с двумя кунгасами на буксире, направился к устью реки. Дымил выхлопной трубой, шел ходко: начинался прилив, морская вода подпирала речную, вспять поворачивала течение.

— Я на пристань, — сказал Клок.

— И я тоже!

— Надо место занять!

— Ребя, пошли.

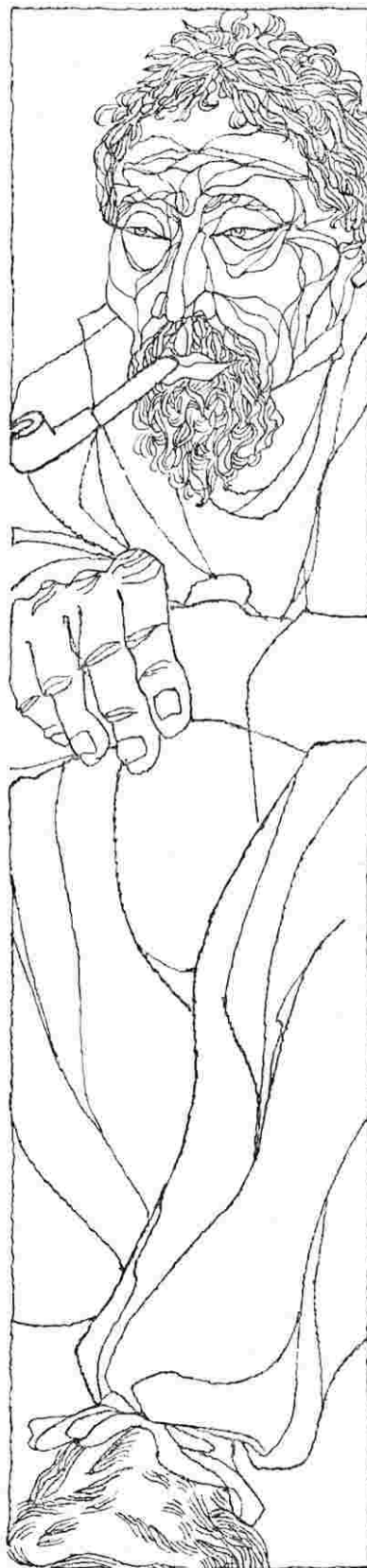
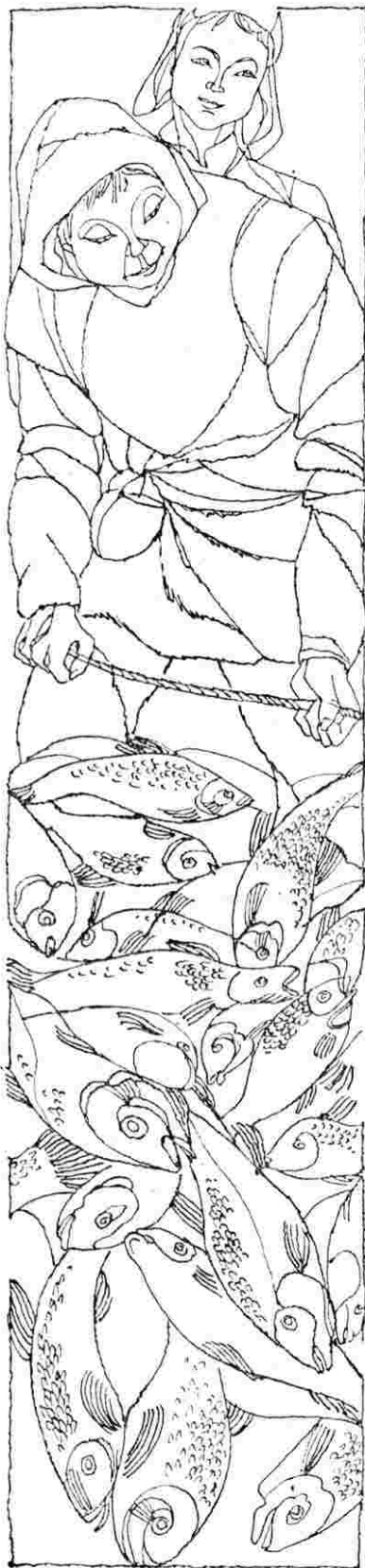
Девчонки окружили Алку Замахнину, взяли ее под руки, побежали по склону вниз, как выводок за пестрой рябчихой. Следом, догоняя девчонок, повел свой отряд Никита Ямольский. Побежали и мы с Бэркэном (самое интересное теперь будет на пристани), но сначала выгребли из костра свои шишки, набили ими карманы.

Марь переходили долго — ели голубику. Кусты были сизые от ягод, невозможно пробежать, чтобы не процедить сквозь пальцы самые рясные ветки. И сладкая была голубика: ее уже прихватили первые морозцы, она начала опадать. Бруснику лучше пока не трогать — к холодам дозреет, а клюкву весной будем собирать — «первый наш фрукт», как говорят женщины в поселке.

К пристани на косе прибежали вовремя, как раз «Тугур» втягивал в устье Кутима кунгасы, нагруженные доверху ящиками и мешками.

— У тебя пожар! — сказал Бэркэн и начал бить ладошкой по карману моего пиджака.

Запахло паленой тканью. Я поднял полу пиджака — карман прогорел, из него вываливались кедровые шишки. Ребята, стоявшие поблизости, засмеялись, заплесали вокруг меня, будто я костер (так всегда — радуемся почему-то чужой беде). Сжав рукой дыру, чтобы не видели другие, я тоже засме-



ялся — скорее отстанут, если вместе смеешься, — по-настоящему же мне хотелось убежать и заплакать: пиджак новый, в коричневую клетку, купили мне его к школе.

— Латка не надо, — сказал Бэркэн. — Совсем карман уберем — никто не узнает.

— Давай, — согласился я, радуясь смекалке друга. Прямо настоящий взрослый мужичок, каюр, рыбаки. Все знает, все умеет.

Бэркэн вынул нож, отвел меня за угол склада, быстро спорол нашивной карман, горелую тряпку швырнул в стланик.

— Другой оставим?

— Не надо. Заметно будет.

Бэркэн спорол, сложил тряпицу квадратиком, подал мне.

— Возьми мануфактуру, на латка пригодится.

Я сунул руки в карманы брюк, и мы вышли к пристани.

Сразу откуда-то взялся Никита, толкнул меня плечом.

— Покажь дырку.

— Какую?

Он осмотрел полы моего пиджака, покраснел от расстройств.

— Клоп! Ах, ты врунишка! Я тебе сейчас!

Рыжий приплюснул к голове мятую «испанку», юркнул в толпу.

Никита ринулся за ним, расталкивая мальчишек локтями. Однако вскоре отстал, увидев желтые оскаленные зубы Клока.

А к пристани подчалили оба кунгаса, на них бросили широкие сходни. Сбоку подошел и стал «Тугур», с борта спрыгнули Колька Нечаев и Володька Зеленец. Появился капитан. На пристань прошли, раздвигая грузчиков, заведующий культбазой, директор школы, директор рыбозавода, председатель Гутчинсон, Боровиков с фотоаппаратом (моего отца не было; значит, он на пароходе, принимает продукты).

Началось собрание.

Курили, спорили, вызывали бригадиров, назначали места бригадам. Наконец заведующий культбазой командовал:

— Довольно! Приступаем!

Двери пустых складов распахнули настежь, и первыми, взяв на спины по мешку с мукой, пробежали в их темную утробу Колька Нечаев, Володька Зеленец, Гутчинсон. Когда они появились на досках пристани, все захлопали в ладоши, мальчишки закричали «Ура!». Первые грузчики шли, покачивая плечами, поправляя капюшоны-мешки, надетые на головы. Боровиков задержал их взмахом руки, установил на треноге фотокамеру, попросил замереть.

Потом сфотографировал все начальство на фоне катера и кунгасов.

Громко прозвучал залп из трех берданок, и все закричали:

— Ур-ра-а!

В толпе грузчиков ходили по рукам большие бутылки с мутной брагой, передавались стаканы. Затащили туда Нечаева, Зеленеца. Угостили, прикрыв их спинами. А потом две бригады подступили к кунгасам, потолкались немного, принаравливаясь к сходням, грузу, и началась работа.

Грузчику бросали на спину мешок или ящик; придерживая его сзади руками, он бежал по дощатому тротуару в склад, скидывал; обратно шел неторопливо, отдыхая; брал новый груз и опять бежал. Казалось, мешки сами вспрыгивали, катились по спинам людей, ныряли в черноту складов.

Пришел Гиравуль, покопался в ворохе чистых пустых кулей, сделал себе капюшон, стал в цель следом за Колькой и Володькой, принял на плечи мешок. Пригнулся чуть не до трапа головой, «подрожал» коленями и легко побежал.

— Герой! — крикнул Колька, идя без груза навстречу. — Надо бы два тебе!

— Оpozдал. Юколу делал.

— Он на оleshках привык, — хлопнул по мешку ладонью Володька. — Смотри, как виляет.

— Зато бежит не хуже оleshка.

Гиравуль сбросил мешок, догнал друзей, показал руками, что чуть не свалился от тяжести, заматал головой. Мы засмеялись. Гиравуль тоже засмеялся. Зеленец подтолкнул его к мешкам.

— Давай, давай, потребитель!

На этот раз Гиравуль легко пробежал по доскам, а, идя обратно, улыбался, щуря черные запятые глаза.

Незаметно мы придвинулись к самой пристани, кое-кто из мальчишек подобрался к кунгасам, двое сидели на кнехтах, один покачивался на корме катера. Прибежал старший воспитатель Боровиков, замахал планшеткой.

— Назад! Как фамилия? Запишу!

Я и Бэркэн быстренько отбежали к складам — нам нельзя попадаться на глаза Ван-Сиду. Он рассказал Лие Матвеевне, директору школы, что мы плясали на празднике рыбы, и еще неизвестно, что нам за это будет: вызовут родителей или на общем собрании перед всеми учениками напоказ выставят.

К нам приблизился Никита, но не сердитый, даже с улыбочкой небольшой, и руки за спину заложил.

— Слышь, — сказал мне, — твоя матушка поварит. Достаешь пожрать, а? Живот болит от тунгусской жратвы — рыбки, ягоды. Кашки ба, а? — Он похлопал себя по животу, втянув его, как тощий пес.

— Не пойду.

— Почему, а? Сердишься на меня?

— Надку одну оставил.

— А-а. Уважительная причина. — Никита, не очень веря, изучал меня мокрыми оловянными глазами, медленно поворачиваясь, как пароход на якоре, к Бэркэну.

— А ты, «америкашка»?

— Сам иди.

— Я большой. А ты как малая народность.

— Ты дурак! Еще потом фашист!

— Чего, рыбий потрох?

Никита, пригнувшись для драки, пошел на Бэркэна, пугая его кривой усмешкой. Бэркэн не отступил, отодвинул меня рукой, когда я стал рядом с ним. Он следил за Никитой, примеривался к каждому его движению. Потом вдруг пригнулся, выхватил из чехла охотничий нож и, выкрикнув «Кэ!», прыгнул к Никите.

— О-о! — промычал жалобно и удивленно Никита, повернулся, ссутулил спину. Но не побежал. Пошел, вложив руки в карманы. Некрасиво пошел. Однако не струсил окончательно. И это, почувствовали мы, не обещает нам теперь ничего приятного впереди.

— Убью. — Бэркэн сплюнул, вложил в кожаный чехол нож. У него дрожали губы, слезились глаза, голос охрип.

— Ты что? Человек ведь.

— Правда, — согласился Бэркэн, сильно вздыхая. — Амака! такой злой не бывает.

— Мы его так, руками.

— Нож надо дома оставить, правда?

¹ Амака — медведь.

Бэркэн погладил деревянную, залоснившуюся до черноты рукоятку ножа. Трудно ему даже подумать о том, что он расстанется со своим маленьким оружием, к которому привык с того дня, как поднялся на ноги и сделал первый шаг по земле. Но все равно придется. Директор школы проводил собрание, вызывал родителей, грозился под суд отдавать тех, чьи дети будут носить ножи. А эвенки не понимают: «Человек должен всегда иметь оружие», — и многие дети, пряча, носят в чехлах маленькие ножи.

— Надо, — сказал я, вспомнив, что отец говорил матери, будто готовится большое, поселковое собрание и что потом у всех мальчишек отнимут ножи. — На охоту, на рыбалку брать будем.

Вернулись к пристани, там уже работала другая смена, кунгасы быстро пустели, в устье Кутима катер медленно втягивал ржавую баржу.

Первая смена шла к навесу на косе, где были сколочены из свежих досок столы, а чуть в стороне пылали костры под тремя котлами. Там суетились, хотали женщины и девочки в белых халатах, гремели миски, кастрюли, кружки. Издали я видел мать с черпаком у котла, Алку Замахнину среди девочек, свою сестру.

Гутчинсон шагал первым, опустив низко руки в брезентовых рукавицах, выставив горб, обтянутый тесным старым пиджаком. Он не был похож на своих сородичей — у них и бороды жиденькие, и ростом они небольшие, и, главное, никогда не бывают у них серые глаза; нос у Гутчинсона, как у всех русских, «все равно чангай», и только он один из пожилых эвенков носит русскую одежду, любит тяжелую работу, легко, красиво таскает мешки (он да еще Гиравуль); другие эвенки подсмеиваются: «Груз таскать — олешки есть, собаки», — но не каждый из них на самом деле удержит на спине мешок. Однако все они любят Гутчинсона, слушаются, считают главой тэгэ — рода.

Мне не очень понятно, почему так обижается Бэркэн, когда его называют «америкашкой». Такой у него, можно сказать, замечательный дед. На другого не заменишь, да и зачем? Правда, в Америке еще хозяйничают буржуи, угнетатели рабочего класса, но, может быть, тот, отец Гутчинсона, был смелым зверобоем, отважным моряком? И не вернулся потому, что погиб вместе со своей шхуной? Кто знает?..

Дедушка Розов копается понемножку, стариков спрашивает, книги какие-то выписывает — может, расскажет когда-нибудь, как все было. А я вот на Лумукан спокойно смотреть теперь не могу: кажется, тот черный каменный столб вдруг оживает или гора, как живая, шевельнется, когда по ней идешь.

— Кушать надо. — Бэркэн округлил ноздри, направив их в сторону котлов.

Есть хочется — это точно. Добыть бы юколы, кусок хлеба, хотя бы по сухарю. Я не могу пойти к матери: даст супа и каши и сразу прогонит домой; сестрицу попросить — то же самое, раскритичит, матери нажалуетса.

Бригада сидела под навесом, гомоня, переговариваясь, обедала. Кое-кто из мальчишек добыл каши, едят в сторонке на траве; Никита лопает суп с хлебом.

— Бэркэн, иди к Нечаеву, а? Сзади подойди, шепни — пусть добавки возьмет на нас двоих. Скажи — я не могу. Он добудет.

Из-за кустов мне было видно, как Бэркэн медленно, пригнувшись, подбирался к навесу, как тронул рукой Колькину спину, шептал ему на ухо. Нечаев мотал головой, делал испуганные глаза: «Никак не могу обманывать, нехорошо!» — но это он так, по-

пугать Бэркэна. Потом поднялся, взял миску, буд-то робея, пошел к котлам; у поварих выпрашивал, конечно, смело, с шуточками. Вернулся, сунул Бэркэну миску каши, положил сверху кусок хлеба, дал две ложки. Когда Бэркэн, опять пригнувшись, побежал к кустам, Колька свистнул, прикрикнул:

— Держи его!

Все обернулись, засмеялись. Догонять никто не кинулся, да и поздно было: мы с Бэркэном вдвоем удирали подальше в кусты.

Каша была гречневая, со сливочным маслом, хлеб мягкий, теплый — только что из пекарни. Еда самая настоящая, даже Бэркэн по полной ложке проглатывал, хотя еще в прошлом году, кроме рыбы, оленье или медвежье мясо, ничего не ел.

У пристани стучал мотором катер, потом, подчалив баржу, ушел с отливом к пароходу, и снова началась выгрузка мешков, больших и маленьких ящиков — фанерных, решетчатых — с картошкой, китайским луком; по сходням, взявшись вчетвером, выкатывали бочки с капустой, огурцами, повидлом.

Никита за сараем ел луковицу, отрезая по кусочку друзьям, кричал, как от работы, вытирал рукавом слезы.

В складах зажгли фонари, «Тугур» включил прожектор — пристань захлестнуло голубым светом. Замелькали черные тени, резко отделилась вечерняя темнота, в которой и мы как бы отделились от пристани. И тут произошло то, из-за чего вся поселковая ребятня встречает пароход, дежурит на выгрузке: упал и разбился на крайних досках ящик с пряниками. Белые мятные пряники, сразу перебив другие запахи, посыпались на землю, в подставленные ладони мальчишек, оказавшихся рядом. Кто-то из грузчиков поддел ящик сапогом — некому собирать, некогда, — он свалился в нашу толпу, и возникла куча мала: лезли друг на друга, гребли, хватали пряники, вырывали из рук, визжали девочки.

— Налетай — подешевело! — кричали сверху.

— Расхватали — не берут!

Расхватили до последнего пряника, набили карманы, грызли, хвастались — у кого больше. Клок хныкал, но тоже грыз (на всякий случай, чтобы не приставали). Никита держал полную кепку да еще карманы набил. Нам с Бэркэном тоже кое-что перепало, штук по десять схватили. Жуюм. Вкусно!

Прибежала, запыхавшись, Алка Замахнина.

— Мальчики! А нам? Кашу так ели. Давайте, давайте. У кого много?

Мы отделили по два пряника, Алка хотела поцеловать меня: «Дай чмокну!» — я увернулся. Никита отвалил штук десять, подставил щеку. Алка ткнула в нее кулачком: «А ты умывался?» Собрала еще штук десять пряников, обещая завтра накормить обедом, спросила:

— Кто ящик разбил?

— Зеленец.

— Так и знала. Еще конфеты будут, мальчики. Все не съдайте, прибегу!

К полуночи споткнулся и уронил ящик Колька Нечаев. Да так ловко, что вместе с отвалившейся фанерной стенкой высыпалась гора разноцветных круглых конфет. Вот было весело! Алка привела девчат, поварих. Я вовремя набил карманы и спрятался за сарай. Женщины оттащили Никиту, держали его в сторонке, он барахтался, ругался, а девочки гребли конфеты в кастрюли, отпихивали мальчишек. Потом с хохотом пустились к кухонному навесу.

— Гутчинсон еще разобьет, — сказал Бэркэн.

Да, он обязательно разобьет ящик с чем-нибудь хорошим, неизвестно только, когда — через час или к утру. Я бы подождал, потому что все будут ждать,

но мне надо бежать домой. Хотя бы посмотреть, как там Надька. Может, она померла, устроила пожар, заблудилась в лесу?.. Мать и старшая сестрица надеются, что я дома с Надькой, и сами не подумают пойти. Умеют сваливать на младших, да еще после воспитывают!

Всю дорогу бежал, воображая Надьку погибшей. Открыл дверь, зажег лампу. Надька спокойненько спала на родительской кровати, а моя новенькая «испанка» была туго натянута на голову кукле Зойке: младшая сестренка наполовину обрезала ее, подштопала.

6

На урок зоологии к нам в класс пришел дедушка Розов. Он сел за учительский стол рядом с Лией Матвеевной, разложил плоские застекленные рамки с гербариями, сильно потер озябшие руки, нацепил на пунцовый нос очки. И только потом, с минуту помолчав, негромко, по-домашнему заговорил:

— Ребятки! Все, что окружает нас, есть природа — среда, в которой мы живем. Это вы уже знаете. С древних времен человек старается познавать природу, чтобы приспособиться к ней, легче добывать себе пищу. Прежде всего он хотел знать ту местность, где жил сам: растения, животных, реки, озера. Какие плоды полезны, какие ядовиты; какие звери мирные, какие злые; какую рыбу и когда ловить. Ребятки! Знания никогда никому не мешали. Всю жизнь я изучаю природу, пять лет живу в нашем поселке — и все собираю, накапливаю камни, растения, делаю чучела из рыб, диких животных. И не утомился, и мне интересно. Но всего изучить я не успею. Потому я хочу, чтобы вы помогли мне сейчас, а когда я умру, продолжили мое дело. Пусть кто-нибудь из вас станет зоологом, ботаником — человеком, познающим для людей природу. Вдруг ему повезет, он откроет новое растение, приручит хищника, достанет драгоценный камень со дна морского. Это ведь очень интересно, ребятки. Правда?

— Правда! — не сразу ответили мы, потому что не ожидали вопроса, но ответили всем классом, охотно: все слушали, смотрели на дедушку Розова, и была такая тишина, что слышно было, как сопит у Клока простуженный нос.

— Мне помогают взрослые, охотники, пастухи. И вы уже помогаете, ребятки. Вот недавно двое ваших, они должны быть здесь. — Розов, придерживая очки, побегал глазами от парты к парте. — Вот они, эти двое. — Он показал на меня и Бэркэна. — Как вас зовут, ребятки?

— Встать надо, — сказала Лия Матвеевна.

Мы поднялись, назвали себя. Дедушка Розов подошел к нам, потрогал маленькой жесткой рукой меня и Бэркэна, усадил.

— Вот они принесли миногу. Настоящую. А я два года охотился за миногами. Теперь минога в стеклянной банке, приходите смотреть. Если наловите побольше миног, научу вас жарить их — вкуснейшая рыбешка. А им, этим ребятам, у меня подарки есть. — Розов взял две коробки, принес нам. — Вот тут акварельные краски, кисточки.

Весь класс вскочил, столпился у нашей парты. Каждому хотелось глянуть, потрогать руками. Краски были в металлических коробках, в фарфоровых чашечках, — таких ни у кого в поселке не имелось.

— По местам, ребята! — сказала, тоже подходя, Лия Матвеевна. — В перемену посмотрите.

И тут Людка Коптяева, выждав, когда все рассядутся и утихнут, четко, словно отвечая урок, проговорила:

— А они на празднике рыбы плясали вместе с шаманом.

Людка была отличница, любимая ученица Лии Матвеевны, каждый год, начиная с первого класса, получала премии. Еще она была дочкой заведующего культбазой, а мать ее работала главврачом в больнице. Даже самые драчливые мальчишки не трогали ее. Девчонки дружили с ней, слушались ее, потому что у Людки были самые красивые платья и кофточки. И училась она лучше всех — это точно, отвечала без подсказок, наводящих вопросов, почти как сама Лия Матвеевна.

Мы с Бэркэном тоже никогда не задевали Людку Коптяеву — отличниц нельзя. От кого же она узнала про нас, зачем вот так взяла и ляпнула на весь класс, да еще при дедушке Розове?

— Да, ребята, — медленно, отворачиваясь к окну, поднялась Лия Матвеевна. — Они плясали. Людка правильно сказала. — Она поднесла ладонь к переносице, потерла ее, как при головной боли. — Но сейчас мы не будем разбирать, не время. Продолжим...

— Минуточку, прошу вас. — Розов нежно коснулся плеча Лии Матвеевны. — Ну и что такого? Что такого страшного ты видишь в этом, девочка?

Людка хмурилась, краснела, мяла в руках бумажку. Она ничего не ответила дедушке Розову, не посмотрела на него. Зато так глянула на учительницу, будто крикнула: «Пусть не пристаёт с глупыми вопросами!»

Розов ничего этого не заметил, рассуждал перед классом:

— Ребятки дурачились, правда? Ну попрыгали там, попрыгали, что за беда? Они ведь никого здесь не собирают, не учат кричать «Эй-рэ!», ни в каких духов не верят. Им интересно было, они хотели узнать, как исполняется ритуальный танец. Правда, ребятки?

Я кивнул, а Бэркэн не поднял головы — он как устался в парту после Людкиной речи, так и не отрывал от нее глаз, будто они прилепились к чернильным кляксам. В любую минуту он мог вскочить и выбежать из класса. Потом ищи его по эвенкийским палаткам — у них там все родственники, — и в школу завтра не пойдет. Я тихонько взял руку Бэркэна под парту, сжал ее изо всей силы: «Не отпущу, не дам бежать!» Сказал дедушке Розову:

— Это мы баловались.

— Ну вот, я так и думаю. А тебе, девочка...

Лия Матвеевна вскочила, все еще хмурясь, держа ладонь у переносицы, что-то быстро, вполголоса проговорила в ухо дедушке Розову. Затем постучала карандашом по столу, хотя никакого шума не было.

— Продолжим урок.

— Продолжим, продолжим, — подтвердил Розов. — Мы отвлеклись немножко. Сегодня, ребятки, я вам покажу гербарии наших трав, насекомых. Водорослей тоже. Вот смотрите.

Расхаживая между партами, он показывал засушенные листики, травинки, головки разных цветов. На некоторых сидели бабочки, мотыльки, почти как живые.

Оказывается, стебельки мха очень длинные, а ягель — олений лишайник — можно жевать заблудившимся в тайге. Черемша ничуть не хуже лука или чеснока. Корень саранки можно употреблять в сыром виде.

— Вы знаете, что самые красивые бабочки выводятся из неприятных гусениц, у кузнечика уши на передних ногах?

— Знаю! — громко сказала Людка Коптяева, у нее все еще не остыли щеки, она смотрела поверх головы старика.

— Хорошо, девочка, — совсем не удивился Розов. — Теперь покажу вам, ребятки, водоросли.

И опять дедушка Розов ходил между партами, показывал, объяснял, спрашивал, а я смотрел в окно, где было ярко от снега, снежная пыль сыпалась с веток лиственниц и далеко, за Кутимом, густо синела холодная, еще не замерзшая вода в озерах. И помнил о том, что надо идти ловить навагу. Мы уже договорились с Бэркэном — сразу после уроков пойдем. Пообедаем — и на Кутим. Все запасаются навагой — свежей рыбой на всю зиму. Себе, собакам; приманка для лисиц, соболей... Я так задумался, собираясь на рыбалку, что вздрогнул, когда возле нашей парты остановился Розов, поставил перед нами застекленный гербарий, сказал:

— Ламинария. Морская капуста. Пригодна в пищу. В Японии собирают большое количество ламинарии, готовят салаты.

— Ты кушал? — спросил вдруг Бэркэн.

— Каждый день кушаю. Вкусно. Приходи, дам попробовать.

— Бэркэн! — сказала Лия Матвеевна. — Старших следует называть на «вы». Сколько раз мне напоминать?

— Понимаю.

— Выполнять надо, значит.

Дедушка Розов вернулся к учительскому столу, слегка поклонился Лии Матвеевне, приложил к своей хилой груди руку.

— Он привыкнет. Он толковый паренек. Да, вот еще что, ребятки... Едва было не забыл. — Старик опять подошел к нашей парте, наклонился к Бэркэну. — Этого мальчика вы дразните америкашкой. Нехорошо, ребятки. К тому же вы слышали звон, да не знаете, где он. В прежние времена американцы ходили по дзешим побережьям, однако у нас я пока заметных следов не нашел. Есть останки старой шхуны на косе, закаменевшие сваи возле Лумукана, могила с корабельным якорем вместо памятника. Чьи они — неизвестно. А где потомки американцев среди звенков? Гутчинсон, скажете? Но он и сам не знает, откуда у него такая фамилия, легенде о девушке Лумукан верит. Эту легенду, мне кажется, выдумали, по крайней мере дополнили, приукрасили. Пусть Гутчинсон считает себя американцем, а Бэркэн настоящий звенк. Покажись им, байе. — Старик приподнял Бэркэна, повернул его лицом к классу. — Ну, убедились? Вот и хорошо. Передайте всем ребятам мои слова.

— Продолжаем урок, — звучно листая классный журнал, напомнила Лия Матвеевна.

Розов послушно стал показывать гербарии, но, вспомнив что-нибудь интересное, тут же сообщал классу («Вы видели у меня белую белку? А черного горностая? Редкие экспонаты, во всей стране таких не сыскать»), и Лия Матвеевна терпеливо возвращала его к насекомым.

Я думал о старике и нашей учительнице. Они очень похожи друг на друга. Маленькие, разговорчивые, суетливые, добрые, одинокие. Ходят в торбасах, оленьих дошках. Одинакового цвета беличьи шапки носят. Даже говорят похоже — слабо, с хрипотцой. Припомнился разговор матери с соседкой: «Поженились бы, что ли. Маюся поодиночке. Второй год дружку водят, чай пустые распивают...» Не понимаю, почему всех хотят поженить? Старик и так неплохо — сам себе хозяин, никаких ему: «Ты куда направился?», «Застегни пальто», «Не напейся», «Наколи дров». А готовить обед, убирать музей и ком-

нату Розова все равно часто приходит Лия Матвеевна...

Загремел звонок — громко, дребезжа. У нас нет медного колокольчика, и уборщица звонит оленьим боталом из консервной банки. Звук не очень приятный, зато всем слышно. Вскочили, затарабанили крышками парт. До раздевалки еще помнили о зоологии, дедушке Розове, учительнице, а потом, на ярком снегу улицы, все сразу позабыли, занялись своими делами.

Бэркэн побежал в интернат, я — домой. Через полчаса встретились около культбазы. Я принес два сачка на длинных черенках, брезентовые рукавицы. Заторопились под гору, к Кутиму.

На отмелях стояли рыбаки, размахивали сачками: был уже полный отлив, и по реке можно бродить в сапогах. Увязая в незамерзшем береговом иле, спустились к воде, под которой сверкал твердый песок; выбрались на отмель, усталую колотым льдом. В первой же чистой лагуне обнаружили навагу. Было ее так много, что она лежала темными пластами, а когда мы сунули в воду сачки — взбунтовалась, закипела, будто снизу разожгли костер, подняла со дна песок. Сделалось тесно в лагуне, навага шестелела плавниками, прыгала на отмель. Поддели сачками, едва вырвали их из воды, плеснули на лед крупную сизо-белую рыбешку. Пляска началась бешеная; шлепали хвосты, скрипели жабры, нас обсыпали липкие брызги.

— Аю! — крикнул, отгораживаясь рукавицами, Бэркэн.

— Вот тебе «аю!» Хорошее место попало. Давай черпать!

Рыбаков было много, стояли они по двое, в одиночку, возле каждого — горка пристывшей наваги, тут же пляшет живая. Люди работают не отдыхая, переходят от лагуны к лагуне, выбирают, где рыбы погуще. Надо успеть до следующего прилива наловить, собрать навагу в мешки, вынести на сухой берег. Вычерпывать можно всю, не жалея, — с приливом новые косяки наваги войдут в Кутим, потянутся в верховья на нерест. Запоздавшие останутся в лагунах ждать очередной большой воды, как бы заполняют котлы, и люди вычерпают из них свою долю.

Берут свою долю медведи, выходя из тайги к речкам, выдры, лисы, хищные птицы — это последняя обильная еда перед долгой зимой.

Берем и мы с Бэркэном. В прошлом году по четыре мешка заготовили. Моя мать до самой весны рыбу жарила, все ели, нахваливали. Звенки строганину делают, сырую едят с нерпичьим жиром. Бэркэн меня угощал, есть можно, но потом тошнит без привычки.

Перешли к другой лагуне. Здесь, кроме наваги, стали попадаться морские бычки, корюшка. Бычков можно выбрасывать или брать для собак (рыбка — хвост да рогатая голова), зато корюшка — отличная добыча. От нее пахло свежими огурцами, и сама она, зеленоватая со спинки, была похожа на живые огурцы. Я чуть не заплакал — так захотелось огурца или помидора, а Бэркэн даже не глянул на корюшку: он никогда не ел свежих овощей, кроме редиски и турнепса с культбазовского огорода, и считает, что самая лучшая зелень — дикая черемша. Только зря звенки называют редиску и турнепс «русская еда». На материке турнепсом свиней кормят. Просто здесь ничего другого не растет. Если когда-нибудь Бэркэн переедет жить в город далеко отсюда, зеленые огурцы будут напоминать ему запах корюшки.

Я выбрал самую крупную, живую, сжал ее в ладо-

ни. Она была упругая, плотная, как настоящий огурец. Поднес к носу.

— Воняет? — спросил Бэркэн.

— Еще как!

— Гурцы русские кушает, да?

— Дедушка Розов говорит — травка такая в море есть, водоросль; корюшка питается ею — сама начинает пахнуть. Может, это морские огурцы?

— Не знаю. — Бэркэн швырнул в воду большого лупоглазого бычка. — Бычка, знаю, шаманы любят. Сушат, чертиков делают, в чум вешают. Разговаривают потом.

— У вас есть бог?

— Есть. Амака.

— Медведь?

— Медведь. От него все люди родились.

— Что ты! От медведя?!

— Старики так говорят. Гутчинсон говорит: «От обезьяны плохие люди родились». Амака сильный, добрый. Амака — хозяин тайги.

— Ты его не боишься?

— Он смирный. Всегда уходит. Скажи: «Чет, чет», — и уходит. Обижать не надо амака. Русские обижают...

— Русские не знают, что он бог.

— У вас кто бог?

— У меня нету. У старушек видел — человек боро-
датый. Нарисованный.

— Шаман?

— Может быть. Только неживой. Его никто не видел.

— Амака лучше. Амаку шаманы боятся. Он самый главный на земле. Понял?

Бэркэн смотрел на меня черными кругляшками глаз, будто они никогда не были у него узкими, чутко следил за мной: не засмеюсь ли, не отвернусь ли пренебрежительно (он мог накинуться с кулаками), — и я решил не дразнить друга.

— Понял, — сказал ему. — Давай работать.

В третьей лагуне ловилась только навага, даже бычки не попадались; лишь со дна достали несколько больших колючих камбал. Живой ворох быстро пристыл, покрылся инеем — в нем было не меньше мешка наваги. Да в тех лагунах мешка по полтора начерпали. Хватит. Руки заоченели, штаны и телогрейки льдом покрылись. Бэркэн бросил на ворох сачок, присел на корточки, достал трубку, набил табак.

К нам подошел пожилой эвенк. Попросил заку-
рить. Бэркэн отсыпал ему часть махорки. Эвенк при-
сел тоже на корточки спиной к ветру, задымил, слад-
ко причмокивая губами. Они заговорили сначала вя-
ло, потом торопливо, перебивая друг друга, смеясь. Я не понимал их, но ловил знакомые слова: «Эксэ-
ри», «амака», «этыркэн», «лучакан». Если перевести, получалось что-то вроде: «У русских бог — старикаш-
ка. Это очень смешно: бог — человек...» Они поглядывали на меня так, будто я назвал себя богом, и хо-
тели хорошо узнать русского бога, чтобы потом рассказывать сородичам и смеяться.

Я не очень обиделся: Бэркэн всегда такой — не умеет ничего скрывать, обманывать, подлизываться; говорит что думает. Не научился еще. И злости у него нет никакой на меня. Просто у эвенков взрослые и дети равны, и со мной Бэркэн дружит так же.

— Веди собачек, — сказал я, — а то не успеем.

Бэркэн молча выбил трубку, пошел в поселок.

К вечеру мы вывезли четыре мешка мороженой наваги.

7

Стукнула дверь, и я проснулся. С кухни потянуло морозцем, послышались голоса.

— Вот это я понимаю, новость! — трет руки, покрывает отец. — Надо же такое надумать!

— Что с тобой? Неужто успел выпить? — пугается мать.

— Не до того. Послушай, Нечаев, Зеленец, Гира-
вуль склад обокрали.

Мать, хлопнув ладонями:

— Да ты что? Зачем это им понадобилось?

— В Испанию решили бежать, на войну.

— В Испанию?..

— Взяли продуктов, одежонку. На лыжи — и ходу. Едва догнали. Да и то — лыжа у одного сломалась.

— Да где же сторож был? — скрипит стул, мать садится от изнеможения.

— Связали. Никиту Ямского караулить оста-
вили.

— Ой-ей-ей! Что же теперь будет!

Слушать дальше я не мог: все было ясно. Коль-
ка, Володька и Гиравуль хотели убежать в Испанию, сражаться с фашистами, а их поймали, не пустили. Сейчас же надо все разузнать, сообщить Бэркэну. Надо немедленно что-то делать. Может быть, еще не поздно, может, успеем помочь ребятам?.. У Бэр-
кэна есть ружье, собачья упряжка. Я начал быстро одеваться, стараясь не шуметь, чтобы меня не за-
держали дома, но руки дрожали, и почему-то я плохо видел — так было горячо, мутно в глазах.

Два дня бушевала над поселком пурга, и окна бы-
ли наполовину завалены снегом. Мы не ходили в школу, а взрослые пробирались в интернат, на культ-
базу, в сельсовет, держась за натянутые канаты. Вчера к вечеру буран начал утихать, и теперь —
это было видно по верхним стеклам окон — с неба светило яркое солнце.

Глянул на часы — без десяти двенадцать. Как я мог столько спать? В такой день! Наверное, все уже все знают. Да я бы вообще не ложился, если бы...

— Ты куда?

В дверях стояла мать, присматривалась ко мне.

— На двор, — находчиво сказал я.

— Побейте. Завтрак на столе.

Пробегаю кухню, схватил со стола кусок хлеба, в сенях взял лыжи, сорвал со стены несколько коп-
ченых корюшек. Возле крыльца стал на лыжи, чтобы не пробираться узенькой, в один след, тропинкой, побежал к интернату.

Во дворе было много ребят, они галдели, крича-
ли, в толпе, как цапля, ходила длинная воспитатель-
ница Колобкова, уговаривала, успокаивала и никого никуда не пускала. Я обошел Колобкову, позвал Бэр-
кэна.

— Знаешь, однако? — спросил он, позабыв позд-
ороваться, пылая щеками.

— Знаю.

— Их заарестовали. В рубленке сидят.

Рубленкой мы называли избушку, грубо срублен-
ную из лиственных бревен, всегда пустую, тем-
ную, страшноватую: в прошлом году там лежал за-
мерзший в тайге кореец Цой, мы бегали смотреть, как он, оттаивая, будто живой, расправлял руки и
ноги. А раньше еще, рассказывают, сидел в рублен-
ке один бандит, убивший человека. Вечером мимо
маленьких черных окошек избушки я всегда проно-
сился бегом.

— В рубленке?

— Ну.

— Как же они могли?..

— Вот мы тут кричим: зачем в рубленку? Наши ребята, мы их выпустим.

Да, ребята интернатские — Нечаев, Зеленец, Гиравуль. У Кольки и Володьки нет родителей (у одного тетка, у другого сестра в поселке живут), у Гиравуля родители зимой и летом с оленьим стадом кочуют. А Никиту наверняка не посадили: он еще маленький, да и на вассере только стоял. Надо все разузнать — зачем здесь ругаться с Колобковой? Надо выручать ребят, они не бандиты — они в Испанию хотели убежать, к Лукачу, в Интербригаду.

— Убежать сможешь? — спросил я Бэркэн.

— Убегу. С той стороны жди, где уборная.

Бэркэн начал выбираться к двери интерната, но тут вся толпа ринулась на улицу, еще сильнее загалдела и заорала. Оказывается, от школы шли заведующий культбазой и директор школы. Оба широкие, в дохах, они едва пробирались между высокими стенками снега, а когда ребята заорали и двинулись к ним, они остановились, не понимая, что случилось.

Утопая в снегу, размахивая руками, толкаясь, помогая друг другу, мы обступили со всех сторон заведующего и директора.

— Отпустите наших!

— Зачем посадили в рубленку?

— Сломаем замок, свяжем сторожа!

— Они не бандиты!

— Соберем деньги, заплатим за ваши продукты!

— Зачем в рубленку?

— Рубленку сожжем!

Орали все разом, Колобкова металась позади, не могла пробраться к начальству. Кто-то колотил в пустую банку, кто-то свистел. Алка Замахнина сорвала с головы платок, по-бабьи заголосила. Заплакали другие девочки.

Заведующий поднимал руки, пытался перекричать, мотал головой, показывая этим, что он ничего не понимает. Наконец к ним пробилась Колобкова, заговорила, прикладывая к груди руки, дрожа губами. Заведующий культбазой кивал ей, хмурился, потом вдруг заулыбался, выкинул вверх руку с сжатым кулаком — на мгновение все замолкли — и выкрикнул:

— Рот фронт!

Снова шум, крики, но теперь веселые, с хлопками в ладоши, как на митинге в праздник. Позади самые маленькие ребятки закричали: «Ура!»

— Ребята! — сказал заведующий, выждав тишины. — Нам все понятно. Мы понимаем вас. Переведем арестованных из рубленки. Но отпустить не можем: приказ милиции из района — держать до приезда суда. Все, ребята, можете расходиться!

Заведующий и директор пошли к школе, а Колобкова, расставив длинные руки, отгораживала их от нашей толпы. Однако никто уже не кричал, не пытался бежать за начальниками. Медленно выбирались на тропинку, отряхивались. Алка Замахнина вытирала платочком пятнистые, будто нащипанные, щеки, смеялась, сообщая каждому: «Переведут, переведут... Добились...» Длинной вереницей потянулись к интернату, подпираемые Колобковой.

Слово «приказ» утомило, утихомирило. Сразу все объяснилось. Стыдно сделалось за такой детский шум — тем более, что из-за рубленки никто спорить не стал, — собрались защищать, а оказывается, серьезное что-то произошло: суд из района приедет.

— Пойдем?

— Надо.

С полчасика я сидел на стланиковом кусте за интернатской уборной. Долго сидел. Но Бэркэн появился, ни разу еще не было, чтобы он подвел. С ним шел мальчишка-звенк, тоже на лыжах, в оленьей дошке.

— Дува, — сказал Бэркэн. — С нами хочет.

— Пусть... — немного рассердился я: зачем лишние люди? К тому же Дува маленький, хилый на вид.

— Не жалко, правда? — засмеялся Бэркэн. — Он хороший охотник.

Прошли лесом мимо интерната и школы, вышли к дому связи, поднялись немного по склону и там, где начинается белая березовая Горка, увидели рубленку. Приблизились по кустам стланика, осторожно выглянули.

У двери медленно ходила с берданкой на плече школьная истопница тетя Марфа. Она была закутана в тулуп, из-под тулупа выглядывал воротник полушубка, на ногах — большущие подшитые валенки. Лица не было видно под шапкой, которую покрывали шерстяные платки. Руки упрятаны в мужские рукавицы из оленьего меха.

— Самурай, — сказал я.

— Деда Мороз, — сказал Бэркэн.

— Атыркан-яга, — сказал Дува, — старуха-яга.

Вышли на полянку возле рубленки, пошли гуском так, будто мимоходом попали сюда, приблизились к окошкам рубленки. Сквозь темное, закопченное стекло проглянуло чье-то бледное лицо — на губах улыбка; рука поднята. Кажется, Колька Нечаев махал нам.

— Стой! Куда? — закричала вдруг, заметив нас, тетя Марфа.

— Мы немножко гуляем, — сказал ласково Бэркэн.

Мне захотелось поближе глянуть в окошко.

— Назад! Стрелять буду!

Тетя Марфа наставила на нас берданку, начала дергать затвор, но тот не поддавался — застыл. Тетя Марфа делала страшные глаза, морщилась, пыхтела.

Мы пересекли поляну, не оглядываясь, потихоньку заскользили в лес.

— Я вам погуляю! Гуляки тут нашлись!

Теперь надо посмотреть склады, пройти по лыжне беглецов — все узнать, увидеть. Нам это очень необходимо. Впереди шел Бэркэн, потом я, за мной Дува. Как на охоте, неслышно передвигали лыжи. На косях остановились.

Взломаны были оба склада — продуктовый и товарный, вокруг сильно вытоптан снег, разбросаны сломанные ящики, куски мешковины, бумага. Двери уже подлатали, закрепили пробои, повесили замки. Но никто не сторожил склады. Их и раньше днем не сторожили: все люди в поселке на счету, воровать некому. Да и ночью старик Иннокентий Иванов не мерз на морозе, дремал в своей избушке, поглядывая в окошко.

Дува нашел притоптанную снегом пачку галет, Бэркэн выковырял банку тушенки. А я ничего не искал, просто так ходил, смотрел и зябко вздрагивал, воображая, как страшно здесь было ночью.

— Вот, посмотри, — сказал Бэркэн, указывая лыжной палкой. — Здесь они пришли, здесь поставили Никиту, потом... Как это?.. Дёромын... воровали. Вот бежал старик, свалил Никиту... Тут они трое свалили старика. Вот положили на снег, веревки, смотри. Никита караулил. — Бэркэн показал палкой на твердо вытоптаный пятачок, но не ткнул наконецником, чтобы не нарушить след. — Потом они дёромын девке... Как это?.. Воровали запасы. Очень торопились, много бегали. Потом пошли на лайду. Думали, пурга будет, закроет дорожку. Пурга кончилась. Ай, как плохо получилось!

Двинулись к Лумукану. Лыжня хорошо накатана: по ней прошла целая бригада, догонявшая беглецов. Бежать стало легко, почти как на коньках. Только бо-

лели глаза от яркости свежего снега, он слегка подтаивал, искрился, блестел влагой. Вдаль нельзя было глянуть: все утонуло в тумане, мареве, белом свечении. Дальние сопки синели смутно, будто сквозь морскую воду.

— Тут отдыхали, вот. Прямо на снегу сидели.

Приблизились к черным скалам Лумукана, вошли в их тень. Глаза прозрели, будто после слепоты, начали различать цвета, форму камней, деревья наверху. Замедлили ход, чтобы отдохнуть немного.

Вдруг Дува отклонился в сторону, заспешил к низенькой темной пещере. «По своим делам», — подумал я, еще более придерживая лыжи. Дува пригнулся, сунул голову в пещеру, тут же выпрямился, замалевал нам руками.

Вернулись, подошли к нему.

— Смотри туда, — сказал он нам обоим.

Под сводом пещеры, на чистой мокрой гальке ворохом лежали пачки галет, банки консервов, заряженные картонные патроны, куски сахара и сверху — новенький эмалированный чайник.

— Вот, правильно тебе говорил, — охотник, — сказал Бэркэн.

Дува не радовался, не хвастался, показал нам и стоял в сторонке. И хоть Бэркэн слегка подсмеивался, опять назвав Дува охотником, я теперь понимал: он охотник. Лишь долго живя в тайге, выслеживая звериные следы, можно было заметить едва видимую одинокую лыжную бороздку, присыпанную снегом, от главной лыжни к пещере. Ее не приметил Бэркэн, мимо нее прошли все из бригады догонявших; среди них наверняка были звенки.

— Бросали немного, — вздохнул Дува.

— Тяжело стало.

— Лишний дегте — тяжело, — подтвердил Бэркэн.

Постояли, не отводя глаз, — такое богатство! Но никто пальцем не тронул, не захотел влезть в пещеру, будто под ворох добра была подложена граната или кто-то сидит в глубине сумрака, сторожит и тронь только — пульнет оттуда камнем или острием ножа.

— Как будем делать?

— Пусть пока, — сказал я. — Потом подумаем.

Дува промолчал, он был младше нас, свое дело сделал, стоял, одиноко ожидая. Так и решили.

В заливе изломан лед: торосы, заструги, ледяные холмы, места — проплешины гладкого льда — он сияет огромными зеркалами, — местами надуты рыхлые сугробы, похожие издали на белые дюны. Лыжня огибает торосы, ледяные холмы, бежит краешком чистого льда, однако точно держит направление к оконечности Первого мыса. Только так и можно двигаться по заливу — срезая бухточки, лагуны. Ребята заранее, наверное, наметили маршрут.

— Вот, отдыхали.

На низком, покрытом снегом торосе видны три углубления — беглецы сидели, — окурки, жженные спички, отпечаток ружейного приклада, обрывок носового платка с пятнышками крови: кто-то сбил руку.

И как возле пещеры, мне опять сделалось зябко и тревожно, будто я читаю книгу и подошел к жутковатому, не очень понятному месту... Здесь они сидели, курили, может быть, спорили. Высчитывали время, сердились на предательницу-пургу. Может, кто-нибудь уже подумывал вернуться; уговорить всех — и вернуться. Сильно вытоптан снег возле тороса, будто толкались, боролись.

Ледяные холмы, заструги, торосы, белизна. Можно смотреть лишь под ноги, на синюю, влажную полосу лыжни. Шушанием снега, скрипом креплений течет долгое время. Прошли Первый мыс, от-

дохнули на черных камнях, и снова белый, огромный полукруг бухты, лед, снег.

— Смотри, один лыжа сломалась! — кричит Бэркэн, делает шаг в сторону, наклоняется.

В руке Бэркэна — красный носок спортивной лыжи. Он скололся на самом изгибе. Вот и та заструга, под которую попал носок. Рядом глубоко вмят снег — лыжник упал, увяз руками, долго поднимался. К нему подошли двое других, стояли, опять курили. Потом все двинулись дальше. Тот, у которого была сломана лыжа, шел последним, держа правой лыжей кромку лыжни.

— Чей лыжа? — спросил Дува, нежно держа в руках обломок, поглаживая красный лак.

— У них не было таких, — сказал я.

— На складе брали, — решил Бэркэн.

Так это и было. Нечаев, Зеленец, Гиравуль взяли эти лыжи на складе. Не удержались, увидев новенькие, блестящие, гоночные. Наскоро приделали к ним крепления, бросили свои широкие, лиственничные, некрасивые лыжи и побежали. А снег глубокий, лед, торосы... Как мог позариться на городские ходунки Гиравуль? Он-то знает тайгу, он мог сказать Кольке и Володьке, что на них далеко не уйдешь. Не думали, наверное, некогда было им думать.

Посередине бухты лыжня разбилась на много полос, охвативших ее по обеим сторонам. Легко было догадаться — почему. Отсюда началась главная погоня, захват беглецов. К ним подходили с трех сторон. Отдельных следов было не меньше десяти. Вот упал тот, у кого сломалась лыжа. Вот огромный торос, вокруг него истоптан снег, и дальше — ни одной лыжни. Здесь залегли беглецы. Видны протаявшие места лежанок, ямки от локтей. И стреляные картонные гильзы.

Неужели они стреляли? Может быть, вверх, чтобы отпугнуть, отсидеться и бежать дальше? Но как на таких лыжах, да еще у одного сломалась?

До Николаевска-на-Амуре от нашего поселка километров триста, если напрямик. У них, конечно, был компас, они определили направление. И лыжники они очень хорошие. Пожалуй, прошли бы. У Зеленеца в городе есть какие-то родственники, помогли бы им дальше. Раз в Испанию, воевать с фашистами собрались, — нечего бояться. Добровольцами их все равно не пошлют: в школе учиться нужно. Каждому это понятно. Почему же они так плохо подготовились, не подумали хорошо? Может, не надо было обворовывать склады?

— Тут один ползал, смотри.

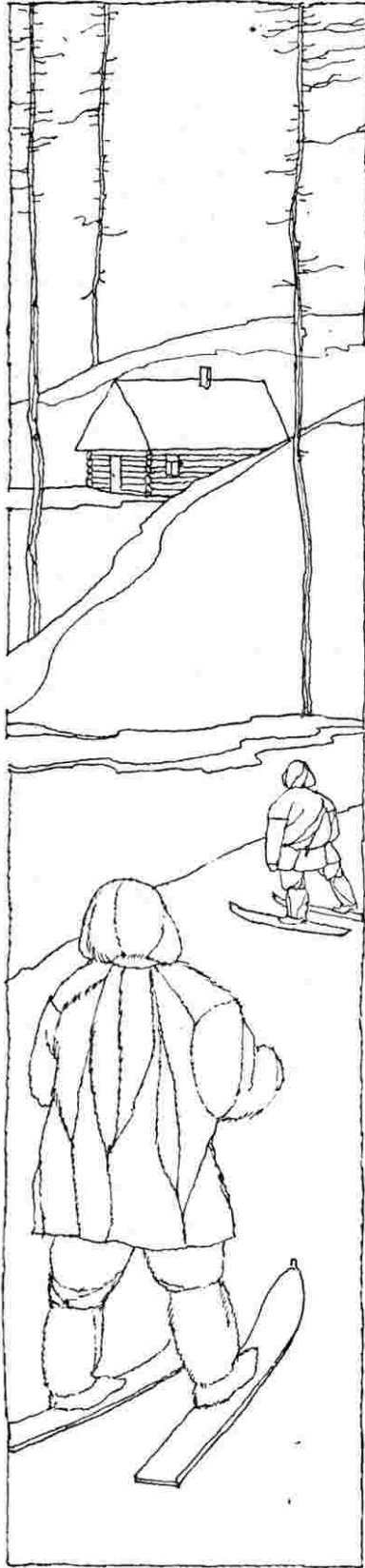
Четко виден след ползшего человека — с остановками, осторожно. Зашел он почти с тыла, продвигался, прячась в воронках, выдутых ветром, за торосами. Подполз незаметно, наверное. Он-то и принудил беглецов сдаться, крикнув «Руки вверх!», поставив берданку.

— Как война был, — сказал Дува, собирая гильзы, нюхая их. — Хорошо, правда?

Он хотел сказать: «Интересно, правда?» — но не знал такого слова. Однако мы поняли, потому что хорошего здесь было мало, и даже маленький Дува не мог радоваться такому несчастью.

Зачем их догоняли?

Я ненавижу след подползшего сзади человека, ненавижу всех, гнавшихся за ними. Мне хотелось навсегда запомнить этот торос, за которым они прятались, истоптанный снег, взять на память гильзу (и я взял, положил одну в карман). Почему меня не было с ними?.. Я бы помог, прикрыв бы их. Они же к республиканцам бежали. Они не могли без теплой одежды, продуктов. Да и сколько они взяли?.. Мы



бы по рублю собрали, заплатили... А так плохо, гад-ко получилось. Жить после этого не хочется.

У меня ослепли, заплалили слезами глаза. Я отвернулся, молча рыдал. Мне казалось, что я уже не смогу вернуться в поселок, упаду здесь и замерзну. И пусть их всех отпустят, потому что они не виноваты.

— Не топчи! — сказал Бэркэн, оттолкнув в сторону Дува.

Он рассматривал следы, прикладывал к ним ладонь, приглядывался к направлению каждой лыжи и все делал так, чтобы не повредить след, как на охоте в тайге. Для него это главное. Он, наверное, позабыл, куда, зачем бежали ребята.

— Дураки, меня надо взять.

Бэркэн сказал это не потому, что ему хотелось бежать в Испанию. Нет. Он вдруг, поморщив лоб, понял: можно было запутать следы, обмануть погоню, уйти к мысу, снять лыжи, бежать по чистой гальке возле скал, спрятаться в пещере, отсидеться, потом идти дальше. Бэркэн даже улыбнулся, постукивал пальцем себя по лбу.

— Дураки, понял? — сказал он мне.

— Меня тоже взять, — тихо выговорил Дува.

— Ты? Ай-яй!

Бэркэн засмеялся, зажав поочередно одну и вторую ноздрю, ловко высморкался, достал трубку. Он посмеивался, будто рассуждал сам с собой, отвернулся от нас. Он был доволен собой, очень заужал себя и, конечно, считал, что мы с Дувой пока малополезные для жизни люди.

Я пошел, оттолкнувшись сильно палками. Пошел прямо к берегу, напрямик. Я рассердился на Бэркэна: нельзя так хвастаться. Тем более нельзя, что он не помнит, куда бежали ребята, что они арестованы, что их будут судить. Я решил уйти один. Но сразу на мою лыжню стал Дува, засопел позади: он был обижен, как охотник, он не хуже читал следы, сам обнаружил пещеру с дегте. Так мы шли несколько минут. Потом нас догнал и обошел сбоку Бэркэн. Он еще задавался: бежал без шапки, сунув под мышку палки. Пришлось стать на его лыжню: зачем зря тратить силы, раз человек пожелал выйти вперед? Через лайду, марь, лес быстро пришли к поселку, возле школы сняли лыжи. Здесь собрались неинтернатские мальчишки. Клок подбежал к нам.

— Все, все знаю!

Бэркэн не услышал его, Дува, приволакивая лыжи и палки, пошел к интернату: обед, наверное, давно кончился; можно остаться без еды до ужина.

— Чего знаешь? — спросил я.

— Все. Их догнал Ван-Сид, окружил с другими. Как на войне. Стреляли. Ван-Сид захватил в плен. А Никита сторожа заморозил, долго не отпускал. Руки у самого замерзли, никак сторожа не мог развязать. Старик Иванов в больнице. Никита дома сидит, отец арестовал. Вот неприятности!.. Директор руку жал Боровикову. «Спасибо», — говорит, — Иван Сидорович, что бандитов поймали...»

— Кого?

— Ну, этих... Которые воровали.

Я поднес к самым зубам рыжего туго сжатый кулак.

— Ты чо? — разозлился, брызнул слюной Клок.

— А «испанку» забыл?

— Он шкурку меняет, — сказал Бэркэн. — Теперь он зайчик.

Мы пошли в столовую.

Моя мать дала нам супа и каши с оленьим мясом,

села смотреть на нас. Она была сердита на меня: сбежал не поевши, обманул, схитрил, а тут такое несчастье с «испанцами», растут какие-то бандиты на нашу голову, что с ними делать, — но есть нам не мешала. Повариха должна сначала накормить. Я растягивал обед (может, кто-нибудь придет, может, помощница позовет мать на кухню), думал, что все равно мне попадет дома от отца, а Бэркэну — от воспитательницы. Меня возмущали ненужные, мешающие жить строгости взрослых; но все равно было хорошо: мы совершили поход — такой поход! — и еда вкусная, и мать сидит усталая (уже соображает, наверное, как половчее защитить меня от отца), и из кухни идет вкусное тепло, и сейчас нам дадут по большой эмалированной кружке компота из сухофруктов.

8

Ползем от березы к березе, прячемся за кустами стланика, таимся возле пеньков. Впереди Бэркэн, потом я, за мной Никита Ямольский. Ползем к старой баньке под горой, возле Кутима — там сейчас сидят «испанцы». Надо передать им литровую бутылку браги, кусок сала, вяленую рыбу и еще записки от девчонок.

Баньку завалило снегом, лишь горбится крыша, покрытая лиственничным корьем, слегка дымится железная труба, да синее маленькое окошко, от которого отгребли снег. Где-то с другой, глухой, стороны есть деревянный желоб, когда-то по нему заливали водой бочки, стоявшие в баньке. Мы должны подползти к желобу, откопать, протолкнуть внутрь припасы.

У последнего стланикового куста собираемся вместе, залегаем, чтобы отдохнуть. Припорошив шапки снегом, по очереди выглядываем из-за сугроба. Школьная истопница тетя Марфа (вдвоем со своим старичком она сторожит «испанцев») сидит на чурбаке спиной к двери, курит папиросу, покашливает. Одета в полушубок, тулуп, замотана платками. Сторожит дверь и окошко. Знает, что сквозь стены арестованные не уйдут.

— Ну и вояка! — говорит Никита. — Давай подползем, свяжем...

— Дурак ты, однако? — спросил печально Бэркэн.

— Да я так, понарошке. Старик Иванов — вот сильный, гад. Вчетвером едва скрутили. А меня в живот как долбанет! Ну я его потом приморозил.

— Однако, ты это... — сказал я. — Он же погибнуть мог.

— Понимаешь ты! У меня часов не было. Жду — ребятам надо уйти.

— Кэ! — махнул рукавичкой Бэркэн.

Спорить совсем не время, это правда. Да и лежать холодно, особенно нам с Бэркэном: мы тощие. А у Никиты морда краснющая, кажется, снег можно ею плавить, и ручищам тепло в меховых перчатках. Весь день пролежит в снегу посмеиваясь.

— Бери мешок, — сказал мне Бэркэн.

Я тащу из рук Никиты белый мешочек из-под импортной муки, со штампами, затянутый шнурком. Никита придерживает, смотрит ласково мне и Бэркэну в глаза.

— Ребя, записки-то прочитать надо... А то чего они там написали... Может, про нас?

Мне сразу сделалось жарко. Нет, не потому, что я рассердился на Никиту (всякому ясно: читать чу-

жие записки — большое свинство). Он будто угадал мои мысли: мне тоже хотелось глянуть в записки. Но, конечно, я бы никогда не сказал это вслух, потерпел в себе. А Никита — раз — и вывернулся наизнанку. И противно от этого и стыдно, что угадали тебя, и немножко все-таки радуешься: прочтем, интересно же!..

Я смотрю на Бэркэна. Главное, чтобы перед ним не было мне совестно. Он молчит: или не слышит, или не хочет слышать, или разрешает нам сделать так, как мы хотим, — совсем не сердито торопит:

— Бисстро, бисстро!

Никита распускает тесемку, сует красную пятерню в мешочек, шелестит бумагой. Вынимает две записки, сложенные треугольниками. На одной я вижу почерк своей сестры и, не успев подумать о чем-либо, вырываю из рук Никиты записку.

— Эту не надо!

— Сестричку жалко? Ладно. Мне другая интересней.

Другая — от Алки Замахниной Володьке Зеленцу. Третьей нету. Маргеша, подружка Гиравуля, отказалась писать: звенки очень стесняются ласковых слов, особенно девчонки. Но Никите нужна эта, другая записка, у него даже слегка подрагивают пальцы: он заранее ревнует Алку. Быстро распрямляет треугольник, быстро бежит глазами по бумаге.

— Всем надо, — напомнил Бэркэн.

— Да тут неинтересно... Он вот сестричкину не дает. — Никита толкнул меня плечом. — Всем так всем...

— Всем, — подтвердил Бэркэн.

— Ну, ладно. Тут написано...

— Читать надо.

— «Володя, милый!» — жалобно начал Никита и сразу добавил от себя: — Во, милый сделался! — «Забудь нашу последнюю ссору, я была такая дурочка! Я не знала, какой ты. Я смеялась, как все девчонки. Нет, ты нравился мне...» — Во дура! Нравился! — хохотнул Никита. — «Но я еще не знала тебя. Ты же всегда молчишь о себе, такой скрытный! Почему ты не рассказал про самое свое главное, я бы все поняла. Теперь ты для меня как настоящий республиканец. Когда увижу тебя, могу умереть со стыда за прошлое...» — Во, умереть! Да я тебя еще до этого прикокну! — «Так мне стыдно! Все девчонки шлют тебе приветы, а я тебя целую...» — Чего, чего? Ну, ладно — «...и люблю. Алла».

Никита бросил бумажку, замахнулся кулаком, чтобы вдавить ее в снег. Я отбил его руку, Бэркэн поднял записку, аккуратно сложил треугольником.

— Как сохатый раненый.

— А еще вместе с ними был, — сказал я. — Что, думаешь, их посадят?

Отвернувшись, Никита высморкался, как плачущая баба, потом потихоньку засвистел, успокаивая себя. Мы помолчали немного, чтобы снова «подружиться», начать думать о главном и Никите помочь: мы не сердимся, понимаем, но ты тоже понимай все хорошо. И бабой не будь: мало ли чего еще трудного нас ожидает в жизни.

— Бери мешок. — Бэркэн сбил рукой верхушку сугроба, выглянул и юрко, комком перекатился на другую сторону. И я сначала выглянул, увидел широкую спину тети Марфы, потом перевалился; но когда съезжал к Бэркэну, мешок догнал меня, больно ударил по голове. Я даже пискнул. Бэркэн расстердился, фыркнул по-оленьи.

— Тащи рукой.

Он пополз, раздвигая головой снег, оставляя позади узенькую глубокую борозду, в которой можно

прятаться и которая со стороны наверняка не видна. Я пробирался за ним и, если он замирал на минуту, тоже падал лицом на рукавицу.

Обдумали мы все заранее. Решили пробраться к баньке днем (ночью любой шорох слышен, ночью тетя Марфа или ее старик могут испугаться, пальнуть): днем сторожа ничего не ожидают, сидят возле двери, дремлют, в поселке много шума, к тому же вот сейчас, когда мы ползем, на Кутиме прилив, морская вода поднимает лед, корежит его, треск, скрежет слышится оттуда. И что Никита будет на вассере, заранее решили: ему нельзя второй раз попадаться, ему еще неизвестно, что присудит суд за тот вассер, испанский. Мы-то вообще его отговаривали, сами не маленькие, но он чуть драться не полез. Может, из-за Алки Замахниной, чтобы показать, какой он смелый, не хуже тех, что в заключении сидят? Может, записку Алкину хотел прочитать?..

Уже не видна спина тети Марфы, мы подползли к углу баньки; теперь вдоль стены, до следующего угла; там за угол — и где-то в конце стены должен быть желоб. Тихо. Едва слышно покряхтывает снег. Я не чувствую своего тела, веса мешка; есть лишь мое маленькое тепло, в нем, как в пустоте, легко и звучно падает и подскакивает сердце. Мне чудится: когда я замираю, припав к борозде, сердце, как мячик, выбивает в снегу ямку.

Бэркэн остановился, прильнул к стене, колнул раз, другой рукавицей — из снега выглянула кромка желоба. Я подполз с другой стороны, и вместе мы принялись разгребать снег. Быстро очистили углубление желоба, показалась мешковина — ею была заткнута дыра изнутри. Бэркэн нажал кулаком — мешковина слегка вмялась, заскрипела: она обмерзла по краям. Бэркэн просунул в желоб ногу, уперся спиной в мое плечо, нажал. Пробка с треском провалилась внутрь, грохнула на пол.

Мы отпрянули, прижались к стене. Из желоба засквижило банным теплом, и сразу послышался стук в дверь и сонный голос тети Марфы:

— Эй вы, герои! Чтоб у меня смирно сидели!

Тетя Марфа поскрипела снегом, уселась, наверное, на свой чурбан. А из желоба вместе с теплом вылетел шепоток:

— Алле, кто там?

С двух сторон мы притиснули головы к дыре.

— А, вон кто! Ну, молодцы, ребята! Как там у вас?

Голос был Кольки Нечаева, но лица мы его почти не видели: в баньке было темно.

— Корошо! — смеясь, прошипел в дыру Бэркэн. — Сейчас посылку давать будем.

Я развязал мешок, вынул бутылку, Бэркэн положил ее в желоб, и она сама поехала в руки Нечаева.

— Ого! — кто-то хохотнул там.

— Корошо! — сказал в дыру Гиравуль.

Бэркэн клал в желоб припасы, они легко соскальзывали вниз; потому что нижняя доска была покрыта ледком. Потом сунул в дыру руку, передал записки.

— Почему Гиравулю нет? — спросил Володька Зеленец.

— Маргеша так передала... Стесняется.

— Пасибо! — сказал Гиравуль.

— С нами еще Никита, — решил сообщить я, чтобы они и это знали. — Он на вассере.

— Опять?

Там засмеялись. Булькала брага, разливали в кружки, пили.

— Суд еще не приехал?

— Скоро, говорят.

— В Испании как?

— Фашисты бомбят.

— У-у, гады!

Ребята рвали руками вяленую рыбу, ели.

— Записку пишите, — сказал Бэркэн.

— Карандаш, бумага есть?

— Нету.

— Эх вы! Нам же ничего не дают. Даже штаны сваливаются: ремни отобрали. Старые веники тетка Марфа выбросила. Дулом берданки пугает. Жуткая баба!

— Старик лучше. Старик наш парень: табачком угощает, греться заходит...

— Ну, идите, — приказал Колька. — Приветам там всем, поцелуй. Мы держимся, не хнычем. Суда тоже не боимся. Давайте руку.

Мы сунули в дыру ладони, их пожали все «испанцы», и я узнал каждого: у Нечаева рука широкая, жесткая, у Зеленца длинная и влажная, у Гиравуля торопливая и горячая.

Поползли назад, за сугробом разбудили Никиту: его разморило на солнышке. Поползли втроем. Но скоро нам это надоело, на первой тропе вскочили, Никита присвистнул, и дали стрекача. Тетка Марфа подхватила с чурбака, замахала берданкой.

— Я вам, бандюги несчастные!

Конечно, она ни о чем не догадалась, кричала на всякий случай. Будто мы вот так бегом ринемся на ее баньку.

— Пойду Гутчинсону, — сказал Бэркэн и очень ласково прибавил: — Кочешь?

Никита пошел домой, а мы направились к листовничному лесу, в котором желтели на снегу палатки, а с самого края стоял новый рубленый дом. В нем жил председатель колхоза Гутчинсон. Другие звенки, особенно старики, не хотели переселяться в «деревянный палатка»: пол жесткий, печку много топить надо, железная кровать скрипит, как паровоз; юколу негде сушить; спать невозможно — светло всегда. Гутчинсон агитировал, пример показывал, молодых чуть ли не за шиворот перетаскивал в дома. Но палаточный поселок был еще большой, днем и ночью дымил жестяными трубами, выставленными сквозь стенки, встречал каждого лаем множества собак, запахами вяленой рыбы, нерпичьего жира.

Отец и мать Бэркэна жили на Алгатине, в оленьем стаде, и он ходил к деду кушать мясо и рыбу, потому что интернатская еда, если он долго ею питался, «портила» ему живот. С собой приносил сушеную оленину, угощал меня, но никогда не приглашал в гости к Гутчинсону. Как посмотрит на нас старик? Как вести себя у него? Я побаиваюсь Гутчинсона, особенно после праздника рыбы.

Дом был не загорожен, стоял, будто чум, среди леса, вокруг него истоптан снег оленьими копытами, вдоль длинной жерди на столбиках привязаны ездовые собаки — оттуда пахло мокрой шерстью, несвежей юколой, — у порога подремывали два крупных оленя, впряженных в нарту; и еще три охотничьих лайки кувыркались, терзали клочок медвежьей шкуры: им полагалось быть на свободе.

Бэркэн толкнул дверь не стучась, а войдя, сказал по-русски:

— Дорово!

В доме было сумеречно, на окнах висели оленьи шкуры, лишь одно светило нижним краешком, и на полу возле светлого пятна качнулась сутулая фигура сидящего человека. Однако он промолчал, щелкнул костяшками счетов, наклонился к бумаж-

ке, что-то записывая. Это был сам Гутчинсон. Я его узнал, как только присмотрелся к сумеркам.

— Садись, — показал Бэркэн на кумалан — цветной олений ковер у стены.

Я примостился возле низенького деревянного столика на резных ножках, подобрал под себя ноги, как делают звенки, и окончательно разглядел жилище «главного тунгусского человека». Не было здесь никаких перегородок, никакой мебели. У двери чернела печь с обогревателем, за нею возвышалась по всем правилам натянутая палатка; в раздвинутые полы виднелись еловые ветки, плотно устилавшие пол, — как во всех палатках, стоявших на снегу. Половицы затоптаны, их никогда не мыли, вдоль стен разбросаны шкуры, кумаланы, ватные одеяла — это постель, место для гостей, отдыха.

Бэркэн поднял деревянную крышку чугуна, вмазанного в плиту, острием ножа поддел большой кусок мяса, положил на столик.

— Кушай.

— Зачем палатка?

— Бабушка живет. По-другому не умеет.

Бэркэн глотал мясо быстро, жадно. Я отрезал маленькие кусочки, долго жевал. Без хлеба, без супа, просто одно мясо мне никогда не приходилось есть. Разве можно питаться одним мясом? Я почувствовал, что во рту скапливается много слюны, меня подташнивает. Отложил нож.

— Мало кушаешь, — сказал Бэркэн.

— Не научился.

Он пошел к плите, вынул из котла большую кость, ударил торцом кости о крышку столика — и возникла горка студенистого костного мозга.

— Уман называется. Дипкэл.

Я отодвинулся, замотал головой.

— Лучший еда!

Бэркэн чмокал губами, облизывал пальцы, вздыхал, как старикашка, от удовольствия, а я смотрел на Гутчинсона. И опять пугался его огромности, медлительности, густой бороды, растрепанных волос. Широкие скулы, большие глаза... Он был в нижней рубашке, сидел на медвежьей шкуре, у ног его помещались счета, сбоку листок бумаги, карандаш на потрепанной папке. Гутчинсон щелкал костяшками, записывал, шевеля губами, натирая ладонью грудь — совсем как русский мужик. (Может, отец у него не американец?..) И вдруг Гутчинсон приподнял голову, я увидел у него на шее маленький, тусклый крестик. Такой же носила моя бабушка в деревне.

Бэркэн завернул в газету кусок мяса, прихватил пласт вяленой рыбы — для интернатских ребят.

— Пойдем, однако.

Когда прошли двор, стих лай ездовых собак, учуявших пищу, я спросил:

— Почему у него крестик?

— Он... Как это? Ну... вашего бога верует.

— Крещеный?

— Вот так, правильно.

— Ты же говорил: ваш амака лучше.

— Гутчинсон говорит: два бога совсем хорошо: один — человек, другой — медведь.

— Старики не сердятся?

— Они его слушаются, уважают.

— Он председатель.

— Самый главный...

Бэркэн пошел к интернату, а мне пора было показаться дома. И уроки хоть немножко надо сделать: из-за «испанцев» я уже имел две двойки. Да и вся школа, наверное, стала хуже учиться. Скоро бы суд приезжал!

Только я перешагнул порог — на меня набросились девчата: сестра, Алка Замахнина, Маргеша,

еще какие-то двое. Стащили с головы шапку, приказали снять валенки, будто бы я мог куда-то убежать. Суетились, вздыхали, толкали меня. Были очень сердитые, и я тоже рассердился на них, убежал к печке греть руки. Моя сестра, похрустев пальцами, наконец выговорила:

— Как тебе не стыдно? Мы же ждем!

— У-у,— промычала Алка, и губы у нее побелели.

Маргеша молчала, но я видел, как дрожат ее худенькие плечи и часто мигают глаза.

Нехорошо получилось — это точно. Позабыли мы с Бэркэном, что нас ждут девочки, что они собирали припасы, писали записки. Совсем позабыли. И Никита... Нет, Никита все равно бы к ним не пришел: рассердился на Алку. Забежать бы на минуту, сказать, как и что... Они ведь и за нас боялись: послали под берданку тети Марфы. Хоть она и не выстрелит, а все-таки... Чего не бывает?

Сестра села на краешек табуретки, поднесла к лицу ладошки, всхлинула. Волосы ее свесились на руки, она сгорбилась, как пожилая женщина, и платье на ней было старенькое: забыла переодеться. И мне тоже захотелось зареветь, попросить прощения у бедной сестрицы, к тому же я вдруг почувствовал, что очень устал, будто бы даже заболел от усталости: тряслись руки и ноги, мутно было в глазах. Я пошел, как глухой, к дивану, лег и отвернулся к стене.

— Ну, не сердись,— сказала тихо Алка.— Мы же дуры... Где записки?

— Какие?

— Ну, от них?

— Как они напишут? Ничего нету.

— Ой, и не подумали!

Подсели сестра, Маргеша, начали нежно трогать меня, подложили подушку, пригладили волосы.

— Все обошлось? — Это сестра.

— Все.

— Страшно было?

— Нисколько.

— Они не плачут? — спросила Маргеша.

Сестра и Алка засмеялись. Я не ответил на глупый вопрос.

— Что передали?

— Всех любим, говорят.

— О-о... Врунишка. Тетя Марфа не заметила?

— Дремала на чурке.

— Как хорошо, что тетя Марфа со стариком караулят!

— Кто же еще будет?

Да, караулить «испанцев», я это знал, больше никому. Хотели создать караульную команду из старшеклассников — все отказались. И комсомольское собрание не помогло. Ребята говорили: «Они не во-ры: они республиканцам помочь хотели».

9

Был выходной день, и вся наша семья собралась дома. Мать готовила обед из трех блюд, отец, лежа на диване, читал толстую книгу «Жерминаль», младшая сестра шила платьице кукле Зойке, старшая делала вид, что занимается уроками, — поглядывала в окно, кого-то ждала; а я рисовал красками, подаренными дедушкой Розовым, и думал: как бы мне сбежать сразу после обеда? Отец почему-то считал, что выходной — семейный день, все дол-

жны быть у него на глазах, обедать вместе, мирно заниматься своими делами.

В дверь четко постучали, и, когда мать ответила «да-да», на пороге появился старший воспитатель интерната Боровиков.

— Здравствовать желаю,— обратился он к отцу.— Разрешите войти?

Отец поднялся с дивана, пожал руку Ван-Сиду, усадил на табуретку. Старший воспитатель неторопливо оглядел комнату, на каждом из нас остановил взгляд, всем улыбнулся, будто тихо обрадовался близким людям, а Надьке, поманив ее пальцем, дал конфету «Мишка на Севере».

Ван-Сид никогда просто так не приходит. Он не пьет брагу, в свободное время тренируется на лыжах, фотографирует или сидит дома пишет (говорят, сочиняет научную книгу о воспитании эвенкийских детей). У Ван-Сиды нет семьи — осталась где-то на материке, он сам себе готовит еду, стирает белье и ходит в военной форме. Потому, наверное, кажется строгим, решительным.

— У меня к вам небольшой разговор...

Отец кивнул мне, чтобы я ушел из комнаты, и я подпрыгнул от радости, но Ван-Сид остановил меня, сказав отцу:

— Его присутствие обязательно.

Пришлось сесте, слегка удивиться: зачем это я понадобился интернатскому воспитателю? — на всякий случай, для отца. Однако сделалось нехорошо, аж пальцы на руках заledenели: Ван-Сид просто так не приходит.

Он расстегнул белый, по-военному сшитый полушубок, положил на стол планшет с маленьким компасом на крышке. Стал виден широкий армейский ремень, значок пулеметчика. Пуговицы были ярко начищены, и почему-то от них исходила главная строгость.

— Вы знаете о том... — начал Ван-Сид, постукивая карандашиком по целлулоиду планшета, — о том, что ваш сын, — кивок в мою сторону, — да, ваш сын был на празднике рыбы? И не только был — плясал ритуальный танец. Вы знаете об этом?

— На Эвакане, что ли? — спросил, морща лоб, отец.

— Да, на Эвакане.

— Кажется, отпускал его.

— Но вы не плясать с шаманами отпускали? Мы борьбу ведем.

— Я не знал... Конечно, не плясать с ними. Думал, пусть посмотрит... Они вдвоем с этим, как его?.. С тунгусенком.

— Надо говорить: с эвенком.

— Да, с мальчонком здешним.

— Я хотел поставить этот вопрос на общее собрание родителей, а также среди учащихся обсудить, но последние события отвлекли на себя внимание. Решил персонально поговорить с вами.

— Хорошо.

— Займитесь воспитанием сына.

— Займусь.

Ван-Сид замолчал, давая осознать важность сделанного им сообщения, глянул на меня, вздохнул, как бы сожалея о случившемся: «Не могу, никак не могу иначе, дружок: очень серьезный вопрос!»

— Далее. Вопрос второй.

Отец насутился, подался вперед, словно боясь не дослышать; из кухни пришла мать, притихла позади Ван-Сиды; старшая сестра бросила уроки; даже Надька устала на меня, будто я сейчас выну из кармана целый кулек припрятанных конфет.

— Группа, обворовавшая склады, на пути своего бегства оставила в пещере Лумукана часть продо-

рольствия и боевых припасов. Мною установлено, что сразу после погони за бандитами и поимки последних по лыжне прошли трое: ваш сын, — Ван-Сид тронул меня пальцем, — и двое из интерната. Их имена я пока не назову. Они обнаружили припасы в пещере — это установлено по количеству лыжных следов, времени прохождения — и вместо того, чтобы доложить об этом дирекции, утаили этот факт. Часть продовольствия и боевых припасов расхищена, часть попортилась. Группа, обворовавшая склады, только на днях сообщила о пещере, собирались, видимо, впоследствии попользоваться казенным добром. Разрешите поэтому задать вашему сыну вопрос.

— Как же, пожалуйста, задавайте. — Отец вынул пачку «Беломорканала», ласково предложил старшему воспитателю, позабыв, что Ван-Сид не курит.

— Почему ты не сообщил о факте?

С первых слов Ван-Сид о группе, обворовавшей склады, я вспомнил наш поход по следу «испанцев» и подумал: «Неужели о пещере?» Мы позабыли о ней, вернее, не заговаривали. Да и ничего брать мы не собирались из тех припасов.

А сообщить... Это невозможно. Во-первых — донос на «испанцев»; во-вторых, вдруг они сбегут и им все это понадобится; в-третьих, никто из нас первый не предложил сообщить. Пусть лучше язык отвалится или сгниют эти припасы — их там и всего-то ничего... Но что же мне говорить сейчас? Можно бы правду сказать: забыли, не могли сообщить. А если Бэркэн и Дува не сознались? Ведь не так легко доказать, что пещеру видели мы: по следу «испанцев» прошло потом столько ребят. Наверняка кто-нибудь из них был в пещере... А если Бэркэн и Дува сознались?..

— Я жду.

— Не видел, — сказал я, вдруг почувствовав в себе упрямство, похожее на злость, на обиду за этот стыдный допрос.

— Что ты не видел?

— Ничего.

— А твои товарищи признались.

Я глянул на Ван-Сиду. Он часто стучал карандашиком, на носу у него выступили капельки пота, он напрягал, пучил глаза, пугая меня ими. Я понял: он очень хочет, чтобы я признался, потому что Бэркэн и Дува, наверное, ничего ему не сказали.

— Ну? — спросил Ван-Сид.

— Не видел.

Ван-Сид вскочил, грохнул кулаком о стол, шагнул ко мне.

— Врешь! Я тебя заставляю!.. Говори!

В одно мгновение я поднырнул под протянутую руку Ван-Сиду, которой он хотел остановить меня, схватил у порога пальто и шапку, выскочил на улицу. Бросился через лес под гору, лишь бы скорее и дальше убежать от дома.

На повороте у больницы услышал — кто-то гонит-ся позади. Припустил изо всей силы.

— Подожди, дура!

Узнал голос Бэркэна и все равно бежал вниз, потому что не мог, не хотел остановиться. Показалась лесопилка со штабелями бревен и теса, с опилками, втоптанного в снег. Юркнул за штабель колотой клепки, пролез под плахами, присел на чурбак в углу тесового штабеля. Минуту было тихо, а потом застучали доски и сверху спрыгнули Бэркэн и Дува. Отдышались, вместе помолчали. Трещала на Кутиме лед, ветер пылил опилками.

— Ты почему так бегаешь?

— Ван-Сид допрашивал...

— Знаем. В окошко видели. Потом ты убежал,

— Я не сказал Ван-Сиду.

Бэркэн засмеялся, ткнул меня кулаком в плечо, глянул под мою шапку.

— Прабильна делал!

— Прабильна, — подтвердил Дува. — Мы не сказали. Он кричал много, пугал. Мы не хотели испугаться. Мы шамана не боимся. Ван-Сид сам говорит: не надо шамана пугаться.

И они, значит, не сказали. Я угадал, я знал, что они не скажут. Но, может быть, надо было сказать? Ведь припасы казенные, а «испанцев» все равно арестовали? Ван-Сид прав, наверное: по закону полага-лось сказать о пещере.

— Может, надо было давно сказать? — спросил я Бэркэна. — Почему ты не сказал?

— Забыл.

— А ты?

— Забыл, — честно тряхнул головой Дува.

— И я забыл. Мы хотели забыть, да?

Бэркэн пододвинулся ко мне, положил руку на мое колено.

— Тебя папа бить будет?

Этого я не знал. Отец никогда меня не бил, но теперь за пляску с шаманом, за пещеру... Он догадался, конечно, что я все знаю о припасах, вру Ван-Сиду. Пусть поколотит, если захочет. Виноват — переживу как-нибудь. Но почему он сам так боится старшего воспитателя? На улице, кланяясь, руку жмет, кивает каждому его слову! И дома, когда пришел Ван-Сид, терялся и суеился так, будто это его допрашивали. Отец вроде не из трусливых людей: он казаком был на Амуре, воевал, первым председателем сельсовета работал, потом на Север завербовался... Пахал, сеял, саблей орудовал, теперь бухгалтерит, и все у него получается, он человек умелый. Имеются, конечно, у него разные слабости. Например, ездил по путевке на курорт, но дальше Николаевска не уехал: в ресторане задержался. Мать ругала, заведующий культбазой выговор записал. Отец спокойно выдержал эти неприятности, улыбался даже. А вот Ван-Сиду боится... И другие почему-то побаиваются Ван-Сиду, очень ласково с ним говорят.

— Боишься папу?

— Нет.

— Ночуй интернате, а?

— Сейчас что будем делать?

Бэркэн задумался, расчерчивая опилки острой щепкой. Непросто было придумать занятие — такое, чтобы позабыть Ван-Сиду, оставить все «на потом»: как-нибудь уладится, главное — не думать об этом; может быть, случится что-нибудь очень важное и взрослые позабудут про нас.

— Старичок Розов болеет, — сказал Дува.

— Пошли к этиркэну, — вскочил я. — Спрячемся пока у него.

— Амаку посмотрим, — согласился Бэркэн.

К музею подошли со стороны леса, глянули из-за угла на дверь, пригнувшись, побежали мимо окошек друг за другом, и, когда были на крыльце, дверь открылась. Из нее вышли Лия Матвеевна и отличница Людка Коптяева.

— Вы куда, ребята? — спросила Лия Матвеевна.

— Дедушку проведать, — сказал я.

— Это хорошо, ребята, идите.

Мы посторонились, учительница осторожно, как слепая, начала спускаться по ступенькам крыльца, а Людка так осмотрела нас, будто мы челюскинцы или медвежьими шкурами обросли. Она, конечно, думала, что только отличницы способны навещать больных, чтобы потом их ставили в пример. Бэркэн по-

казал Людке кулак, я дурачки усмехнулся, Дува шмыгнул изо всей силы носом. Коптяева пустилась догонять Лию Матвеевну.

- Училка любит старичка,— сказал Дува.
- Жениться хочет,— мигнул мне Бэркэн.
- Откуда знаешь?
- Колобкова сказала уборщице.
- Подслушал?
- Что ты! — удивился Бэркэн. — Я так... Это... Не-чаянно.

Дверь открылась, из нее выглянул дедушка Розов в белой шерстяной шапочке, с шарфом на шее.

— Ребятки, почему не входите? Мимо окна прошмыгнули и как провалились. Жду-пожду. Дай, думаю, выгляну. Я ведь все вижу, все слышу.

Дедушка Розов промелькал расшитыми оленьими тапочками — олочами к своему креслу возле стола, пригласил рукой нас, а когда мы разделись, спросил:

- Музей смотреть?
- Будем,— сказал я.
- Буду,— буркнул Дува.
- Проведать тебя пришли,— вдруг приблизился к старику и ткнул в него пальцем Бэркэн.

Розов захохотал длинно и негромко, легонько покрутил головой.

— Молодцы. Спасибо. Вот вы и проведали. А теперь смотрите, если хочется.

Мы прошли в другую комнату и очутились в ином, лишь в сказках существующем мире, среди застывших животных, растений, камней.

Огромный бурый медведь, широко шагнув, занемел навсегда, глядя на нас коричневыми стеклянными глазами. Когда Розов убил его и сделал это чучело, звенки-старички обиделись, думали, что Розов оскорбил эксэри — бога, хотели забрать амаку, в тайгу отпустить: а то рассердится на людей хозяин гор и тайги, не даст им пушного зверя, напустит мор на оленьи стада. Шаманы старикам так говорили. Трудно пришлось тогда Розову. Но он хитрый, смекалистый. Сказал звенкам, что у медведя он взял только шкуру — душу выпустил на свободу, и она сделалась новым, еще более могучим медведем.

Тихо подошел старик, спросил:

— А это не вы воришкам брагу доставили?

Бэркэн промолчал, Дува быстро закрутил головой.

— Они едва опять не сбежали. Перепугали тетку Марфу.

- Они не воришки,— сказал я.
- Понимаю: герои.

Дедушка Розов приблизился к большой карте «Охотское побережье», ткнул пальцем в узкий залив ниже Шантарских островов.

— Здесь мы живем.— Он повел пальцем вправо, остановил его в устье Амура.— А здесь город Николаевск. Смотрите теперь, какое между этими точками расстояние. Если по прямой линии, километров двести пятьдесят. Но на пути хребты, тайга, дороги никакой нет. Если по берегу,— палец начал выписывать извилистую, взлетающую и падающую линию,— вся тысяча наберется. Дороги опять же никакой. Теперь вопрос к вам: могли бы они добраться до Николаевска?

Я смотрел на карту, она была вся в зеленых пятнах тайги, в коричневых полосах гор, с искромсанными берегами, заливами, мысами. Она была запутанная, страшно непонятная. В ней как-то неестественно перевернуты море и земля. Я ничего не мог сказать, ждал — может быть, выскажутся мои друзья.

— Могли, однако,— тихо вымолвил Дува.

Розов длинно, легонько рассмеялся, боясь растрезожить свое больное горло, сел глубоко в медвежье кресло.

— Только в сказке, ребятки.

— Они сильные,— не согласился Бэркэн.

— Понимаю: вы не можете подумать о них плохо — в Испанию бежали. И я не думаю плохо. Но хочу сказать вам, а вы запомните. Любое дело надо делать хорошо. И обязательно думать надо. Если бы они подумали, не было бы нам сейчас так печально, стыдно... И еще смешно. Не вам, а мне. Подумаю о них — и хихикаю потихоньку: вот учудили!

— Они хорошие,— сказал я и едва не заплакал: сделалось жаль ребят, их смелости, риска. Оказывается, над ними можно смеяться. Да если бы это сказал не розовый старик...

— Хорошие, согласен. Бывает и так: дурачки, а хорошие.

— Их судья заберет? — спросил Дува.

Розов встал, прошагал до двери, вернулся, остановился напротив нас, потрогал бороденку.

— Не отдадим, а?

— Не надо,— кивнул Дува.

— Договорились. А вы, ребятки, не ходите к ним, никого не слушайте: навредить можете своим героям. Надо жалеть их. Согласны?

Поднялись разом, почувствовали, что пора уходить, вытянулись перед старичком.

— Ну, давайте ваши руки.

Провел до двери, постоял на крыльце, глядя нам вслед.

Мы пошли по улице, потом, не сговариваясь, свернули к интернату: больше идти нам было некуда. В столовой Бэркэн и Дува получили обед на троих — кого-то они еще называли, чтобы получить для меня порцию, — и мы съели суп, кашу, компот из сухофруктов.

По длинному коридору, крадучись, пробрались в комнату, где жили Бэркэн и Дува.

— Как будут идти,— сказал Бэркэн, намекая на Ван-Сиду и воспитательницу Колобкову, — ты прыгай сюда.— Он приподнял край одеяла, показал пальцем под свою кровать.

— Ладно.

Под кровать сунули мое пальто и шапку.

Бэркэн достал краски — те, подаренные за минутой, принес в стаканчике воды. И вот синяя широкая полоса — море. Сверху голубизна, белые пятна — небо, облака. Коричневые сопки, зеленая тайга. Яркий катерок на воде. Желтый берег. Это наш берег, наши сопки, наш залив. И катер наш — «Тугур». Все ярче, интереснее, чем в жизни.

Мне хочется поцеловать Бэркэна. А он сопит себе, ничуть не задается. И рисунки не собирает: нарисует — отдаст, кто попросит. Он, наверное, родился художником.

На ужин я не пошел: мне принесли хлеба с маслом, кусок вареной кеты, на третье выпил кружку кипяченой воды из бачка.

Спать легли пораньше, чтобы до обхода мне спрятаться под одеяло.

И дежурный не заметил на узенькой кровати Бэркэна второго человека.

Я хорошо спал. В темноте поздней ночью меня кто-то разбудил. Это был отец. Я не испугался, я еще спал, когда он усадил меня на табуретку и принялся одевать. Одевал долго, что-то наговаривал грубовато, но ласково, потом достал из-под кровати пальто, шапку. Сказал, держа за руку, подталкивая к двери:

— Держись, байе. Мужикам держаться надо.

Четвертый час длился суд. В тесном школьном клубе собрался весь поселок, пустили старшекласников, и было там так тесно и душно, что в щели оконных рам струился белый пар. Из клуба никто не выходил, и туда никого не пускала тетя Марфа. Она то пряталась и слушала, как идет суд, то появлялась на ступеньках крыльца и отпугивала нас громкими словами и берданкой.

Мы, конечно, не уходили. Мы не могли уйти в такой день — это все равно, что оставить «испанцев» в беде. Только тетя Марфа скрывалась за дверью, мы припадали ко всем трем окнам клуба, отыскивали незамерзшие уголки в стеклах, продували пятнышки величиной с глазок. Толкались, отсчитывая минуты — кому сколько смотреть, передавали услышанные слова, кто что делает на суде.

Клок прилип к самому большому чистому пятну, греет нос в теплом воздухе, шипит:

— Колька встал. «Не признаю», — говорит. Зеленец встал. «Не признаю», — говорит. Гиравуль...

Бэркэн отталкивает его, расплющивает на стекле свой нос.

— Сидят. Вот вруша.

Я нашел узкую запотевшую щель, присмотрелся. И в какой уже раз увидел часть задымленного зала, скамейку подсудимых, прокурора справа, защитника слева, а на сцене большого рыжеволосого судью. «Как сивуч», — сказал о нем Бэркэн. Из красного уголка вызывали свидетелей: сторожа Иванова, Никиту Ямского, Ван-Сида, Колобкову, дедушку Розова. Больше других говорили старший воспитатель и дедушка Розов, горячились, вытирались носовыми платками, будто важные речи на школьном собрании произносили. Вот опять появился Розов. Я приложил к щели ухо.

— Я все сказал, граждане судьи. Мне кажется, дело ясное... Он заговорил тише, быстрее, трясая маленькой рукой, и рыжий судья отгородился ладошкой. К Розову подступил тети-Марфин муж с берданкой, проводил старика в красный уголок.

Взял слово прокурор, лысый маленький человечек... Взял слово защитник, тощий седой человечек... Взял слово судья. Нет, он сидя сказал:

— Ваше последнее слово, подсудимый Нечаев.

Колька поднялся, опустил руки, как после большой усталости, рубашка у него была мятая, нависала на брюки, потому что брюки были без ремня. Он говорил негромко — я не поймал ни одного слова, — но под конец кивнул головой. Наверное, признал себя виновным.

Встал Володька Зеленец.

— За воровство виноват, — сказал звонко, четко. — Другое не признаю. — И сел.

Гиравуль поднялся, мотнул головой, отказываясь от слова, повернулся к Нечаеву, выговорил что-то — наверное, согласился с тем, что сказал Колька.

— Суд удаляется на совещание!

Поднялись, закурили, сошлись поговорить прокурор и защитник. В зале возник шум, люди задвигались, но сдержанно, как виноватые, и никто почти не вышел на улицу. Появился за дверью лишь Гутчинсон, потный, лохматый, без шапки.

— Как баня настоящий, — сказал тетке Марфе, пососал трубку и нырнул в белый пар.

Потолкавшись, мы опять облепили стекла. В клубе затихал народ, рассаживался, будто тонул в мутной воде — так позакружили мужики. Из-за кулис по-

явился заведующий культбазой и, когда сделалось до жути мертво, скомандовал:

— Встать! Суд идет!

К столу вышел судья, поднес к очкам бумагу.

Говорить он начал громко, но голос его сразу ослаб, и видно было лишь, как шевелятся его губы, слегка вздрагивает рука, держащая бумагу.

Я прижал к щели ухо, прикрыл другое ухо ладонью и все равно, кроме бормотания, ничего не услышал. Мне хотелось нажать головой на стекло, продавить слегка — может, оно совсем беззвучно упадет на подоконник, и я просуну в помещение голову. Мне надо слышать, обязательно знать, что они там присудили «испанцам». Они ведь ничего не понимают, они могут их засудить. Надо крикнуть, остановить судью!.. Почему он такой спокойный? Ему, конечно, их не жалко, главное для него — склад обворовали, сторож пальцы обморозил... Почему молчит дедушка Розов? Ведь он обещал не отдавать ребят. Закона боится? Зато мы не боимся! Выпустят их — окружим, отобьем и в тайгу убежим. Еще раз склады ограбим и... Раздался треск, звон стекла — и моя голова окунулась в дымное тепло. Я зажмурился, надеясь, что никто в клубе не услышал, но чья-то рука сильно толкнула меня в шапку. Мальчишки бросились от окон, увязая в снегу. Выдавленное стекло кто-то загородил изнутри спиной, а из угла вывернулась и бежала ко мне, размахивая берданкой, как палкой, тетя Марфа. Я прыгнул в сугроб, переполз его, скатился на другую сторону, побежал к лиственницам. Там ожидали меня друзья.

— Все испортил, — психовал Клок.

— Ошибку делал, — сказал Бэркэн.

— Все равно не слышно.

— Вон, смотри! — выглянув из-за деревьев, крикнул Дува.

Вместе с паром, шумом, голосами на улицу вываливалась толпа. Полушубки, дохи, ватники, пальто. Девчонки в цветных платках, Гутчинсон без шапки, дедушка Розов, директор школы, тощая Колобкова... Отходили немного, останавливались. Мужики закуривали, женщины, уставшие от молчания, крикливо, но весело разговаривали. И вообще всем было весело, как на гулянке.

— Не взял, однако, судья, — сказал Дува.

— Радуются что-то.

И вот... Толпа расступилась, и из двери вышли Нечаев, Зеленец, Гиравуль и Никита. Их никто не конвоировал, а тетя Марфа, притулив к стене берданку, подбежала к Кольке Нечаеву, повисла у него на плечах, начала целовать в обе щеки. Мужики жали руки Зеленцу, Гиравулю. Никиту схватила и отвела в сторонку мать, запричитав над ним, будто он с того света вернулся. Девчонки толкались возле «испанцев». Алка Замахнина, моя сестрица. Кто-то вдел Кольке в петлю ватника красный, яркий цветок. Раздались аплодисменты. Можно было подумать, что жители нашего поселка встречают героев, сражавшихся в Интербригаде.

К ребятам пробился выпивший Елькин — бородастый одинокий мужик, с которым дружили и у которого жили летом Нечаев и Зеленец, — взял их под руки, крикнул Гутчинсону: «Бери своего!» Тот потащил за собой Гиравуля. Гурьбой они раздвинули толпу, пошли, сцепившись, по улице к дому Елькина.

Девчонки увязались следом, прося отпустить ребят, хватили Елькина и Гутчинсона за полы расстегнутых оленьих дошек, визжали. Нервная Алка плакала. Но мужики крутили головами, упрямо волокли ребят. Потом Гутчинсон погрозил девчонкам кула-

ком, и вдвоем они втолкнули затурканных, вялых, улыбающихся «испанцев» в низенький, крытый корьем домишко Елькина.

— Бражку пить будут, — сказал Клок. — Елькин два бочонка заготовил.

— Откуда знаешь?

— Сам хвастался.

Дедушка Розов шел расклевываясь, весь расхристаный, на одном унте развязалась и волочилась кожаная тесемка. Он держал в опущенной руке перчатки, сдвинул со лба берет, посмеивался сам себе: впервые был похож на подвыпившего мужичка. И лицо у него пылало розовостью, как после парной. Мы побежали к нему, окружили.

— Как, э?

— Как, дедушка?

— Не забрал судья?

Розов развел широко руки, удивляясь.

— Да вы ничего не знаете, я вижу?

— Не знаем.

— Бедняжки. Главным-то и не сказали. Не пустили на суд и не сказали.

— Ну, дедушка?

— Хорошо все, ребятки. Могло хуже быть. А это все-таки хорошо. Условно всем. Нечаеву четыре года, Зеленцу три, Гиравулю два.

— А Никите?

— Этому ничего. Сказали, чтоб батька дома покрепче выпорол.

— Условно — это как? — спросил Дува. — Это дома сидеть надо?

— Нет, учиться будут, как раньше. Если еще что-нибудь натворят, прощенья не будет. Все учтут. По-настоящему, ребятки?

Он каждого тронул за шапку, за воротник, щелкнул по носу, потолкал, будто проверяя, крепко ли стоим на ногах, и все улыбался той улыбкой, с которой вышел из двери клуба.

К нему приблизилась Лия Матвеевна, сказала что-то негромко, для него, застегнула дошку на деревянные палочки-пуговицы, поправила берет, присела и завязала тесемки на унте, заставила надеть перчатки. Взяла под руку — он махнул нам, кивком указав на Лию Матвеевну: «Строгая начальница», — и вместе, маленькие, сзади похожие на звенков, направились к музею.

— Как тайгу ходит? — покачал головой Бэркэн.

Да, удивительно. Дедушка Розов был отличный охотник, таежник, рыбак; мог пройти по сопкам, малярам многие километры; никогда из тайги не возвращался больным, даже усталым. И в то же время он был каким-то хрупким, нежным; дома прибивал, кутался; всем сочувствовал, всем помогал, но если кто-нибудь жалел его, страшно сердился, мог выгнать из дома. Казалось, в одном маленьком старике живет много разных людей и все они хорошо дружат между собой.

— К Елькину идем, — сказал Дува.

На поленице у домика Елькина сидели девочки, ожидали своих дружков (дверь, конечно, была заперта изнутри).

Стало ясно: делать нам здесь нечего. Отпустил Елькин ребят — на них набросятся эти вот, что на поленице грустят. Нам не удастся поговорить с «испанцами», спросить кое о чем, просто пройти с ними по улице. Всегда так: мы нужны в трудное время — к баньке пробраться, записки передать... Надо куда-то идти, чтобы не расстраиваться. Надо что-то придумать, потому что домой никому не хочется: дома в такой день ничем не сможешь заняться.

— Куда, а? — спросил я.

— Куда? — повторил Дува.

Бэркэн помолчал, потер кулаком лоб.

— Черканы проверять, — сказал он. — Самый пучий дело.

Спорить не стали. Спорить — значит что-то более интересное предлагать. Я ничего не придумал, Дува тоже. Разошлись по домам, взяли пыжи, кое-какую еду — кто что смог, — встретились за конюшней на своей лыжне и побежали в Черный распадок. У нас с Бэркэном там черканы на горностая, Дува просто так, за компанию.

Лыжня трудная, тянется поверх стланиковых кустов, приваленных снегом, лыжи ныряют, укачаться можно. Зато погода хорошая: иней облепил лиственницы, елки, белым мехом окутал каждый кустик, любую веточку — все потеряло очертания, расплылось в бескрайней белизне. Да еще солнце холодное светит. Не успеваешь сморгнуть слезы, и можно смотреть лишь на свои лыжи или в спину идущему впереди.

Скатываемся по склону сопки, попадаем в синие сумерки. Это Черный распадок. Назван он так потому, что плотно зарос ольховником и в нем всегда тихо и сумеречно. По самому низу течет ручей.

Отдыхаем в распадке, Бэркэн курит. Потом скользим к противоположному склону, медленно поднимаемся по едва видимой лыжне. Весь снег здесь исписан следами горностаев.

Вот первый черкан — деревянная рамка с натянутым луком и молоточком на стержне. Черкан стоит у входа в норку горностая. Стоит взведенный. Значит, зверек почувствовал опасность или... Да, он перехитрил нас: прокопал снег сбоку, обошел черкан, сходил на охоту, вернулся и залег спать.

«Старый, хитрый», — с усмешкой крутнул головой Бэркэн, поднял черкан, спустил молоточек.

Надо ставить к другой норке, где живет непуганый горностай, глупый, который и не подумает прокапывать другой выход, а сунет голову в ловушку черкана.

Возле норки под стланиковой веткой — ее почти не видно, я бы и не заметил — Бэркэн настораживает черкан, втыкая концы рамки в снег. Ни одна снежинка не упала с ветки, остался нетронутым иней на кромках норки.

Черкан поставлен так, что зверек, глянув изнутри, не заметит ничего, кроме тоненькой, как соломинка, палочки, поддерживающей молоточек. Соломинку может принести ветер...

Даже Дува слегка прищелкнул языком, видя такую работу. А он и сам мастерил черканы, умел охотиться на всех пушных зверей.

— Попадется... — шепотом сказал я.

Бэркэн зыркнул на меня, слегка сплюнул, отвернулся и замер на минуту, будто молясь деревьям. Я прикусил язык, мне надо бы совсем его откусить. Я забываю, что на охоте нельзя говорить, и еще больше запрещается хвастаться, быть самоуверенным: рассердится амака, хозяин тайги, и звери не пойдут в ловушки, поставленные человеком. Кто этого не знает? Только глупые люди болтают на охоте, но они и возвращаются с пустыми руками.

Наказывая нас, Бэркэн один зашагал вперед. Для него мы сделались немножко «нечистыми»: я — потому что сказал слово, Дува — прищелкнул языком.

Оленья дошка Бэркэна мелькала среди деревьев; наклонясь вперед, он разглядывал следы и похож был на маленького старичка, на шамана, пришедшего на свидание с лесными духами.

Медленно двигались за ним. Нам сделалось скучно. Потом Дува шепнул мне, показав палкой на Бэркэна:

— Строгий... — и засмеялся без голоса.

Остановились возле поваленной ели, смахнули со ствола снег, сели, не снимая лыж. Замерли в ледяной тишине. Где-то пугливо, жалобно пискнула мышь, где-то далеко прострочил дерево дятел; а вот с еловой лапы соснул снег — развеялся в воздухе, засверкал, запорошил нас сахарной пылью. В распадке послышались тупые редкие шлепки по твердому снегу: неужели косоного кто спугнул?.. И опять ледяная, бескрайняя тишина, и кажется, в сопках, тайге, тундре все вымерло, превратилось в лед, снег... Но нет, прислушайся: где-то тоненько прохотала сойка.

— Смотри, — сказал Дува едва внятно, слегка повернул меня.

Совсем с другой стороны к нам приближался Бэркэн. Скользил неслышно, будто парил над снегом, оттопырив локти. С ремня на поясе свешивался горноста́й. Был он длинный, белый, с черными кисточками на ушах, кончике хвоста, и от каждого шага Бэркэна дергался, как бы вспрыгивал, пробуя взлезть Бэркэну на грудь.

Бэркэн прошел мимо нас, с легким шипением лыж заскользил по склону в распадок. Мы стали на его лыжню, оттолкнулись палками. Возле ручья притормозили. Бэркэн сидел на валежине, расстегнув дощечку, положив рядом горноста́й, и улыбался, подсмеиваясь над нами: «Смотрите добычу, радуйтесь!» Потом, закуривая, сказал:

— Костер надо.

Мы послушно наломали и наносили ворох сушняка, подложили бересты, разожгли костер. Дува вынул из сумки котелок, зачерпнул воды, приладил над огнем. Разложил на валежине припасы: юколу, хлеб, вареное мясо, копченую корюшку.

— Почему молчите? Язык скушали? — спросил, по-стариковски усмехаясь, Бэркэн.

— Амака обидится, — ответил я.

Бэркэн рассмеялся, удивляясь моим словам, показывая на меня пальцем.

— Смешной! Тут зайцы живут. Зачем нам зайцы?

Зайцы нам действительно ни к чему, и мы с Дувой тоже засмеялись.

— Кушать давай, — сказал Бэркэн.

Юколу подогрели на огне, она сделалась мягкой, сочной, заплыва жиром. Съели по большому куску. Мясо поджарили на углях, разрезали поровну. Корюшкой закусили.

В котелке вскипела вода. Бэркэн отломил плиточного чая, бросил в котелок. Вода сделалась коричневой.

Чай был звенкийский. Такой пьют охотники, проводники. От такого не замерзнешь в любой мороз, такой силу, смелость дает. Мы пьем его, как полагаются, маленькими глоточками, вдыхаем горячий пар — делаемся сильными, смелыми. Говорим об охоте, рыбалке, оленях, собаках.

Мы одни. Мы ушли из поселка, где о нас позабыли. Мы не нужны теперь даже «испанцам», которых любим, — они не вспомнили о нас после суда. Они с девчонками уйдут на вечеринку. Нам и не надо. Нам втроем хорошо. Люди такие: когда им плохо — ласковые, когда счастливые — о себе только думают.

Дува прихлебывает чай, рассказывает:

— Ну, это как... акинми... братом был на охоте. Ну, это... уриkit... стоянку делали. Амака приходил. Сатымар — большой величины. Главный. Ну, это...

Долго, трудно, но очень понятно Дува рассказывает о том, как он с братом охотился на белку, и к ним в зимовье пришел медведь-шатун. Огромный, страшный, злой. Всю ночь спать не давал. Утром

брат вышел к сатымару, бросил ему юколы, мяса оленьего, попросил не мешать охотникам, поклонился хозяину тайги, сказал: «Мы тебе плохого не делали, мы тебя уважаем, помоги нам охотиться». Сатымар съел мясо и рыбу, поворчал и ушел. Больше не возвращался. Полюбил Дуву и его брата: они много набили белок. В тот год Дува купил себе коньки и дробовое ружье.

Мы подбрасывали в костер сушняка, еще раз заварили чай, грызли сахар.

Я рассказал, как плыл по Амуру на пароходе «Рыбак». Пароход старый, у него одно большое колесо на корме. Оно шлепало плицами по воде, ухало, бурлило, было огромное, но пароход двигался медленно и весь дрожал. Ехать все-таки мне нравилось, потому что я подружился с ребятами, а когда пароход приставал к поселкам, на берегу можно было купить вкусную еду, даже конфеты.

До темноты мы жгли костер, потом потушили и увидели звезды. Под звездами шли домой. Звезды мерцали в снегу, на деревьях. От звезд светился наш горноста́й — белый, пушистый, крупный. Мы подарим его дедушке Розову, пусть поставит у себя в музее. Такого еще никто не видел. Такого нельзя на воронки.

Было так хорошо, что я сочинил четыре строчки:

Снега белы, как горноста́й,
А горноста́й, как снег.
И пусть сегодня я устал,
Счастлив мой лыжный бег.

II

С утра на первой мари начал собираться народ. Туда же, пыля снегом, промчались олени и собачьи упряжки. По всему поселку были вывешены плакаты, ярко краснели флаги на чистом снегу первой мари.

Сегодня праздник народов Севера.

Я выскочил из дома, когда по улице с тьяканьем катила собачья упряжка, дождался ее на повороте, прыгнул в сани. Каюр улыбнулся мне, похвалив за ловкость, мы съехали под гору, пронеслись сквозь лиственный лесок, и каюр затормозил палкой — остолом, чтобы не врезаться в толпу.

Здесь собрался весь поселок, школа, интернат. Приехали пастухи из стада, пришли древние старики, сидели в сторонке на медвежьих шкурах, курили длинные трубки. На трибуне, сколоченной из новеньких досок, стояли заведующий культбазой, директор школы, председатель сельсовета, Боровиков; у каждого на рукаве широкая красная повязка. Немного в стороне, старательно вытоптав снег, первоклашки, взявшись за руки, водили хоровод и громко пели вместе с Колобковой.

Верхом на олене приехал Гутчинсон, притормозил, упершись ступнями ног в снег. Его окружили, спрашивая, почему опоздал, почему задерживает праздник. Гутчинсон хрипло говорил, смеясь, взял у кого-то трубку, сильно пыхнул дымом. Ему подали испитый лист бумаги, наверное, распорядок дня, он начал читать, вода темным, подколоченным пальцем. В это время олень, мотнув раз-другой рогами, шагнул вперед, вышел из-под седока, затрусил в сторону, к оленьей упряжке, а Гутчинсон еще минуту стоял, расставив ноги, думая, что под ним олень. Бурный хохот заставил его очнуться, он ругнул оленя: «Дурак орон, свинья орон!» — и пошел к трибуне.

— Товарищи! — резко сказал, опершись на руки, заведующий культбазой. — Сегодня у нас большое, радостное событие — праздник братства и дружбы, смотр наших достижений в труде, культуре, учебе.

Он говорил долго, складно, будто книгу читал; под конец снял шапку, ветер бросил ему на лоб длинные желтоватые волосы, и сильно заплоскались флаги. Потом выступали директор школы, председатель сельсовета, Гутчинсон. Последним дали слово передовому пастуху. Он не хотел подниматься на трибуну, а когда его втащили, долго не мог ничего сказать, хотя и держал в руках бумажку. Ему подсказывали, подбадривали. Пастух выговорил по-русски: «Наша праздник карошый...» — ветер вырвал у него из руки бумажку, он бросился за ней, и выступление закончилось общим смехом. Затем торжественно вручили премии. Каждый ударник поднимался на трибуну, жал руку начальникам, благодарил.

Младшие школьники устали от митинга, начали шуметь, бегать — хорошо что погода была теплая, по-настоящему мартовская, солнце пылало во все небо, снег покрывался влажной, сверкающей корочкой, — и закричали «ура», захлопали рукавицами, когда завкультбазой, закрыв митинг, приказал:

— Поднять флаг соревнований!

По шесту поднялся, заструился вверх шелковый вымпел. Гонщики побежали к оленьим упряжкам, у каждого на груди и спине был номер, к каждой нарте прикреплен флажок. Туда же направился Ван-Сид Боровиков с красной повязкой на рукаве, начал распоряжаться, покрикивать. Вычитал из списка первые четыре упряжки.

Я пошел искать Бэркэна. Как и думал, нашел его возле нарты Гиравуля. Вдвоем они подправляли алыки на шеях оленей, проверяли ремни. Гиравуль, смеясь, повернулся ко мне:

— Хочешь кататься?

Он ошупал коленные суставы оленей, подогнув им ноги, ударил одного и другого резко по спине, отчего один вздрогнул, а другой присел.

— Слабый этот зверь, — засмеялся опять. — Упадет, однако, а?

— Не знаю.

— Падать будет — отвяжи. Другой сильный угучак¹, — сказал Бэркэн.

— Чик сделаю, — показал Гиравуль на чехол с ножом. — Мясо сделаю.

Подбежал Ван-Сид, красный, в распахнутой дохе, с фотоаппаратом, планшетом, с бумагой и карандашом в руке, крикнул, еще больше краснея:

— Почему не на старте?

— Проверка.

— Раньше надо было. На старт!

Ван-Сид побежал к дороге, где выстраивались упряжки, а Гиравуль нежно помял оленьям морды, будто внушив им что-то, сел на узенькую гоночную нарту с красиво гнутыми полозьями, скрепленную новенькими сыромятными ремнями, она упруго скрипнула, слегка раздвинув полозья, ударил вожжей вожака, выехал на дорогу, стал вровень с тремя упряжками.

— Все равно победит, — сказал я, очень желая Гиравулю занять первое место: ему нельзя не победить, им всем, «испанцам», надо сегодня победить.

— Зачем так?.. — обиделся Бэркэн.

Я опять позабыл, что не надо загадывать, не надо обижать добрых духов, подсказывать им, они сами все знают, сами решат, но сейчас мое желание было сильнее невидимых духов, и я упрямо повторил:

— Победит.

Бэркэн не ответил, не успел ответить, потому что Ван-Сид взмахнул флажком, кояры хлестнули оленей, дико вскрикнули, и четыре упряжки мгновенно исчезли в облаке снежной пыли. Вскрапывание оленей, топот копыт, щелканье ремней, голоса. Лишь в некотором отдалении упряжки обозначались четче, вытянувшись на дороге, а еще через несколько минут неслись как по тугому белому полотнищу: немо, в мерцании света и воздуха; потом скрылись в перелеске, разделяющем первую и вторую мари.

Когда упряжки, совсем уже крошечные, обозначились по ту сторону перелеска, Бэркэн вгляделся, прикрыв рукавицей глаза, щелкнул языком.

— Что?

— Второй идет!

Скачки до середины третьей мари, всего пятнадцать километров, туда и обратно. Полчаса, не меньше, ждать. Мы пошли к лыжникам — они скапливались на своем старте. Там уже бегал, командовал с флажком в руке Ван-Сид.

На лыжне стояли Колька Нечаев и Володька Зеленец. Какие у них были свитера! Толстошерстные, с отложными воротниками; у Кольки — красный с зеленой полосой на груди, у Володьки — зеленый с красной полосой. В городе Николаевске наверняка приобрели, да не в магазине — на толкучке, где, говорят, можно купить чуть ли не любую вещь, существующую в мире. И брюки у Нечаева и Зеленца трикотажные, спортивные, и лыжи с металлическими креплениями. Кто за ними угонится, у кого хватит смелости? Вон двое на охотничьих, камусных лыжах стоят, а один в телогрейке собрался соревноваться.

За Колькой и Володькой пристроился Никита Ям-сольский. Они и его приодели. Не такой он, конечно, красивый, и неуклюжий, и сутуловатый, в рукавицах ватных, но все равно лучше других лыжников. «Испанцы» приодели Никиту, чтобы подбодрить, и рядом с собой поставили, чтобы держать на примете, подгонять во время гонки — им нельзя не победить: их временно исключили из комсомола, а Никиту из пионеров, и Ван-Сид на каждом собрании называет их «наши герои».

— Победят, — сказал Бэркэн, с радостью глядя на них, улыбаясь. Он считал, наверное, что русским таежные духи помешать не могут: у них свой бог, да еще бог-человек, — потому и выговорил вслух слово, которое даже в памяти держать нельзя.

— Давай поспорим, — протянул я руку, — кто первый придет: Колька или Володька?

— Давай.

— Ты думаешь, кто?

— Колька.

— Я — Володька. На что спорим?

— Как это... На чего кочешь.

— Ладно.

Хлопнули ладонями, я начал припоминать, что может взять у меня Бэркэн, если проиграю. Ничего ценного не припомнил. Зато уж у него я наконец выпрошу собаку, черную лайку Бурту.

Подошли к «испанцам», чтобы они увидели, как мы хотим им успеха, как будем переживать за них, и просто улыбнуться, кивнуть, посмотреть сбоку на их лыжи, ботинки, крепления: может, что-нибудь не доглядели, лучше исправить здесь, чем на лыжне.

Нечаев и Зеленец поздоровались, кивнули нам:

— Порядочек будет!

Колька спросил:

— Как Гиравуль?

— Веселый, — сказал я.

— Привет ему!

Нас и других ребятшек оттеснил Ван-Сид, крикнул: «Приготовиться!» — и взмахнул флажком.

Лыжники скопом бросились к лыжне, потолкались

¹ Угучак — ездовой олень.

и тут же выстроились в длинную пеструю цепочку. Первым шел Володька, за ним Никита, потом Колька и все другие. Лыжня круто сворачивала в лес, на пересеченную местность, и скоро втянула лыжников в березняк на склоне сопки.

У своего старта собирались девчата, окликивали друг друга, смеялись. К ним побежал Ван-Сид. А мы пошли к финишу оленьих гонок. Там уже столпился весь народ, и впереди всех стояли заведующий культбазой, директор школы. Между двумя рядами натянули длинную красную ленту. По проходу ходили дежурные с красными повязками, просили зрителей отступить назад, чтобы могли проехать упряжки. Подоспел Ван-Сид, пробился вперед. И тут из перелеска в конце первой мари выкатилась снежная пыль. Она росла, удлинялась и, наконец, вытолкнула из себя двух оленей с облачками пара над головами, с закинутыми на спины рогами. Олени бежали так, будто хотели разорвать потяг и разбежаться в стороны от дороги.

— Кто? — толкнул я Бэркэна.

— Бадма, пастух.

— А Гиравуль?

— Второй бежит.

За первой упряжкой обозначилась другая, но была какой-то узкой, длинной. «Неужели на одном олене? — подумал я. — Неужели тот «зверь» упал?»

— Один угучак, — сказал Бэркэн.

— Проиграет...

Бэркэн глянул на меня, и я понял без слов: вот ты сам виноват — зачем болтал: «победит»?

Олени приближались, видна была третья упряжка, а четвертая, отстав, только что выкатилась из перелеска, но шла быстро, настигая идущих впереди. Вот уже позади половина мари, люди замерли, перестали кашлять, даже детишки притихли. Слышались лишь тупой топот копыт, щелчки ремней, короткие выкрики каюров. Ближе, ближе... И... что это?.. Справа от передней пары оленей появилась голова третьего оленя. Выравнялась. И понемногу начала выдвигаться вперед. Вот уже виден весь олень, за ним нарта, и медленно, будто в затухающем кино, вся упряжка вышла вперед. А позади нее взрывом поднялся снег.

— Упал олень Бадма, — сказал спокойно Бэркэн.

Впереди мчался угучак Гиравуля. Голова поднята к небу, из ноздрей белые струи, рога на спине — он слепо бил копытами в дорогу, швыряя к нарте комья снега. Гиравуль пригнулся, сделавшись почти невидимым, уже не покрикивал на угучака: нарта, и седок, и олень слились в одно скачущее существо.

— Ур-ра-а! — взорвалась толпа.

Олень натянул грудью ленту, порвал. Гиравуль пролетел в вихре, шуме, криках и аплодисментах по людскому коридору. Снова вырвался на простор и затормозил остолом.

Мы подбежали первыми, я схватил руку Гиравуля, Бэркэн сел к нему на нарту. Гиравуль воткнул остол, вскочил, ударил шапкой в ноги и, поддев ладонью комок чистого снега, растер на лице. Угучак, по-собачьи вывалив язык, хватал снег губами, шерсть у него была мокрая, от спины поднимался пар.

— Молодец! Мы знали — победишь!

Гиравуль, довольный, мотал головой.

— Понимаешь — везение. Бадма неправильно делал. Надо раньше бросить оленя. Мешал олень. Потом упал.

— Победил! — сказал Бэркэн и наконец неторопливо, как старший, пожал руку Гиравулю, будто лишь сейчас узнал об этом.

Потом Гиравуля позвали к трибуне. Заведующий культбазой вручил ему приз — малокалиберку с дву-

мя пачками патронов. Мы хотели еще раз позвать руку победителю, но его плотно окружили старшекласники, и мы побежали к прилавку на козлах, где продавщица начала торговать конфетами и пряниками.

Ребятишки уже сосали леденцы разноцветные, грызли мятные, большие пряники. Я вынул рубль, Бэркэн достал горсть мелочи, сложились, стали в очередь. Ждать пришлось долго, потому что самым маленьким отпускали без очереди. Когда все-таки продавщица взвесила нам пряники и конфеты, кто-то крикнул:

— Лыжники! Лыжники!

Выбрались из очереди, побежали к лыжному финишу и не успели. Там собралась толпа, кричала, окружив гонщиков. Потом начали кого-то подбрасывать. И мы увидели... Да, мы увидели: над головами взлетает Никита в дареном синем свитере, серых спортивных штанах.

— Ура Ямскому!

— Молодец, Никита!

Понемногу подтягивались отставшие лыжники, отходили в сторонку. И совсем в стороне, под лиственницами, стояли в своих ярких одеждах Колька Нечаев и Володька Зеленец. К ним подбежала моя сестрица с Алкой Замахниной, о чем-то они все вместе заговорили. Потом девчата помогли Кольке и Володьке снять лыжи, взяли их под руки, как тяжелораненых, повели в поселок. Но говорили весело, смеялись.

— Какое место заняли? — спросил я Клока.

— Оба второе. Вместе пришли. А Никита обогнал. Во, смешно!

Да, смешно. Потому что даже рыжему понятно: никто еще в лыжных гонках не обходил Нечаева и Зеленца, они соревновались между собой, и Володька побеждал чаще. Даже в районе занимали первые места. И тут их обогнал Никита, а сами они пришли рядышком.

— Ван-Сид сказал: разберемся, — сообщил Клок.

У трибуны ждал народ. Никиту почему-то не вызывали. Заведующий культбазой, директор школы, председатель сельсовета, Ван-Сид совещались, негромко спорили. Наконец заведующий культбазой поднялся, сказал:

— Пригласите Ямского.

Толпа ожила.

— Никита!

— Ямский!

Никита шел вразвалочку, по-солидному, но был весь красный, глаза у него бегали, губы дрожали. Поднимаясь на трибуну, он едва не упал, а когда остановился перед начальством, застолбенел, как хэмэкэн — деревянный божок.

Заведующий культбазой вручил ему новенькие спортивные лыжи с кожаными ботинками, пожал руку. Никита попробовал что-то сказать, однако не смог, бегом пустился с трибуны.

Должны были вызвать Нечаева и Зеленца, но не вызвали: наверное, не знали, как разделить вторую пару лыж без ботинок. Зато маленький охотник Чочан, занявший третье место, получил новенькие коньки-снегурки.

Через некоторое время был дан старт собачьим упряжкам. И неудачно. Собаки двух упряжек сцепились, сбились клубком, визжа и грызясь. Пока их растаскивали, две других ушли далеко. Пришлось выпускать отдельно. Под конец праздника Гутчинсон вывел четыре оленьих нарты, объявил:

— Кто желающий соревноваться?

Сел на одну из нарт, посмеиваясь, подзывая руку.

— Давай, давай!

Первым вышел, расстегнув доху, размахивая снятыми рукавицами, громоздкий заведующий культбазой. Гутчинсон вскочил, подвел начальника к упряжке, стоявшей рядом со своей, радуясь, хохоча, усадил, дал в одну руку ременную вожжу, в другую — осто, хлопнул по плечу.

— Вот так надо! — сказал всем.

Из толпы выбрался дедушка Розов, его держала за рукав Лия Матвеевна, упиралась, сердилась даже. Гутчинсон побежал ему навстречу, помог освободиться, наговаривая Лии Матвеевне: «Не бойсь, не бойсь. Будет хорошо!» Ласково усадил дедушку Розова на третью нарту, погладил ладонью по меховой шапке.

— Один не хватает! Кто желающий?

К нарте направился председатель сельсовета, бывший пастух. Гутчинсон остановил его, заговорил негромко по-эвенкийски, повернулся к людям, крикнул:

— Товарищ Боровиков! Вы желающий?

Ван-Сид, стоявший впереди всех, немного попятился, пожал плечами, несмело улыбаясь, но тут же шагнул вперед. И стало ясно, заминка его — шутка, игра.

— Могу, — сказал твердо, сам уселся на нарту, взял вожжу, осто. Отдал флажок и часы председателю сельсовета, показал на стрелки. — Будет здесь — сигнал.

Упряжки рванулись, понеслись по дороге: впереди Гутчинсон, замыкающим Ван-Сид. Утонули в снежной пыли, шуме движения. Зрители опять взорвались криками, подбадривая, веселясь больше, чем при других гонках; каждый понимал: это для шутки поскакали начальники, показать, что они тоже простые люди и не боятся насмешек. Мужчины, среди которых был мой отец, договаривались: «Будем качать всех! Всем по бутылке браги!» Но вот толпа как-то разом притихла. На дороге, где вытянулись и четко обозначились упряжки, завязались вроде настоящие гонки. Ван-Сид начал стороной обходить идущих впереди. Зачем это ему? Так бы и вернулись друг за дружкой, всем бы присудили первое место. Ну, перед финишем могли немножко посоревноваться — для веселья. О!.. Ван-Сид приближается к упряжке Гутчинсона, его олени выравниваются с оленями... Но что это?! Упряжка Ван-Сиды рванулась в сторону, будто испуганная, понеслась по целине, спотыкаясь, увязая в снегу. Ван-Сид тормозит, тянет потяг... Олени как бешеные стремятся к лесу. А те три упряжки пересекли марь, скрылись в зарослях: в гонке они не заметили, наверное, беды Ван-Сиды. Вот нарта его легла набок, олени волочат ее вместе с седоком в замяти поднятого снега. Перевернувшись несколько раз, Ван-Сид высвободился, минуту, еле видимый, лежал на снегу — какая долгая минута! — потом вскочил. Олени, будто пробив стену леса, исчезли в лиственницах, и оттуда донесся сухой треск разбитой нарты.

Женщины, девочки подняли визг, запричитали, Колбкова приказывала:

— Бегите! Спасайте! Спасайте!

Но и так уже три старшеклассника, став на лыжи, бежали напрямик к Ван-Сиду, неся ему широкие камусные лыжи, а два пастуха направились к лесу искать оленей.

— Испугался? — взял меня за плечо отец, слегка потряхнул. — Вот как бывает...

— Нет... Оленей приведут?

— Если не побились. А то мясо будет... Правда, оленьки хорошие...

— Чего они так?

Отец вздохнул, стиснул мое плечо, помолчал, думая, и я понял, что он хочет мне сказать: «Большая

неприятность произошла». Но не скажет: нельзя, не положено с детишками откровенничать; думает, что не пойму как следует. Другое дело, если сам догадаюсь, он даже будет этому рад: малец сообразительный. Потому нехотя выговорил:

— Не знаю. Дикие, наверно. Или Боровиков им не понравился. — И совсем тихо, для себя: — Зачем он их погнался?..

Отец закурил, посмотрел, как медленно приближается Ван-Сид в окружении старшеклассников, как заметно прихрамывает.

— Ну, я домой, — сказал. — Что-то устал. А ты на обед?

— Ага.

(В столовой готовился для школьников общий праздничный обед.)

— Отдыхай.

Подвели Ван-Сиды, помогли снять лыжи, усадили на свободную нарту. Сразу подбежал поселковый фельдшер Николаич, стал спрашивать, произнося много тихих, ласковых слов, сунул руку под доху Ван-Сиды, ощупал плечи, потрогал колени. Ван-Сиду подали папироску, он мотнул головой. Сидел, опустив голову, часто дышал. Нос у него был расцарапан, на щеке ссадина, левая пола дохи почти оторвана, торбаса смяты в гармошку, на ушибленном колене — клочья штанины, видны теплые розовые кальсоны.

— Пройдемте, Иван Сидорович, в амбулаторию, — ласково предложил фельдшер.

Ван-Сид поднялся, Николаич нежно взял его под руку, будто для приятной прогулки, толпа расступилась, они прошли — один сухой и длинный, другой округлый и маленький. Было жутко видеть таким Ван-Сиды, лучше бы никогда не видеть его таким.

— Почему сидел? Зачем гнал? — спросил Бэркэн. Спросил не меня, не себя, не стоящих рядом людей. Невесело спросил кого-то, кто единственный и всеильный заставил Ван-Сиды сесть на нарту и погнать оленей. — Почему? — повторил Бэркэн совсем уже уныло.

— Едут! Едут!

Из перелеска в конце мари выкатился белый дым, вытягиваясь, поплыл в нашу сторону, потом возникли упряжки: первым шел Гутчинсон, вторым — заведующий культбазой, третьим — дедушка Розов. Держались плотно друг к другу, будто сцепленные.

Это сразу хорошо настроило людей: «Вот же, так мы и предполагали! Так и задумано было!» Все, кажется, позабыли о неприятном случае, он сделался не главным, просто случайностью. А самое важное, интересное — вот оно: три упряжки с тремя людьми — своими, понятными, уважаемыми. Их надо встретить, выказать добрые чувства, чтобы они знали, как их любят в поселке.

Перед финишем олени выравнивались, пошла голова к голове, выкатились на твердую широкую площадку и разом натянули красную ленту.

— Урр-ра!

— Молодцы!

— Герои!

Окружили со всех сторон, помогли подняться с нарт, увели и привязали к лиственницам оленей. Но качать, награждать бутылками с брагой не стали: все-таки переменялось настроение. Да и к заведующему культбазой сразу подбежали жена и директор школы, заговорили озабоченно, и с лица его, будто всплеском ветерка, смыло веселье. Он напустился, глядел себе в ноги, мям в руках перчатки. Потом потряхнул разлохмаченным чубом, подозвал Гутчинсона, сказал ему несколько слов — тот тоже уже не смеялся, — вместе они сели в нарту и уехали в поселок.

Мы подошли к дедушке Розову, но позвать ему руку не смогли: возле него было много взрослых, а Лия Матвеевна отстраняла всех. вытирала платочком старику лицо, завязывала тесемки шапки, застегивала дошку. Еще успевала отвечать за него, держа под руку, чтобы — чего доброго! — не вздумали качать старика. Дедушка Розов улыбался каждой морщинкой своего маленького розового лица, кивал всем на приветствия. Ему предложили стакан браги — отхлебнул глоток, замотал сокрушенно головой. Лия Матвеевна, подталкивая его, вывела из толпы, они зашагали потихоньку домой.

Справа, возле Кутима, слышались резкие щелчки малокалиберок — начались соревнования в стрельбе. Мальчишки побежали туда. Интересно все-таки. К тому же после стрельб могут выделить по одной пулке. Я посмотрел на Бэркэна, он сказал: — Хушать кочу.

В столовой мы появились вовремя: как раз закончили носить еду на столы и впустили первую партию — самых маленьких. Разрешили и нам. «Все равно кормить», — сказала повариха, моя мать, провела нас к отдельному столу, за которым сидел и наедался Клок. Аппетит у него всегда был плохой, но, увидев нас, он жадно принялся портить хорошую еду. Расковырял холодец, колупнул пудинг, начал и не одолел картошку с мясом (картошка привозная, ее даже звенки стараются есть). Почему он такой вредный? Почему делает так, чтобы другим было неприятно, и радуется при этом?.. Мы съели по полной порции каждого блюда, не разговаривая с рыжим, запили все сладким брусничным киселем. Конфеты и пряники положили в карманы, чтобы съесть по-немногу. А когда вышли из столовой, нас догнал Клок.

— Слыхали? — спросил он, с ухмылочкой показывая зубы.

— Чего?

— Гутчинсон подсунул Ван-Сиду плохих оленей.

12

В конце апреля началась весна. Днем снег сочился чистой, холодной водой, а ночью покрывался твердым настом. Собаки и олени резали ноги, в тайге исчезли следы зверей. Наступила распутица, и наш поселок на два месяца, до морской навигации, остался в полном одиночестве.

За Кутимом на первом, Большом озере появились широкие полыньи. Вода начиналась сразу от вытаявшего стланика, светила резкой синью, казалась бездонной.

Все последние дни мы молча поглядывали за Кутимом, по утрам, выбежав из дома, я останавливался на минуту, проверяя: на месте ли полыньи, как они разрослись, сколько осталось белого льда? Наконец после школы Бэркэн сказал:

— Идем, однако, рыбачить.

Взяли удочки, хлеба-мякиша, ведро; по лопаты лопатам Кутима перебрались на ту сторону. Через островки мокрого снега, обсохшие бугры пошли к озеру. Ели прошлогоднюю клюкву, дозревшую под снегом, — сладкую, холодную (капельки сока в твердой коже). На берегу отыскали свое старое место с двумя высокими кочками, чистым дном, в стланиковом затишке. Уселись каждый на свою кочку, ведро поставили посередине, принялись разматывать удочки.

У меня как бы сами по себе суетились руки: хотелось первому опустить в воду крючки; глянул на Бэркэна — он тоже торопился, но очень солидно, почти незаметно: кто откажется поймать первую рыбку в первой воде? Намяли комочки хлеба, наживили. Я немного обогнал Бэркэна, выждал, и вместе мы закинули удочки.

Грузила всплеснули, поплавки, окунувшись, подняли вверх гусиные перышки, успокоились. К торфяному берегу прибегали круги, ударились, затихли. У самого дна, зависнув на леске, ясно обозначились комочки хлеба.

Гольянов в Большом озере уйма, летом они налетают сразу, устраивают толкучку, хватают, рвут наживку. Их можно ловить на пустой крючок: дернешь — и за что-нибудь зацепишь. Это летом. А сейчас еще тяжеленный лед давит озеро, вода холодная.

— Бросим приманку? — спросил я.

Бэркэн раскрошил в ладонях хлеб, широко сыпнул, как посеял зерно. Крошки белой моросью заструились ко дну. И вот одна, другая мигнули, качнулись в сторону, исчезли. Я наклонился. Несколько рыбешек, возникнув из темноты, суетились над осевшей приманкой, задирали вверх хвостики, подбирали хлеб. К ним медленно выплывают новые, на мгновение замирают, будто припоминая, что это все значит, и бросаются в толчею, как на веселом базаре. Длинно промелькивают черные спинки гольянов, зеркальцами вспыхивают брюшки.

Я повел поплавок ближе к берегу, где не было приманки. К моим ожившим крючкам метнулись несколько рыбешек, заплесали вокруг. Одна, покрупнее, ухватила наживу, заглатывая, повела ее вбок. Не глядя на поплавок, я слегка вздернул удочку и, ощущая ладонью упругий трепет, потянул вверх леску. Подставил ладонь — гольян ударился в нее, заворачиваясь, стиснутый. Теплый, тугой. Придержал, чувствуя, как от весеннего тепла рыбешки у меня горячают руки, делается тепло всему телу; бросил гольяна в воду ведерка, он всплеснул хвостом, ушел на дно и притих, будто опять уснул, а все, что с ним сейчас произошло, — просто нехороший сон.

Почти сразу поймал рыбешку Бэркэн, взвесил на ладошке — у него была крупнее (хоть и не первый, зато крупнее!), нежно опустил в ведро, как в лучшую жизнь, повернул ко мне рожки, засиял ею; сделался похожим на маленького деревянного божка. Так прекрасно было ему, так любил он охоту, рыбалку, собак, оленей, так обрадовался он этой маленькой живой, первой рыбке!

— Со ая! — сказал я.

— Ая! — подтвердил Бэркэн.

А солнце разгуливалось, плавило в небесах облака, топило снег, грело стланик, брусничные бугры; пробуждало запахи, суетливые ветерки; оттаяли голоса у ворон; и дома поселка на склоне за Кутимом дрожали, колебались в синеватом мареве, как сквозь чистую, невесомую морскую глубину.

Рыбешек мы выуживали часто, уже не считая. В полыньи их делалось больше, исчезло дно, прикрывшее ими; словно кто-то бежал подо льдом и сзывал гольянов со всего озера. Потом Бэркэн показал мне на темное корневище стланика у берега. В нем, высунув на свет голову, жадно вздувая жабры, сидел крупный ротан. Я выловил в ведерке маленького гольяничка, подал Бэркэну: он проткнул крючком хвостик рыбешки и, живую, тихо опустил к коряге. Ротан отпрянул в темень. Бэркэн плавно повел живца, остановил его у кромки света и тьмы. Наступила длинная минута ожидания: переборет ли свой голод ротан, уберет ли его чутье?.. Нет, он только что проснулся, хочет есть. Он лишь немножко поборется.

с собой и... рывок вперед, короткая остановка — последняя осторожность — и ротан, широко распахнув зубатую пасть, всасывает гольяна.

Бэркэн нянчит ротана в руках, отдает мне. Красивый ротан — рыжеватый, пятнистый, с выпученными злыми глазками. Старый, ленивый, потому и попался. Плохая рыба ротан, против него гольян — господин, летом никто не станет есть ротанов, но сейчас и он рыба, до первой корюшки. Опускаю гольянского врага в ведро.

Над тундрой возникла стая уток, зарыбила, заморосила в дальнем влажном воздухе, опала к желтой тундре и где-то села — на третьем или четвертом озере. Высоко еле видимой ниткой промерцали гуси, о землю разбился холодной хрусталь их голосов.

Подул ветерок, засинела вода, закачалась прошлогодняя осока. Гольяны жаднее начали хватать наживу. Вскоре мы набросали полное ведро, сменили воду. Съели остатки хлеба. Пошли домой. Опять по буграм и мари, через вязкие островки снега, подбирая бруснику и клюкву; и понимая и радуясь: ягода, зеленый мох, рыба в ведерке — это весна наша настоящая.

На Кутиме два мужика бродили по развороченному льду, опускали сачки в трещины — пробовали ловить корюшку. Но рыбы не было. Она жила еще в море. Бэркэн сказал:

— Этыркэну дадим?

Он вспомнил о дедушке Розове.

— Дадим.

В поселке тоже была весна — своя, поселковская: текли ручьи, наливались снежной водой лужи, от коношны пахло навозом. А на школе, интернате, клубе, на деревянной арке возле культбазы краснели плакаты и флаги: скоро Первомай.

По вытаявшим доскам тротуара от пристани идут Колька Нечаев и Володька Зеленец. Оба в матросских робах, на груди — синие полоски тельняшек. Идут вразвалочку, очень неторопливо: наверное, помогали катер отремонтировать, свой «Тугур» красили, драили. Довольны теперь и мало думают об экзаменах. Все равно сдадут, ночью подготовятся и сдадут: они волевые, зимой учились на «отлично». Потому и могут так пренебрежительно расхаживать, слегка улыбаясь встречным. На них невозможно спокойно смотреть, на них вообще лучше не смотреть, если не хочешь разрыдаться: Колька и Володька навсегда уедут летом из поселка. Поступят в мореходное училище. Если не удастся, наймутся матросами на океанское судно, будут ходить в кругосветные плаванья, во все страны и моря.

Я толкаю в плечо Бэркэна, и мы сворачиваем в переулок: не хочу встречаться с ними, говорить, смотреть на них. Лучше потом.

Крыльцо музея чистенькое, доски помыты, вышарканы веником-голышом, на нижней ступеньке тряпка половая лежит: ноги вытирать. Мы глянули на свои сапожищи — разве их можно вытереть? Их надо в бочке отмачивать целые сутки. Воткнули в снег удочки, сняли сапоги, поставили рядышком и пошли бо-сиком.

Дверь открыла Лия Матвеевна, сказала: «Проходите, проходите», — не зная еще, зачем мы пожаловали, потом увидела наши босые ноги, поправила на переносице очки, не веря глазам, спросила:

— Босые?

— Немножко сапоги грязный.

Она засмеялась, крикнула:

— Илюша, поди сюда!

Притопал дедушка Розов, увидел у меня в руке

ведро, взял, понес к свету. Покачал головой, кашлянул очень довольно.

— Ай, молодцы! Гольяшек подловили. И ротанчик один есть?

— Тебе половина, — сказал Бэркэн.

— Возьму. Спасибо. Значит, клюет уже?

— Клюет карашо.

— Ну, народец! — Розов кивнул на нас, усмехнулся Лии Матвеевне, поддел ладошкой рыбу, помял, показывая. — Меня опередили. А ротанчика отдадите? — Бери, ладно.

— Мы его для науки используем. Посмотрим, питался он уже гольяшками или вы его прямо с постели подняли... Лия, накорми ребят, а я сейчас. Он ушел с ведром на кухню.

Все еще смеясь, Лия Матвеевна усадила нас на диван, дала тапочки из оленьего меха, придвинула к дивану стол, и через несколько минут мы хлебали гороховый суп со смальцем, приправленный зеленым луком, который рос в деревянных ящиках на окнах музея. Хлеб Лия Матвеевна намазала маслом, на закуску поставила селедку с отварной картошкой. Вкусная еда, «интересная», потому что интересно было узнать, чем питается дедушка Розов, какую пищу ему готовит наша учительница, которая перешла жить в его дом. Даже Бэркэн жевал горох, хотя раньше всегда говорил: «Горох — живот делает ох!» Настоящая была еда, и на диване хорошо было сидеть, и от Лии Матвеевны пахло духами, а сама она была совсем не такая, как в школе: обыкновенная ласковая женщина.

— Ешьте, дети. — Лия Матвеевна открыла банку магазинных абрикосов (в магазине они давно кончились, наверное, с осени запаслась). — Ешьте.

Очень заметно переменялся дом дедушки Розова. Книг стало больше. Книг — как в поселковой библиотеке, вся стена от пола до потолка заставлена, да еще на этажерках, на полу. Их, пожалуй, никогда не перечитать, и от этого грустно немножко. Прибавился письменный стол — на нем наши тетрадки, — женская дошка на вешалке, тумбочка с зеркалом, пузырьки, коробочки... Но было еще что-то очень важное, его хотелось найти, потому что оно и переменяло весь дом Розова. Где это важное, куда спря-тано, как называется?

— Вот, — сказал, появляясь, розовый старик (он держал на ладони вспоротого ротана). — Прощу комиссию убедиться: желудок у этого зверя пустой.

— Бедненький, — покачала головой Лия Матвеевна.

— Ничуть. Спал, как амака в берлоге.

— Садись, пообедай за него.

Розов сходил к умывальнику, потом сел на диван рядом с Бэркэном. Положил ему на плечо руку, повернул к себе лицом.

— Я тебе новость приготовил.

Лия Матвеевна подала суп, он принялся есть и ел так легко, что ни ложка, ни хлеб не мешали ему говорить, смотреть на нас, на Лию Матвеевну. Он говорил о жизни рыб, зверей, птиц — где кто обитает, чем питается, как зимует, будто все они были его соседи, родственники, люди. Медведь, оказывается, больше других зверей похож на человека, с ним не сравнится даже обезьяна: строит себе дом, ест растительную и животную пищу, нежно любит своих детенышей, ходит на задних лапах. Звенки да и другие люди Севера давно заметили это, удивились, испугались, и стал для них мишка священным животным, предком человека. Стал богом, хозяином тайги.

— Боги бывают — тигры, львы...

Я слушал дедушку Розова и думал: скоро ли он уедет из поселка? Живет он здесь седьмой год, по договору. Любой договор когда-то кончается. И во-

обще все изменяется. Гутчинсон уже не председатель колхоза, работает в стаде пастухом; заведующий культбазой уехал в район и не вернулся, ждет теперь нового, а наш класс остался без отличницы Людки. Скоро уедут навсегда Нечаев и Зеленец. А если еще и дедушка Розов?.. Я слушал, но уже не слышал Розова. Я просил его не уезжать, подождать, пока мы немного подрастем. Осторожно стал смотреть на Лию Матвеевну — она сидела напротив Розова, наклонившись к нему, улыбалась, потом вытерла ему лоб мягким полотенцем, — и я понял: нет, она не поможет; они уедут, потому что нашли друг друга... Я догадался вдруг о том «важном», что переменяло дом Розова: здесь появилась женщина.

Бэркэн толкнул меня, перевел взгляд на дверь. Надо уходить: «Хороший гость два раза не обедает». Мы поднялись, оставили тапочки под диваном, босиком зашлепали к порогу. Лия Матвеевна подала нам ведерко, дедушка Розов вышел на крыльцо.

— Ну, ну, заходите, ребятки, спасибо, — говорил он, пока мы наматывали мокрые портянки, всовывали ноги в сапоги. Потом опустился на нижнюю ступеньку, протянул руку. — Ну...

Бэркэн отступил, спрятав ладонь за спину.

— Ты новость обещал?

— Позабыл, память плохая сделалась. А новость важная... Помните про народности Севера я вам рассказывал? Про айнов тоже, которые на Сахалине обитают. Они ни на кого не похожи, не знают, откуда пришли.

— У них бороды длинные, — сказал я, — глаза большие.

— Вот, вот. Я распознал у стариков: один айн жил здесь лет семьдесят назад. Американцы завезли. Этот айн Гутчинсоном себя называл — по имени хозяйина промысла. Женился потом, семья у него была. Очень уважали айна звенки, вождем своим избрали. Американцы уехали, а он остался. Здесь и умер.

— А Лумукан? — спросил я.

— Сказка. Придумал наш Гутчинсон.

— Сам придумал?

— Чтобы интереснее было. Он человек веселый. Удивить любит.

— Он вруша! — отчаянно выкрикнул Бэркэн.

— Ну, зачем так, байе? — Розов поймал руку Бэркэна, притянул его к себе. — Вот подрастешь — узнаешь, зачем сказки придумывают. Может, и сам сочинишь... — Он пригладил Бэркэну жесткий ежик, губы дрогнули в легкой усмешке. — И не сердись, как старичок. Ты правду хотел знать? Я тебе сказал. Это же хорошо — знать правду?

Бэркэн кивнул, сильно пожал дедушке ладонь.

— Теперь идите.

Мы прошли лесок, свернули к улице, поднялись вверх, на просеке остановились. За рыже-белой марью внезапно, как бы из ничего, выпукло, легко и громоздко вздымалась гора Лумукан. Она дымно зеленела первой хвоей лиственниц, с нее уже стоял снег. А дальше, в пустоте заливая, сияли лунным светом льды, и еще дальше в мороси тумана начиналось, бурно жило всегда открытое море.

г. Обнинск.



Лев Ошанин



Будапешт

А в Будапеште мы живем
На самом людном перекрестке.
Шумит Европа под окном,
Швыряя в стекла отголоски.
Европа, полная тревог...

А здесь, в дунайском междуречье,
В ней Венгрия, как островок,
С такой неевропейской речью.

Недаром в давнюю весну,
Явившись с Волги и Урала,
Она себе свою страну
У времени отвоевала.
И есть в характере мадьяр,
Захватывая и тревожа,
Той удали особый дар,
Что с удалью российской схожа.

Так, видно, правда, что, в костры
Кидая смоляные ветки,
Бок о бок ставили шатры
Отчаянные наши предки.



Краса осеннего листа
Зовет смотреть, смотреть...
Но, черт возьми, —

нам красота,
А для него-то смерть!
Какая ж это смерть, взглядишь, —
Свободен, не тяжел —
Летит, летит кленовый лист,
То ал, то ярко-желт.
И все-таки я не пойму.
Ответь, коль сможешь ты,
Зачем же умирать ему,
Достигнув красоты!
Ты улыбаешься — пустяк.
Ты скажешь в простоте,
Что часто рвется жизнь вот так —
На высшей красоте.
А я слежу, как он летит,
И сам лечу с листом.
А я смотрю, как он горит
На солнце золотом.
Пусть завтра будет он нечист,
Без красок и похвал, —
Но как хорош кленовый лист,
Пока он желт и ал!

1. Честность работает, мудрость вопросы решает.
Зависть — одна лишь! — досуга себя не лишает.
Ах, не трудом же назвать неустанное рвенье,
С коим она и труду и таланту мешает.
2. Даже завидуя гению, зависть ленива.
Даже завидуя диву труда — нерадива.
Даже завидуя доброму делу — злонаравна.
Даже завидуя правде — коварна и лжива.
3. Глупый завистник! Завидуя славной судьбе
Славного брата, по скользкой же ходишь тропе!
Сам рассчитай; посягая на всю его славу,
Все его подвиги делать придется тебе!
4. Где та гора, что завистники встарь своротили!
Где те моря, что завистники вплавь переплыли!
Очень бы я (почему-то) услышать хотела
Истину ту, что завистники миру открыли!
5. Ладно! Завидуй хозяину вещи покраденной,
Дешево купленной, дорого проданной,
найденной...
Ты же, завидуя вещи, художником
созданной,
Редкой — прости меня! — мне
представляешься гадиной!
6. Люди всему позавидуют — надо — не надо!
Если вы Гойя, завидуют горечи взгляда.
Если вы Данте, они восклицают: «Еще бы!
Я и не то сочинил бы в условиях Ада!»
7. «Хочешь ли видеть собрата простертым у ног
Или в него самого обратиться разок!» —
Дьявол спросил у завистника. Но
одновременно
Оба заказа и дьявол исполнить не мог.

Ключи от подземелий подсознания
Звенят опять на поясе моем.
Сегодня я, заблудшее создание,
Сойду туда с коптящим фонарем.
Как воют своды в страшной анфиладе!
А впрочем, выясняется в конце,
Что все подвалы наши — на эстраде.
Все тайны, как посмотришь, — на лице.
У нас и подсознание снаружи
(До внутреннего мало кто дорос).
Все просто: нам получше, вам похуже.
Кот хочет сала. Палки просит пес.
Но чтоб до истин этих доискаться,
Не надо в преисподнюю спускаться.

Ночной шлагбаум. Под сонным светом
Я вижу каждый на нем поясok.
Осадок солнца
В рельсе нагретом,
Словно в ручье — золотой песок.
В стенной коричневой пустыне,
В ночи румяной, как тень огня,
В садах бурьяна, в пыли и глине
Стреляют блеском стекляшки дня.
И далеко на сосущей ноте
Ночной паровозик свистит без конца;
За смуглой щекою мулатки-ночи —
Подобье красного леденца.

На небе месяц означен слабо,—
Росисто-свежий лучит огонь...
Под ним, как брошенный панцирь краба,
Стоит отцепленный вагон.

Ступаю пашней ненастоящей,
Где след копыта — дырой дупла...
Пролетный ветер дует в горящий
Очаг далекого стекла...

Ночь
Стеклянная,
Ночь
Цветная!
Светишь ты, светишь, теней не зная,
Сеешь и сеешь цветущий свет...
Пламенно-алые, словно креветки,
По горизонту бегут вагонетки —
Так далеко, что и звука нет...

Еще с заката не остывая,
Не распадается листовая
Медь облаков, обращенных к заре...
На срезе утра ночные кони
Стоят отчетливо, как на ладони...
Как тени пламени в фонаре.

К 150-летию со дня рождения Н. А. Некрасова



АЛЕКСЕЙ СУРКОВ

ВЕЛИКИЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ПОЭТ РОССИИ

Николаю Алексеевичу Некрасову в истории русской поэзии по праву принадлежит почетное место первого демократического поэта.

Ни один из русских поэтов и до и после Некрасова, до момента зарождения пролетарской поэзии, не достиг такой степени слияния своего творчества с судьбами миллионов трудящихся и обездоленных людей, не выразил с такой силой и страстностью их обид, гнева и надежд.

Огромное большинство своих произведений посвятил Некрасов народу, замученному крепостниками-помещиками, русскому мужику, голодному, замордованному городскому труженику — «умственному пролетарию». Он первый из русских поэтов отметил в своих стихах зарождение нового класса — пролетариата, показав, в каких муках рождается этот класс. И без преувеличения можно сказать, что именно в тех произведениях, которые посвящены народу и проникнуты духом народности, достиг Некрасов предельных высот раскрытия своего гениального поэтического дарования.

Величайшая заслуга Некрасова в поэзии состоит в том, что он первый из русских поэтов сделал крестьянина и городского бедняка самодельными художественными образами, превратил их из персонажей литературы в ее главных героев.

Выходец из дворянской среды, Некрасов поднялся до понимания того, что только критерий «народной пользы», критерий интересов миллионов труженников, может дать верное направление развитию его поэтического таланта. То, что именно в сороковых годах в русской поэзии появился человек, написавший на своем знамени лозунг служения демократии, народу, и что этим поэтом стал Некрасов, легко понять, вспомнив, какая атмосфера в жизни русского общества и в русской литературе царил в те годы.

Об этой гнетущей атмосфере сжато и выразительно писал Некрасов в следующих строках:

Тогда все глухо и мертво
В литературе нашей было:
Скончался Пушкин: без него
Любовь к ней и публике остыла...
В борьбе пошлых мелочей
Она погрязнув поглупела...
До общества, до жизни ей
Как будто не было и дела.
В то время как в родном краю
Открыто зло торжествовало,
Ему лишь «баюшки-баю»
Литература распевала.

В эти дни литературного безвременья, изнедавая на своей судьбе всю тяжесть судьбы голодного «умственного пролетария», пережив горечь неудачи первой книжки своих стихов «Мечты и звуки», молодой Некрасов постучался в двери большой русской литературы. И на его великое счастье, первые его «настоящие» стихи заметил и горячо принял к сердцу Белинский. Его влияние, о котором Некрасов вспоминал с благоговением всю свою жизнь, так же как влияние соратников Некрасова по «Современнику» Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова, определило направление развития его огромного таланта поэта и его журнальной деятельности.

Громко порицаемый ретроградами и либералами и отрицаемый представителями «чистого искусства», Некрасов с гордостью нес на протяжении всей своей жизни высокое звание поэта-гражданина, певца народного горя, народного гнева, народной надежды.

И обжигающей душу правдивостью звучат строки маленькой стихотворной зарисовки:

Вчерашний день, часу в шестом,
Зашел я на Сенную,
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.

Ни звука из ее груди,
Лишь бич саистал, играя...
И Музе я сказал: «Гляди!
Сестра твоя родная!»

Больно переживая каждый «неверный звук», который издавала его лира, остро чувствуя и переживая свои человеческие слабости, под градом вражеских ударов, Некрасов в стихотворении «В день смерти Гоголя» писал о поэте, обличителе зла:

Питая ненавистью грудь,
Уста вооружив сатирой,
Проходит он тернистый путь
Своей карающей лирой.

Его преследуют хулы:
Он ловит звуки одобренья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья.

Сказав однажды: «Я лиру посвятил народу своему», — Некрасов до последнего дня жизни был верен этой клятве.

Великий знаток народной жизни, он от первых своих стихов, «В дороге», до гениальной поэмы «Кому на Руси жить хорошо» преобладающее число произведений посвятил русской деревне, русскому крестьянину и крестьянке.

Строгий и беспощадный реалист, Некрасов не идеализировал своего любимого героя — русского мужика. Не в пример своим младшим современникам — писателям народнического толка, он видел в крестьянской жизни все темное и косное, что внесли в нее столетия крепостного рабства. И часто в его стихах звучали горькие слова, которыми закончил он свои «Размышления у парадного подъезда»:

Где народ, там и стон... Эх, сердечный!
Что же значит твой стон бесконечный?
Ты проснешься ль, исполненный сил,
Иль, судеб повинувшись закону,
Все, что мог, ты уже совершил...
Создал песню, подобную стону,
И духовно на веки почил?..

Эта щемящая нота отчаяния перед мученической пассивностью мужика, однако, часто — и чем дальше, тем чаще, — перебивается другими напевами, в которых звучит вера в народ, уважение к народу.

Какое чувство гордости звучит в словах Савелия, «богатыря сяткоурского» из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»:

Ты думаешь, Матренушка,
Мужик — не богатырь?
И жизнь его не ратная,
И смерть ему не писана
В бою, — а богатырь!

Это же чувство гордого самосознания труженика звучит в словах другого персонажа той же поэмы, обращенных к сурдобольному горожанину:

Жалеть — жалей умеючи,
На мерочку господскую
Крестьянина не мерь!
Не белоручки нежные,

А люди мы великие
В работе и в гульбе.

И никогда еще в русской литературе не звучало такое полное чувства человеческого достоинства заключительное признание мужика:

Пиши: «В деревне Босове
Яким Нагой живет.
Он до смерти работает,
До полусмерти пьет!»

Глубокое знание этой стороны характера русского крестьянина диктовало Некрасову такие строки его стихов:

Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край,
Что выводит из народа
Столько славных то и знай.

Столько добрых, благородных,
Сильных, любящей душой,
Посреди тупых, холодных
И напыщенных собой!

Зная могучие силы, тающиеся в глубине народной души, поэт в «Песне Еремушке», обращаясь к крестьянскому мальчику, говорит:

Жизни вольным впечатлениям
Душу вольную отдай,
Человеческим стремлениям
В ней проснуться не мешай.

С ними ты рожден природою —
Возделей их, сохрани!
Братством, Равенством, Свободою
Называются они.

Сколько глубокого человеческого участия вложил поэт в изумительные образы русских крестьянок, так часто возникающие на страницах его произведений! Какая любовь и нежность звучат в его стихах, посвященных крестьянским детям! Какое огромное уважение пронизывает его стихи, посвященные нелегкому труду крестьянина-земледедца! И какими новыми, непохожими на то, что мы знаем в творчестве предшественников и современников Некрасова, предстают перед нами картины русской природы — широкошумные леса, хлебные нивы, возделанные натруженными руками земледельцев, вольные русские реки!

Если Белинский назвал пушкинского «Евгения Онегина» энциклопедией русской жизни, то с не меньшим, а, может быть, с большим правом мы можем назвать творения Некрасова богатейшей энциклопедией жизни современной ему России, энциклопедией, населенной богатými и разнообразными человеческими типами и характерами, картинами, раскрывающими истоки многих великих явлений русской общественной жизни второй и третьей четверти XIX века.

Круг людей и событий, наполняющих творческое наследие Некрасова, не замыкается на жизни русского крестьянства.

Поэт оставил нам целую галерею типов своих современников — русских разночинцев, «умственных пролетариев», выход которых в жизнь общества совпал с началом творческого пути Некрасова.

Какие изумительные, полные любви и нежности, гнева и призыва строки посвятил Некрасов своим современникам и соратникам Белинскому, Добролюбову, Чернышевскому, Писареву, великому украинскому поэту Тарасу Шевченко, тысячам безымянных подвижников, всех тех, «у кого не слабели шаги перед дверью тюрьмы и могилы!» Их великий подвиг видит поэт в стихотворении «Мать»:

Не омрачай веселья их тоскою,
Не плачь над ними, мученица маты!
Но говори им с молодости ранней:

Есть времена, есть целые века,
В которые нет ничего желанней,
Прекраснее — тернового венка...

Будучи современником эпохи, когда «все переворотилось» в российской действительности, Некрасов, первый среди русских поэтов, заметил появление нового класса — наемных рабочих. Тяжелой судьбе этих тружеников посвятил он свое потрясающее силой жизненной правды стихотворение «Железная дорога». Многократно возникает в его произведениях образ волжского бурлака. Из-под его пера выходит навеянная стихами английской поэтессы Броунинг песня «Плач детей», посвященная губительному фабричному детскому труду.

В стихах Некрасова, опять-таки впервые в русской поэзии, в городском петербургском пейзаже появляется такая деталь:

Свечерело. В предместиях дальних,
Где, как черные змеи, летят
Клубы дыма из труб колоссальных,
Где сплошными огнями горят
Красных фабрик громадные стены,
Окаймляя столицу кругом, —
Начинаются мрачные сцены.

Зная, что, «кроме цепей крепостных, люди придумали много иных», поэт всю силу своего гнева строками беспощадной сатиры обрушивал на головы народных захребетников, угнетателей-помещиков, мздоимцев-чиновников, «чумазных», властно и грубо ворвавшихся в жизнь откупщиков, ростовщиков, банкиров, «шуйско-ивановских гусей», превративших пот наемных рабочих в миллионные состояния.

С не меньшей силой разоблачал и клеймил поэт своей сатирой «ликующих, праздно болтающих» либералов, любителей красивой фразы, чьи слова никогда не сходились с делом. В этой струе своего творчества, вызвавшей к жизни сатирические стихи целой плеяды поэтов, группировавшейся вокруг журнала «Искра», Некрасов был близок с великим русским сатириком, своим соратником и соредктором М. Е. Салтыковым-Щедриным.

Насыщенность самым жгучим содержанием современности, беспощадный реализм в сочетании с неутоляющей мечтой о счастливом будущем родного народа сделали Некрасова при жизни кумиром передовых людей современного ему русского общества. Поэт по заслугам был властителем дум передовой молодежи, жаждавшей подвига во имя народного счастья. Глубокая народность стихов Некрасова, их близость к безымянному народному песенному творчеству еще при жизни поэта сделали многие из них распеваемыми народными песнями. Прошло уже сто десять лет с тех пор, как из-под пера Некрасова родилась поэма «Коробейники», а песня безымянного композитора, написанная на строки из этой поэмы, продолжает бытовать в народной жизни. То же можно сказать и о песнях «Что так жадно глядишь на дорогу», «Меж высоких хлебов затерялся», «Огородник», о песне о Кудеяре-атамане, о многих других песнях на стихи великого поэта.

Стихи и поэмы Некрасова сыграли огромную роль в воспитании нескольких поколений русских революционеров. Неоценим его героический подвиг издателя и соредктора передовых русских журналов «Современник» и «Отечественные записки». Выдающиеся русские революционеры, и в их числе Владимир Ильич Ленин, не только глубоко читали Некрасова — великого революционно-демократического поэта и публициста, но и широко использовали в своей пропагандистской деятельности созданные им художественные образы.

О том, как современная Некрасову молодежь воспринимала его стихи, показывает эпизод, приведенный Г. В. Плехановым в его речи, посвященной 25-летию со дня смерти поэта.

«Я был тогда, — вспоминал Георгий Валентинович, — в последнем классе военной гимназии. Мы сидели после обеда группой в несколько человек и читали Некрасова. Едва мы окончили «Железную дорогу», раздался сигнал, звавший нас на фронтное учение. Мы спрятали книги и пошли в цейхгауз за ружьями, находясь под сильнейшим впечатлением всего только что прочитанного нами. Когда мы стали строиться, мой приятель С. подошел ко мне и, сжимая в руке ружейный ствол, прошептал: «Эх, взял бы я это ружье и пошел бы сражаться за русский народ!» Эти слова, произнесенные украдкой в нескольких шагах от строгого военного начальства, глубоко врезались в мою память; я вспоминал их потом всякий раз, когда мне приходилось перечитывать «Железную дорогу».

Почти столетие, отделяющее нас от скорбной даты безвременной смерти великого поэта — революционного демократа, не покрыло пылью забвения его гениальное наследие. Тиражи его книг, исчисляемые десятками миллионов экземпляров, показывают, что и поныне Некрасов живет между нами, «как живой с живыми говоря». Творчество многих поэтов русских и поэтов других братских народов оплодотворено опытом нашего великого предшественника. В городах и селах люди распевают сложенные им песни.

И первая юбилейная встреча любителей поэзии, посвященная 150-летию со дня рождения поэта, проведенная минувшим летом в Карабихе, на родной земле Некрасова, собрала огромную аудиторию — около пятнадцати тысяч человек.

Шел непрерывный дождь. Но, как бы не замечая ненастья, огромная масса людей, заполнившая большую поляну перед домом, где жил и писал поэт, ловила звучащее с трибуны каждое слово, посвященное памяти, творчеству, подвигу гениального поэта-революционера, слушала стихи поэтов, представлявших литературы многих народов Советского Союза, слушала бессмертные стихи Некрасова, песни и романсы, написанные на его стихи.

И, видя все это и радуясь счастливой судьбе нашего великого земляка, я невольно вспоминал его пророческие строки:

Не бойся горького забвенья:
Уж я держу в руке моей
Венец любви, венец прощенья,
Дар кроткой родины твоей...
Уступит свету мрак упрямый,
Услышишь песенку свою
Над Волгой, над Окой, над Камой,
Баю-баю-баю-баю!...

П. КАРП

ДУХ ГНЕВА И ПЕЧАЛИ

На у кого из больших поэтов не пытались отнять славу и честное имя так усердно и так разнообразно. Добро б еще это делали только враги. Но каково в молодости слышать от ближайшего друга: «Я до стихов твоих не охотник!» Каково в зрелые годы читать у одного из самых близких сотрудников: «несоответствия между содержанием и формой, натяжки, тяжеловесность стиха, неуклюжесть, какая-то деревянная беззвучность...» и в итоге: «роль, которую он играл в русской литературе как стихотворец, гораздо незначительнее той, которую он играл как издатель!» Так писал литературный критик той поры Антонович. Писал в ссоре, но ссора-то как раз произошла с издателем, а оказалась поводом сказать о поэте то, что всегда думал!

Даже после смерти признание его места в ряду самых больших наших писателей слишком часто сопровождалось оговорками. Даже попытки возвысить его удивительно неловки, начиная с криков над могилкой, оскорбительных для Пушкина и Лермонтова, которые, дескать, были «всего только байронисты», и как даже приставшее к нему накрепко справедливое слово «печальник горя народного» слишком часто выступало в сопровождении извиняющегося: пускай по части искусства он и не так силен. А разве не были печальниками горя народного его современники Н. Огарев и М. Михайлов? Разве не столь же болезненно было для них крепостное бесправие?

Когда Андрей Белый заговорил, наконец, о нем как о художнике, опять увидали одно — мастера, виртуоза. В двадцатом веке совершенство и незримая современникам изысканность его стиха — находка для ценителей прекрасного.

Некрасов ничего не декларировал и не демонстрировал. Его первый сборник «Мечты и звуки» честно повторял сказанное до него, чаще всего Жуковским. Книгу хвалили. Говорили о несомненной даровитости автора. Один Белинский заметил, что при всем том ничего существенного в ней нет. Она и впрямь из тех поэтических книг, какие можно не читать. Их и тогда было много.

Пройдет десяток с лишком лет, и Некрасов посмеется:

Мне жаль, что нет теперь поэтов,
Какие были в оны дни, —
Нет Тимофеевых, Бернетов.
(Ах, отчего молчат они?)
С семьей забвенных старожил
Скорблю на слоне дней моих.
Что лирой пренебрег Стромиллов,
Что Печенегов приутих,
Что умер бедный Якубович,
Что запыл Константин Петрович,
Что о других пропал и след.
Что нету господки Падерной,
У коей был талант примерный,
И Розена барона нет;
Что нет Туманских и Тридунных,
Не пишет больше Бороздина,
И нам от лир их сладкострунных
Осталась память лишь одна...

Одни поэты бросают писать, замолкают. Другие, как Фет, потому и не названный, на традиционных до-

рогах находят неведомое, у третьих, как у Некрасова, находят свое выражение происходящие кругом перемены.

Явление Некрасова — знак перелома всей русской жизни. Знак тем более драгоценный, что ломка шла неслышно и незримо. Великая победа над Бонапартом, вынудившая Европу по-иному глянуть на Россию, утвердила царей в мысли, что трон их незыблем, что в переменах, туманно обещанных в начале alexandrovских дней, надобности нет, и главное — не потакать смутьянам. Аракчеев и Николай твердой рукой наводили порядок и учили поамалкивать. Новая метла чисто мела. Для не в меру дальновзорких, рискнувших радетей о государстве более его главы, хватило пяти виселиц. Кругом установилась мертвенная благодать, лихо отдавали честь, свистели шпиритуты, блестели начищенные пуговицы. Зеленое сукно чиновников обозначало порядок, голубые мундиры жандармов — законность, красная подкладка генералов — величие. Все благоденствовало, ибо все молчало. Было отчего прийти в отчаяние. Пушкин умер, не напечатав «Медного всадника». Лермонтов, хоть и напечатал «Песню про купца Калашникова», умер двадцати семи лет. Чаадаев, осмелившийся молвить слово, был объявлен душевнобольным, только и радости, что в желтый дом не заперли. А между тем величие расплзлось, закон был, как дышло, порядка не было — чем ретивей его наводили, тем меньше оставалось.

Кончилась благословенная ясность: кто не раб, тот господин, кто не господин, тот раб. В дворянский мир вращало буржуазное тело. Эпигонская поэзия создавала впечатление — понятно, авторы чувствительных виршей могли этого не подозревать, — что все остается по-прежнему. Она служила престолу тем, что помогала принимать желаемое за действительное.

Но Некрасов и сам не прежний. Было и у него дворянство, были наследственные земли и крепостные мужики. Да вышло, что пользоваться всем этим с юности не случилось. Шестнадцати лет приехал он в Петербург. Отец хотел видеть сына военным, а сын мечтал об университете. В дворянский полк он даже не пошел. За самостоятельность решения надо было самому и платиться. Он писал крестьянам письма за пятак и частенько ходил в казначейство расписываться за неграмотных — за это тоже платили. В комнате, которую удавалось снять, порой не было мебели, сидеть приходилось на полу. Обедая он не каждый день, а писал разведенной ваксой. Дважды держал вступительные экзамены в университет и оба раза срезался. Полтора года пробыв вольнослушателем, и тоже пришлось бросить, — сил не было. Восемь лет прошли без просвета. Он сочинял афиши в стихах и правил чужие рукописи. Сочинение фельетонов и водевилей обозначало уже некоторый успех. Он написал за эти годы столько, сколько другой не напишет за целую жизнь.

Петербургская нищета, забота о том, чтобы выжить, каждодневная мысль о куске хлеба оторвали его от витания в литературных облаках прежде, чем

он узнал цену этому витанию. Некрасов был литературным поденщиком, литературным пролетарием.

Люди, его знавшие, свидетельствуют, что при его уме можно бы добиться успеха на любом поприще, но Некрасов остался литератором. Он не только уцелел, но заново родился в обычно иссушающей душу подневольной работе. То, что он жил своим трудом, не просто факт биографии, но фундамент мировоззрения. Полная зависимость Некрасова от работодателя давала независимость взгляда на имперский порядок; он к нему не принадлежал. Его не терзали размышления о назначении дворянства или о долге офицера. Его участь не зависела от благополучия трона. Он жил своим трудом.

После он разбогатеет и будет поддерживать высокие знакомства. Он даже дожидается прижизненных и посмертных нападок по этому поводу. Но это будет после. Покамест же труд обращает его лицом к потребителю, который элегиям предпочитает фельетон, балету — Александринский театр.

Но потомки помнят крупное. Мы — николаевское безмолвие и «Колокол» Герцена. Безмолвие тягостно лишь тем, кому есть что сказать. А петербургский обыватель, если, разумеется, ему ежедневно не грозила смерть от голода и сырости, мог провести время с приятностью, были бы денюжки. Какие только лавки не пооткрывались в ту пору в столице! И европейские товары не в пример прежним годам стали доступнее! И газовое освещение в Гостином провело! И сколько новых журналов завелось, притом иллюстрированных! И бумага какая пошла белая! А бильярд! А, наконец, преферанс! А певцы какие приезжали и певицы! И какие ценители враз сыскались! И худо разве

...шепнуть в антракте плотной даме
(Все му научит хитрый Петербург),
Что страсти и движенье нужны в драме
И что Шекспир — великий драматург...

Шекспир, куда уж, кажется, дальше!

А между тем весь этот оживленный поток каждодневной суеты представлял собой стояние на месте. «Пустых страстей пустой и праздный грохот по-прежнему движенье заменял». В огромной стране, только что родившей Пушкина и Гоголя, сами по себе будничники не могут насадить бездуховность, и проблемы русской жизни не сводятся к деятельности Третьего отделения. Скользя восторженным взглядом по литературным вершинам и пренебрегая реальным обликом читателя, мы никогда не поймем, что сделал для нашей литературы Некрасов, увидав, сколь «смешон и жалок петушинный бой не понимающих толпы пророков с не внемлющей пророчествам толпой!»

Фельетон для петербургского обывателя стал фельетоном о петербургском обывателе. Все его приятности туда вместились. И литература тоже. Она вращалась непременно цитатами и нескончаемыми пародиями. Пародировались вовсе не одни эпиграммы. Особенно часто — Лермонтов: «И скучно и грустно», и «Выхожу один я на дорогу», и «Они любил друг друга так долго и нежно», — все не перечислить. И не потому, что Лермонтов казался дураком или формы его устарели и не воспринимались. Не над Лермонтовым глумился Некрасов, а над тем, что и Лермонтов, и Пушкин, и Шекспир, и самое понятие «благородные страсти» так легко попадали в инвентарь рутины. Позднее он писал:

О, пошлость и рутина — два гиганта,
Единственно бессмертные на свете,
Которые одолевают все —
И молодости честные порывы
И опыта обдуманный расчет,
Насмешливо и нагло выжидая,

Когда придет их время. И оно
Приходит непременно.

Строки эти остались не напечатанными при жизни. Но тяготение к прямой речи не оставляло сатирика Некрасова. Обнаженная в «Мечтах и звуках» приверженность романтизму никуда не делась. Романтический слог и потом выдерживался даже в таких длинных стихах, как «Родина» или «Муза». Но чаще сатира и лирика смешивались, срастались. То, что сперва вводилось цитатой или пародией, огпчочковало от осмеиваемого предмета и обретало собственный смысл. Он писал:

Ни хлопанья пробок, ни алых ланит,
Ни криков корысти азартной...
И сонный лакей молчалив и сердит,
И плачет маркер в бильярдной,

Чужеродные рядом с сонным лакеем и маркером «алые ланиты» обозначали уже не женщину, а рыночное отношение к женщине.

Почти тогда же:

Среди гусей, окороков, индеек,
Он заседал, бородкой шевеля,
И знали все: крал двадцать пять копеек
Неотразимо с каждого рубля.
Хозяин сам, копеечный купчишка,
Облопавшись настойки и трески,
Говаривал: «Ведь знаю, что воришка,
Да дело, варвар, знает мастерски!».

И торжественная интонация, несогласная вроде ни с лексикой, ни с сюжетом, выводит за пределы простой насмешки над вороватым приказчиком.

Чем дальше, тем невероятнее становились сочетания слов с синтаксическими фигурами и ритмами, тем отчетливее резали ухо, привыкшее к гармонии Батюшкова и Пушкина, нескончаемые диссонансы. Некрасова винили в безвкусице. И упускали из виду, что говорят о человеке, вымотанном и напечатанном почти все лучшее, что в русской литературе тогда было, которому даже Лев Толстой не напрасно все-таки отправлял первые свои сочинения — полагаясь, значит, на его вкус! Некрасов — пропагандист поэзии Тютчева, один из первых ценителей поэзии Фета. Да не напиши он ни строчки, его высокий поэтический вкус и то был бы неоспорим! Неужто не видел он своих диссонансов? Не вернее ли полагать, что противоречивый слог он формировал вполне сознательно?

Мысль эта, впрочем, тоже неоднократно высказывалась. В любом учебнике можно прочесть, что, включая в свои стихи «прозаизмы», Некрасов приближал поэзию к прозе, а тем самым и к действительности. Но только почему же проза к действительности ближе поэзии, или живопись ближе музыки, а драма ближе балета? И если впрямь оно так, не проще ли сразу переходить на прозу? А Некрасов писал прозу в изобилии, но только даже деды наши ее отчего-то уже не читали.

Если мы согласимся называть реальности, вводимые Некрасовым из жизни в поэзию, «прозаизмами», то, справедливости ради, согласимся, что традиционными «поэтизмами» он при этом пользовался куда чаще, чем его непосредственный предшественник Лермонтов или сверстник Фет. А ведь ради приближения к прозе их-то прежде всего и надо бы вытравлять!

Нечто подобное, при всех отличиях, происходило с Генрихом Гейне. Разрушитель романтизма, взломавший песенный стих обыденными словечками, он остался романтиком, а стихи его стали народными

песнями. Гейне, точь-в-точь как Некрасова, вияли и поныне вият в безвкусице и вульгарности. Хотят все того же: лирика пусть будет себе лирикой, сатира — сатирой, и в каждом из жанров за обоими поэтами ниспровергатели признают частные удачи. Но лирика и сатира срастаются, сливаются воедино в нечто неслыханное, так что и стыки порой уже неразличимы, и хранители стилистических норм только руками разводят.

Некрасов приближался не к прозе, а к жизни. Его поэзия коробила тех, кто хотел видеть жизнь очищенной от разногласия, которой она полна. А Некрасов, балансируя порой на грани возможного, захватил такую бездну не вмещавшихся дотоле в стихиях, что его поэзия оказалась куда реалистичнее почти всей соседствовавшей с ней прозы. У Некрасова слышен не просто голос поэта — ласковый и томный или гордый и гневный, но обилие голосов, ему принадлежащих лишь отчасти, но звучащих через него. Некрасов предвосхитил в поэзии то, что потом утвердил в прозе Достоевский, — многоголосие, стычку голосов, их противоборство. Интонационное богатство надобно ему не затем лишь, чтобы расширить наш кругозор и указать, что, кроме голоса помещика, есть голос мужика, а кроме голоса художника, — голос чиновника, но ради того, чтобы сравнить эти голоса друг с другом, как в жизни. В этой сшибке и без того ошеломляющее обилие интонаций обретает дополнительную емкость.

У него ни помещик, ни чиновник, ни горожанин, ни мужик не помазаны одной краской навсегда, но выступают галерей разных помещиков, разных чиновников, разных горожан, разных мужиков. Мир его реален не просто верностью каждого чувства, но верностью общей картины. О Кольцове Добролюбов писал: «Его поэзия недостает всесторонности взгляда; простой класс народа является у него в уединении от общих интересов». Некрасов, напротив, — поэт общества уже тем, что понимает его, как целое, ощущает его внутренние связи, пусть они напряжены до предела и даже разрываются. Он владеет социальной психологией не менее пронзительно, нежели Фет индивидуальной.

Чуткость к интонационному сдвигу, перебою, разнообразию видна почти в каждом отрывке, даже далеком от сатиры или иронии. В этом искусстве сопряжения он велик, как никто.

Аполлон Григорьев составлял списки стихов Некрасова, в которых тот был, на его взгляд, большим поэтом, и списки других, якобы недостойных его таланта, где «говорила желчность». Конечно, поэт, разрушающий канон, не может быть ровен, в потоке его поэзии манят сгустки и водовороты, но они неотделимы от потока и возникают в самых разных местах. Хрестоматия искажает Некрасова больше, чем кого бы то ни было другого. Пушкин в каждой строчке весь. Строчке Некрасова не обойтись без соседней, в полной мере они живут лишь вместе. В известном стихотворении «Поэт и гражданин» говорится, к примеру, о том, что стыдно

...в минуту горя
Красу долин, небес и моря
И ласку милой воспевать...

Мы готовы — многие так и делают — принять эту категорическую рекомендацию. Но только... сразу же следом идет:

Гроза молчит, с волной бездонной
В сиянии спорят небеса,
И ветер ласковый и сонный
Едва колеблет паруса...

— то есть как раз и воспеваются «краса долин, небес

и моря». И опять же воспеваются, чтобы тут же рухнуть под ураганом. В этом весь Некрасов.

Он поэт-драматург не потому, что сочинял водевили, но потому, что стихи его всегда почти диалог, явный или скрытый, подразумеваемый — все стихотворение подчас реплика в лишь угадываемом споре, — или так прямо и обозначенный как разговор, как беседа. Кто только не беседует у него! Чтобы понять смысл этих бесед, надо вслушаться в речи всех собеседников, как в пьесе, не надеясь, что мысли поэта в готовом виде выданы тому или иному персонажу. А ведь сплошь и рядом слушают как раз лишь одного из них!

О знаменитых строчках —

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан...

всерьез пишут, что в них «Некрасов сформулировал задачу поэта». Начитавшись такого, нетрудно решить, что если уж говорил, что поэту можно поэтом не быть, то и сам, наверное, поэтом не был. А реплика эта между тем принадлежит не Некрасову, но его герою — «гражданину», и репликой этой спор вовсе не завершается, последнее слово остается за другим героем, «поэтом». И он, напомнив, что звуки, рожденные честным порывом, «сочли черной клеветой», что быть гражданином, открыто говорить, что думаешь, означает гибнуть, притом гибнуть в одиночестве, естественно, приходит к тому, что произошло с его поэзией, когда «душа пугливо отступила». И оказывается, что «склонила Муза лик печальный и, тихо зарывав, ушла», что «с тех пор не часты были встречи» и, наконец, «Муза вовсе отвернулась, презренья горького полна». Какое уж тут «можешь не быть», когда, наоборот, не можешь быть поэтом, если не следуешь в поэзии тому, что велит тебе долг гражданина! Не следуешь всецело, до конца, а вовсе не просто «бичуя пороки смело»!

Бичуя маленьких воришек
Для удовольствия больших,
Дивил я дерзостью мальчишек
И похвалой гордился их...

напоминает поэт гражданину. Но «дерзость, дивящая мальчишек», не помогает поэтическому духу уцелеть. Его поддерживает лишь полная и безоговорочная правда, пусть даже наградой за нее будет «один венчик терновый», упоминанием которого и кончается разговор.

Некрасов в отличие от своих истолкователей утверждает гражданственность не просто как сферу приложения поэзии, да еще путем ликвидации оной, но как первое условие существования поэзии. Его идеал не поэт-гражданин, через черточку, по совместительству, поступающий одним своим назначением ради другого, но гражданин поэт, без черточки, как мы говорим, граждане судьи: душой причастный жизни общества, ждущего от него правды о себе, и лишь в меру этой причастности способный проявить присущий ему «песен дар необычайный».

С самим Некрасовым так оно и было. Когда он говорит родной стране:

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильная...

поэтическое и гражданское начала нерасторжимы. Поэт Некрасов слышит все голоса, гражданин Некрасов не позволяет заглушить в себе ни один из них. Не может он сказать родине: «Ты обильная и всемогущая», — и промолчать о другом. Не может он сказать ей: «Ты убогая и забитая», — и этим огранить себя.

Он был тут упорен, и сбить его с толку не удавалось. Слову надлежало быть сказанным. И не только его собственному слову. В пятьдесят третьем году в Некрасовском «Современнике» появился Чернышевский, в пятьдесят шестом — Добролюбов. Новый дух публицистики, критики, да и всего журнала быстро дал себя знать, он был духом времени. Не всем, кто печатался у Некрасова прежде, этот решительный дух пришелся по вкусу. Старые друзья убеждали отказать от новых сотрудников или хотя как-то их ограничить. Некрасов не уступал. Ушел Тургенев, отошел Толстой. Некрасов страдал, уговаривал, удерживал, силится сгладить возникающие чуть ли не с каждой новой статьей распри, но ни от кого не отказался и никого не ограничил.

В Чернышевском он обрел точку опоры. Чернышевский, едва ли не единственный из пестрой вереницы людей, желавших перемен, разглядел политические силы эпохи прежде, чем они вполне очертились, и понял, чего от них ждать. Он первым освободился от иллюзии, что все делается само собой к общему удовольствию. «До сих пор история не представляла ни одного примера, когда успех получался бы без борьбы», — писал он, заранее готовый к худшему обороту, и спокойная твердость, с которой он, без единого красивого жеста, продолжал свое, помогала держаться многим, а Некрасову в особенности.

Пронзительность некрасовского взора, необыкновенное умение договаривать, какого, может быть, ни у одного поэта больше не было, как раз и давали пищу злобным и демагогическим нападениям. Говоря о страдании народном, он не видел в самом по себе страдании добродетель и не льстил страдальцам, не изображал их светлым пятном во мраке жизни.

Литература с трескучими фразами.
Полная духа античеловечного,
Администрация наша с указами
О забираннии всякого встречного. —
Дайте вздохнуть!..
Я простился с столицами,
Мирно живу средь полей,
Но и крестьяне с унылыми лицами
Не услаждают очей:
Их нищета, их терпенье безмерное
Только досаду родит...

Воспевавшие русский народ главным образом за его терпение упрекали поэта за его откровенность. Некрасов писал:

Люди холопского званья —
Сущие псы инегда:
Чем тяжелей наказания,
Тем им милей господа.

А ему отвечали: «Он всегда не прочь грустно посмеяться или тоскливо поглумиться над народом». Это писал Н. Страхов, весьма известный тогда критик, и продолжал: «Толкуя беспрестанно о народе, он ни разу не воспел нам того, чем, собственно, живет народ, — ни единого чувства, ни единой думы, в которых бы отразилось внутреннее развитие народа, сказала бы его великая духовная сила...

В нас под кровлею отеческой
Не запало ни одно
Жизни чистой, человеческой
Плодотворное зерно.

Вот подлинный взгляд г. Некрасова на Россию и русский народ: при таком взгляде мудрено быть народным поэтом».

Иной читатель, пожалуй, решит, что Некрасов тут хватил через край. Как же, в самом деле, «ни одно»? Неужто не было в России совсем уж ничего доброго? У каждого из нас теперь наготове длинные списки великих людей, фундаментальных научных открытий и бессмертных художественных произведений. Но только Некрасов и не говорит «не было» — он говорит «не запало»!

Признавая пагубность самодержавия, — порой, впрочем, и позабывая о ней, — жизнь той эпохи у нас теперь нередко изображают в совершенном отвлечении от реальностей режима. Но рядом с некрасовскими в памяти живут и ленинские слова: «...царизм не только угнетает... 9/10 населения экономически и политически, но и деморализует, унижает, обесценивает, протестует его, приучая к угнетению чужих народов, приучая прикрывать свой позор лицемерными, якобы патристическими фразами».

Все подлинно доброе, что возникает в этих условиях, непременно так или иначе противостоит строю обыденной жизни. На страховский упрек Некрасов наперед ответил:

Есть и Руси чем гордиться,
С нею не шути,
Только славным поклониться —
Далеко идти!
Вестминстерское аббатство
Родины твоей —
Край подземного богатства
Снеговых стеной...

Это было сказано уже перед смертью. Но задолго до того сказано было о Гоголе:

Он проповедует любовь
Враждебным словом отрицанья.

Мужество отрицания и у него было катализатором поэтического таланта. Не только потому, что правда, сказанная вслух, когда все молчат, сама по себе на время обретает художественную силу, но прежде всего потому, что внутренняя свобода помогала ему видеть то, чего другие не замечали, оценивать то, чему другие не придавали значения. Он был, пожалуй, первым среди классиков русской литературы, кто сознательно противостоял самодержавию.

Откуда же брались «либерально-угоднические грехи», в которых он потом бесконечно каялся? Стидные его поступки объясняли двуличием и подчас даже извиняли это двуличие «переходной эпохой». Более пронзительные видели в них слабость, малодушие. Проявлением слабости была не только позорная ода Муравьеву-вешателю, усмирителю Польши, с которой Некрасов выступил после каракозовского выстрела, когда весь Петербург дрожал перед возможными последствиями неслыханного еще по тем временам дела, вдохновителем которого, и не то чтобы вовсе без основания, открыто называли «Современник». И в более спокойные дни некрасовская лира исторгала порой «неверный звук», и в уме его вдруг оживлялись либеральные надежды.

Сегодня мы знаем им цену, знаем, что либерал вовсе не враг самодержавия, каким он изображал себя на всех углах, а, напротив, самый преданный его слуга, отличающийся от хозяина разве что несколько большей дальновидностью. В меру дозволенного он укрепляет социальный фундамент трона, сообразив, что традиционное «тащить и не пущать» создает лишь видимость благополучия, а реальные устои расшатывает. Интерес либерала состоит в сохранении строя, и он никогда не отваживается на сколько-нибудь серьезный конфликт с треном. «Начинает этот либерал с того, что просит у началь-

ства реформ «по возможности»; продолжает тем, что кланчит «ну, хоть что-нибудь» и кончает вечной и неизблемой позицией «применительно к подлости» (Ленин).

При Некрасове российский либерализм только еще начинался. Казалось, что отход от старых николаевских приемов неизбежен уже просто потому, что иначе угроза нависает над самим существованием Российской империи. В Севастополе героизм русских солдат был не меньше, чем в двенадцатом году, но не мог уже пересилить топорность государственной власти, твердо стоявшей на страже вековой отсталости.

Дети, вас надули
Ваши старики.
Глиняные пули
Ставили в полки.

Либеральные надежды Некрасова во многом были надеждами на то, что монархия позаботится хотя бы о собственных интересах...

Позднее Александр Блок, лучше других усвоивший некрасовские уроки, произнес в свое слово «Возмездие», но царственная глухота оставалась непробиваемой. Минувло каких-нибудь сорок лет после смерти Некрасова, и с лихвой рассчиталась история с российским тронном за недалекое упрямство сидевших на нем и окружавших его. Неминуемость этого дня была поэту очевидна, и казалось, что должны же власти предержащие все-таки уразуметь, что виселицы и тюрьмы не в силах уже ни спасти от этого дня, ни даже его отсрочить.

Но обольщение бывало недолгим. Некрасов знал:

Окончив курс, на лекции студентам
Ученый Швабс с энергией внушал
Любовь к труду, презрение к процентам,
Громя тариф, налоги, капитал.
Сочувственно ему внимали классы...
А ныне он — директор ссудной кассы...

«Судья лишь тот, кто богу сам не грешен.
А мой принцип — прощение и любовь! —
Говаривал Володя Перелешин. —
Кто низко пал — воспрянуть может вновь.
Не бичевать, жалеть должны мы вора...»
А ныне он — товарищ прокурора...

Граф Твердышов... уж он ли над Россией,
Над мужичком голодным не грустил?
А кончил тем, что с земской гарантией
По пустырям дорогу проложил
И с помощью пенушки той дороги
Отяготил крестьянские налоги...

Изживая тщетные надежды, Некрасов не оправдывался высшими соображениями, но публично каялся, и это еще больше укрепляло новое поколение против соблазнительной доверчивости, не оставляя самодержавию в душах ничего, кроме отрицания. Ленин вспоминал: «...на Некрасове целое поколение революционеров училось». Другие читатели оставались вдали от революционной борьбы и даже чуждались ее, но вместе с его поэзией и в их сердцах входило нравственное отрицание строя.

В царской России общие понятия не были однозначными. Дело тут не только в обмане. И государь искренне любит отечество, коль скоро именно в нем он государь. Но миллионы его подданных, любя отечество, не имеют самых элементарных прав. Поэтому охранительному патриотизму противостоит очистительный. Некрасов был его пророком. В известных каждому с детства «Размышлениях у парадного подъезда» чуть ли не за полвека провидится Девятое января, — конечно, действие происходит еще

на Литейном, и гонят «оборванную чернь» еще окриком, но отношения уже выяснены.

Для Некрасова отечество не парадный подъезд, а толпа мужиков, которым вход в этот подъезд заказан. Голос крестьянина у него первенствует не потому лишь, что звучит чаще или трогательнее других, но потому, что осознан, как существенный для всех. «Крестьянский вопрос» и после смерти поэта долго будет главным для России. Все в ней происходящее будет проверяться им даже тогда, когда решающее слово перейдет к новым социальным силам. Некрасов мыслит понятиями революционной крестьянской демократии. За самым резким, горьким и даже безнадежным отрицанием мерцает мечта о крестьянской вольности, сознание, что без освобождения крестьянина от «цепей крепостных и иных» никому не видать свободы. Читатель, мечтавший о том же, понимал поэта и учился бесстрашию отрицания.

«Тошен свет, правды нет» — мотив неизменный для Некрасова, и его панорамическое зрение проходит с ним по всем сферам жизни. Его шедевр «Кому на Руси жить хорошо» более всего посвящен самой тяжелой доле — крестьянской, однако же не ей одной. Нехорошо оказывается и полу и помещику, — а задуманы были главы и о чиновнике, о министре, о царе. Это не уравнивание правого и виноватого. И в «Кому на Руси» и в блестящей сатирической поэме «Современники» видно, что недовольство тех и других совсем разное:

Как молод был, ждал лучшего.
Да вечно так случилось,
Что лучшее кончалось
Ничем или бедой.
И стал бояться нового,
Богатого посулами,
Неверующий Влас.

Иного недостает столичному воротиле:

О, господи, удвой желудок мой!
Утрой гортань! Учетвери мой разум!
Дай ножницы такие изобрести,
Чтоб целый мир остричь вплотную разом —
Вот русская неизблемая честь.

Иные беды у знати:

Вся беда России
В недостатке власти!
Говорят витии
По сословной части...

Но если все слои общества так или иначе неудовлетворены, стало быть, общество нежизнеспособно.

Нынче — царство подставных,
Настоящие-то редки,
Да и спроса нет на них.

Зыбкость царства ему очевидна, хотя царствующий дом и справит еще свое трехсотлетие.

Умирая, Некрасов более всего жалел, что не успел завершить «Кому на Руси жить хорошо». Глеб Успенский расспрашивал умирающего об окончании поэмы, о том, найдут ли мужики, наконец, счастья. Некрасов отвечал, что найдут, и после напрасных попыток Успенского отгадать, кто им будет, открыл, что, вернувшись ни с чем, мужики обнаружат на пересечении дорог в родные деревни кабака, а в нем пьяного.

Все у Некрасова написано осознанно, импульсивных излияний почти нет. Вот как будто непроизвольно вырывается:

Зачем меня на части рвете,
Клеймите именем раба?..
Я от костей твоих и плоти,
Остервенелая толпа!
Где логика? Отцы — злодеи,
Низкопоклонники, лакеи,
А в детях видя подлецов,
И негодуют, и дивятся,
Как будто от таких отцов
Герои где-нибудь родятся?

Но как точна расстановка персонажей! Она обдуманна, и не зря поэт взывает к логике.

Логике ему нередко ставят в вину. Но логика Некрасова особого рода. Это обыкновенно логика положения, логика жизни. А человек у него чаще всего не в ладу с этой логикой. Тут и запрятан незаметный сперва заряд.

Источник лирики Некрасова — почти всегда верно взятая ситуация, точное расположение страстей и интересов. Лирика его неотделима от судьбы. Он сам свой лирический герой. Легко опознать в стихах его черты, черты Панаевой, но происходящее с ними — участь многих.

В 1919 году Корней Чуковский спросил у виднейших поэтов, любят ли они Некрасова. Они ответили: Анна Ахматова — «Люблю», Александр Блок — «Да», Максимилиан Волошин — «Ценю и люблю глубоко», Андрей Белый — «Да», Федор Сологуб — «Да». Влияние его шире и глубже, чем принято считать. Имя Александра Твардовского напоминает, что и для советской поэзии некрасовская традиция едва ли не самая существенная.

Прошло сто пятьдесят лет со дня его рождения, почти сто — со дня смерти. Русская поэзия, и тогда огромная, стала еще больше. Но и Некрасов представляется нам крупнее, чем его видели современники.

Проходящий мимо Некрасова упускает не просто одного, пусть даже и большого поэта, но целую область поэзии, тот ее расположенный на поверхности жизни, отнюдь не поверхностный слой, из которого, собственно, и растет всякая поэзия. Поэтому читайте Некрасова, читайте подряд, не довольствуясь признанными шедеврами, читайте полного, академического, благо «Библиотека поэта» не так давно выпустила в трех томах превосходное собрание его стихотворений.

Некрасов не только обнажает былое, возбуждает гражданский дух, учит мужеству мысли и социальной трезвости. Не зная границы меж высоким и низким слогом, он и по сей день помогает уловить связь насмешливой уличной реплики и ораторского пафоса, безутешного стога и беспощадного признания. Он побуждает разом внимать всем голосам, звучащим кругом, постигая насмешливую и трагическую музыку их разноречия. И покуда голоса эти не умолкнут, покуда жизнь не прекратится, всякий с толком пишущий или читающий по-русски по-прежнему будет набираться у Некрасова умения видеть и слышать.

г. Ленинград.



Эдуард Балашов



✧
Я забыл ваше имя,
Но спустя много лет
Я нашел меж другими
Ваш веселый портрет.

Отдаленное эхо —
Шум дождя в вашем «жди»!
Колокольчики смеха
Вы прижали к груди.

Только это осталось
Из ушедшего вдаль:
Как разлука смеялась
И смеялась печаль.

А счастливым успеха —
Что им было дано!
Никому не до смеха,
Никому не смешно.

Не уйти от изъяна.
Но живет, как на грех,
Молодой, безымянный
Ваш насмешливый смех.

✧
Война.
Кто сумел — уехали,
Как мать говорит, в чем есть,
Я помню не то, что ели мы,
А то, что хотелось есть.

И то, как в низеньком городе
Шумел барахольный ряд.
Но слышно вздыхали: «Дорого»,
Шептали: «Москву бомбят».

Не помню я улиц с деревьями.
В садах — лишь стволы да пни.
Ни дня с облаками, сиренями.
Сплошь мокрые, голые дни.

Не видел я неба с птицами.
Пикировал с неба страх.
И я окружен был лицами,
Светящимися впотьмах.

А мимо шинели серые,
Красивые танки шли...
И вдруг в сорок пятом первые —
Весна и зеленые щи.

Юрий Пашков



Военное дело

Над нами небо с треском оседало,
В дугу согнув прожекторов подпорки...
Военруком прислали к нам солдата
Израненного — в бледной гимнастерке.
За партами — одни ребята,
Война — всегда мужское дело,
И, слабо хрустнув под прикладом,
Стал порошком кусочек мела.
Мы шли от гордости пунцовые
По мостовой — с подковным стуком,
Болтались ноги в сапогах отцовых,
Как песты в деревянных ступах.
От жесткой тяжести винтовок
Ходили плечи, что весы,
И бабы плакали, как вдовы,
А сторож — дед белоголовый —
Крутил нахмуренно усы,
Мы сноп штыками потрошили,
Вот-вот и наш бы грянул час:
Но старшие — они спешили —
С войной управились до нас.



Стоял народ и слушал сводку
Советского Информбюро:
Кружился рупор над слободкой
Роняя черное перо.

На нахлобученные шапки,
На лихо сдвинутый треух,
На латаные полушалки
Молитвы шепчущих старух.

Мороз водил по жести жостью,
Но люди шли, под рупор шли,
Как будто тут иные вести,
Чем дома, услыхать могли,

Как будто тут, при всем народе,
Плечом к плечу, к спине спина —
Любая весть терпимей вроде
Да и война не так страшна.



С неба самолетик мой низвергся,—
Из травы торчит картонный хвост.
— Как он полетит,— сказал мне

сверстник,
Если нет на крыльях красных звезд!

Под окном стоял красногвардейцем
В алых, пятипалых листьях клен.
С малолетства я привык надеяться
На звезды всеилье и знамен.

Верил я, что всякий станет смелым
Со звездой на шапке и ремне,
Помню: звезды, что чертил я мелом,
Огненными представлялись мне.

Эти звезды окрыляли мысли,
Согревали душу на земле —
Не взлечу я ни в какие выси,
Коль звезды не будет на крыле.

Петря Дариенко



Перевел
с молдавского
А. БОГУЧАРОВ.

Наказ отца

Обычай древний... Никогда
Его я не нарушу.
На все грядущие года
В мою вошел он душу!

Будь чуток к голосу отца,
Коль хочешь стать мужчиной,
Его наказ сквозь шквал свинца,
Недолю и кручину

Тебя к победе приведет,
А если смерть настигнет,
Запомнит подвиг твой народ
И имя не погибнет.

Мне он писал в тот трудный год,
Когда земля горела:
«Вперед, мой сын, всегда вперед,
Иди на подвиг смело».

Его запомнил я наказ,
Отцовский, неизменный,—
Он был и клятва и приказ,
Высокий, вдохновенный:

«Твои стихи, мой сын, как флаг
Для братьев в этот час!
И если их узнает враг,
Да устрашится нас».

Таких еще я не писал,
Но верил — напишу,
Ведь ветром боя я дышал
И до сих пор дышу!

Анна

Ахматова



Публикация
Н. А. ЖИРМУНСКОЙ.

Из неопубликованного



Чей-то голос звучит у крыльца
И по имени нас окликает,
И в ответ ему в темном углу
В мути зеркала что-то мигнуло
И, шутя, золотую иглу
Прямо в сердце мое окунуло.

29 марта 1960.
Москва.



Отпусти меня хоть на минуту,
Хоть для смеха или просто так,
Чтоб не думать, что досталась спруту
И кругом морской полночный мрак.
Знаю, как твое иссохло горло,
Как обуглен, как не дышит рот,
И какая ночь крыла простерла
И томится у твоих ворот.



Сколько б другой мне ни выдумал пыток,
Верной ему не была.
А ревность твою, как волшебный напиток,
Не отрываясь, пила.

Не давай мне ничего на память:
Знаю я, как память коротка.

Молитесь на ночь, чтобы вам
Вдруг не проснулись знаменитым.



Все в Москве пропитано стихами,
Рифмами проколото насквозь.
Пусть безмолвие царит над нами,
Пусть мы с рифмой поселимся врозь,
Пусть молчанье будет тайным знаком
Тех, кто с вами, а казался мной,
Вы ж соединитесь тайным браком
С девственной горчайшей тишиной,
Что во тьме гранит подземный точит
И волшебный замыкает круг,

64

А в ночи над ухом смерть пророчит,
Заглушая самый громкий звук.

1963, Москва.



И ничему не веря славословью
И наши как бы позабыв грехи,
Так жарко принимали к изголовью
И бормотали наши же стихи.

9 июня 1958.

Из большой исповеди

Я званье то приобрела
За сотни преступлений,
Живым изменницей была,
И верной — только тени.

1963 (?)

Из «Дневника путешествия»¹

Стихи на случай

Светает — это Страшный суд.
И встреча горестней разлуки.
Там мертвой славе отдадут
Меня — твои живые руки.

Декабрь 1964.



«Rosa moretur...». Hor., L. 1²

Ты — верно чей-то муж или любовник чей-то,
В шкатулке без тебя еще довольно тем,
И просит целый день божественная флейта
Ей подарить слова, чтоб льнули к звукам
тем.

И загляделась я не на тебя совсем,
Но сколько предо мной ночных аллей-то
И сколько в сентябре прощальных
хризантем.

Пусть все сказал Шекспир, милее мне
Гораций,
Он сладость бытия таинственно постиг...
А ты поймал одну из сотых интонаций,
И все недолжное случилось в тот же миг.

1963 (?)

Самой поэме³

...и слово в музыку вернись.
О. М.

Ты растешь, ты цветешь, ты — в звуке, —
Я тебя на новые муки
Воскресила — дала врагу...
Восемь тысяч миль не преграда,
Песня словно звучит у сада,
Каждый вздох проверить могу.
И я знаю — с ним ровно то же,
Мне его попрекать негоже,
Эта связь выше наших сил, —
Оба мы ни в чем не виновны,
Были наши жертвы бескровны —
Я забыла, и он — забыл.

20 сентября 1960.
Комарово.

¹ Написано в Италии, куда Ахматова ездила в декабре 1964 года в связи с присуждением ей международной литературной премии «Этна Таормино».

² «Роза еще медлит...», лат., Гораций, кн. 1.
³ Имеется в виду «Поэма без героя», над которой Ахматова работала более двадцати лет. Стихотворение тематически связано с третьим Посвящением к «Поэме» и написано тем же размером и той же характерной строфой, что и вся поэма.

Н. НАУМОВА

о зрелости подлинной и мнимой



В журнале «Юность» № 2 за 1971 год был опубликован диалог нашего корреспондента и ленинградского социолога Светланы Иконниковой «Трудно ли стать взрослым?». Поводом для разговора послужило письмо курского школьника Славы Ивашева. Размышляя над выбором места в жизни, Слава пришел к выводу, что сегодня особенно трудно стать взрослым, самостоятельным, так, чтоб как можно раньше начать приносить пользу обществу. В диалоге социолога и журналиста были затронуты многие коллизии «трудного» взросления подростка в наши дни. В частности, разговор шел об увеличившемся объеме знаний и как следствие того — удлинении сроков обучения. И о старении знания. И о необходимости переучиваться. Наконец, о гражданских качествах, которых требует от молодого человека социалистическое общество. Статья кандидата философских наук Н. Наумовой также затрагивает проблемы, поднятые в диалоге социолога и журналиста. Углубляя начатый разговор, Н. Наумова пишет о самооценности молодости, о тех факторах, которые в дни бурного развития научно-технической революции влияют на формирование личности и на выбор молодым человеком места в жизни.

Чтобы сформировать самостоятельно и широко мыслящего человека, да и еще к тому же хорошего специалиста, требуется время. И естественно, период социального созревания удлиняется. В этом не было бы ничего страшного, если бы не существовало прочно сложившегося, традиционного мнения в оценке этого периода в жизни человека. Считается, что это «подготовительный период» к некоторому «основному», некоторая прелюдия к «настоящей» жизни, как бы предыстория. Поэтому часто молодые люди стремятся как можно скорее проскочить этот период. Как Слава Ивашев, они болезненно воспринимают его затягивание («мне уже столько-то лет, а я все учусь»), чувствуют себя в каком-то смысле неполноценными, неуверенными. И естественно, чем длиннее (шире) эта «полоса созревания», тем больше неуверенных, неустroенных людей в обществе.

Это традиционное мнение нужно изживать. Если период социального созревания удлиняется, то он становится психологически вредным. А самое главное, что ложно его восприятие.

Период социального созревания не только и не столько подготовка к чему-то другому, взрослому, сколько совершенно самостоятельный этап человеческой жизни, имеющий свою, особую, неповторимую (вы ждете — прелесть, а я хочу сказать другое) **ценность** и для человека и для общества. С точки зрения социолога, совершенно очевидно, что многие человеческие качества и способности, жизненно необходимые для общества, проявляют себя наиболее сильно именно у «невзрослого», «недосозревшего» человека.

Мы с чувством превосходства говорим ему: «Ты мало знаешь». Ну и что? Зато он легче воспринимает новое, у него меньше вздорных стереотипов в голове, он еще не проникся той опустошающей житейской мудростью, которая воплощена в поговорках о своей рубашке и хате с краю.

Мы осуждающе говорим ему: «У тебя нет забот». А разве это уже само по себе так плохо? У человека нет забот — он становится разболтанным, безответственным, говорят нам. Бывает. Но зато у него есть время поразмышлять не об отчете, обеде или обиде, а о смысле жизни или красоте. Это нужно, чтобы кто-то думал о таких «бесполезных» вещах.

Мы не менее осуждающе говорим ему: «Все-то ты критикуешь, а ничего не понимаешь». Пусть критикует, пусть подвергает сомнению кое-что из того, к

чему мы давно привыкли. Может быть, мы привыкли зря.

Время созревания — это не просто время подготовки к тому, чтобы что-то дать обществу. Юность не только учится, она дает, «производит» нечто чрезвычайно важное для развития общества — искренность, непримиримость, непривыкание, беспокойство, критическое отношение к тому, к чему взрослый, созревший человек уже не в состоянии так отнестись. «Созревающий» — это отнюдь не просто «сырье». Это нечто завершенное, но другое, чем взрослый...

Ответить на вопрос: «Трудно ли стать взрослым?» — на мой взгляд, все-таки невозможно, если мы не определим, что такое «взрослый человек». С точки зрения экономической, производственной — это работник, с точки зрения психологической — индивид, сформировавшийся психологически, с точки зрения административной — лицо, достигшее 18 лет, и т. д. Очевидно, что эти определения не совпадают, и отсюда — многие из тех проблем, которые нас волнуют.

У нас, права Светлана Иконникова, преобладают экономические критерии. Когда мы определяем, стал ли человек взрослым, мы говорим: «Он уже работает, сам себя обеспечивает» и т. д. Это, может быть, и правильный подход, но не единственно возможный. Разве мы не встречаем людей, «экономически взрослых», но совершенно инфантильных в другом смысле: духовно нищих, по-детски повторяющих любую услышанную глупость или выдумку, не обладающих даже той культурой, которая есть у иного шаоляда-десятиклассника? Так почему же мы его безоговорочно считаем взрослым?

Если взрослый человек — это зрелый, **самостоятельный во всех отношениях** (профессиональном, культурном, нравственном) человек, то легко предположить, что стать им достаточно трудно. Сегодня так же, как было всегда.

Как научно-техническая революция меняет этот процесс? Во всяком случае, не однозначно, в различных, подчас противоположных направлениях. И здесь, как мне кажется, нужно прежде всего говорить отнюдь не об изменениях в характере труда, а о роли средств массовой коммуникации. Не автоматические линии формируют сегодня человека, а телевизор, радио, печать. Сила научно-технической революции (НТР) — здесь. Если мы не будем изучать этот процесс, ограничимся техническим прогрессом в производстве, мы ничего не поймем ни в социальных последствиях НТР вообще, ни во влиянии ее на формирование человека в частности.

Необходимо более широко рассматривать изменения, которые в нашу жизнь приносит НТР, не сводя их к усложнению техники производства (автоматизации, химизации и т. д.). НТР меняет сам стиль нашей жизни, нашу манеру мыслить, наши оценки и ценности, а ведь она (об этом иногда забывают) только средство, но никак не цель. Поэтому, охотно считаясь с требованиями НТР, нельзя в то же время позволять ей диктовать нам цели.

Если так, то основное качество, которое требуется молодому человеку в этих условиях, — достаточно «сложное» и редкое качество. Это — умение понять, освоить все то, что предлагает нам НТР, и в то же время способность отнестись к этим подаркам трезво, критически. Способность овладеть сложным станком и в то же время не обоготворять его, не считать его вершиной человеческой культуры. Станок есть станок, и восхищения в любом случае заслуживает не он, а создавшие его люди. Способность быстро ориентироваться в телепрограмме — не только включать, но и выключить телевизор вовремя. Вы скажете: но ведь тут главное то, что смотрит человек. Согласна,

но по мне лучше зритель, «избирательно» смотрящий детективы, чем тот, кто смотрит все подряд.

НТР в сфере производства (материального и духовного) властно подсказывает нам специализацию, узкую специализацию. Именно поэтому мы должны, как мне кажется, поставить специальной целью образования — формировать **широко** (особенно гуманитарно) образованного, **широко** мыслящего человека, способного понять и правильно, критически оценить самые различные явления культуры и социальной жизни, а не только те, которые непосредственно связаны с его профессией. Это необходимо. И совсем не потому, что, как часто утверждают, широкое образование позволяет быть лучшим специалистом. Слухи о том, что НТР требует везде специалистов широкого профиля или даже «всесторонне развитого человека», сильно преувеличены, по моему. Не для того (и не потому) нужно читать Шекспира, что это поможет точить гайки или проводить социологическое исследование. Может и не помочь, а, наоборот, помешать. Гуманитарное образование — это не средство для чего-то (для лучшего овладения профессией, например), а ценность сама по себе. И особенно в эпоху НТР, задающей нам иные, негуманитарные ценности.

Здесь обычно возникает вопрос: а как же все это совместить, как быть с «потоком информации», нехваткой времени и т. д.? Конечно, поток научной информации возрастает. Но поток **нужной** человеку информации, необходимой для его духовного формирования, возрастает не так быстро, как изображают. Человек не может знать все — и в этом нет ничего страшного. Ему совсем и не нужно знать все. Существует бездна знаний, которые не нужны никому, кроме специалистов. Да и им не всегда нужны — этим знаниям место в справочниках, в книгах.

Совсем не обязательно знать даже формулу, выражающую связь массы и энергии, ибо само по себе это ничего не дает человеческой душе. Но знать, почему связанный с этой формулой период развития физики так богат «драмами идей» и в чем, собственно, тут драма, — это необходимо. Необходимо, чтобы почувствовать, с какими не просто сложными, но и трагическими проблемами сталкивается человеческий разум, в могущество которого мы свято (а чаще всего слепо) верим. Это учит человека мыслить, понимать современную науку, ее подлинную силу в одних сферах и ограниченность в других (например, в сфере морали).

Можно не знать, кто послужил прототипом для Ставрогина в «Бесах» Достоевского. Но вряд ли можно считать сознательной, «взрослой» нравственную позицию того человека, который слыхом не слыхал о такой моральной проблеме, как соотношение средств и целей, и о принципе «все дозволено». Много ли таких проблем, таких интеллектуальных и нравственных драм, в которых должен разбираться человек? Много ли нужных знаний, тех, которые не остаются просто «информацией», а меняют стиль мышления, психологическую структуру человека? Представьте себе, не так уж много. Может быть, потому, что они в каком-то смысле вечны, давно обнаружены, проверены на важность, давно решаются, никогда не получают окончательного решения, постоянно обновляя лишь свое «звучание».

Разумеется, этот отклик не охватывает всего. И хочется, чтобы читатели включились в разговор о труде и образовании, о ценности молодых лет, о широте взгляда на жизнь. Ведь в конечном счете спор здесь не о том, «сколько нужно учиться», а во имя чего и как учиться, жить, становиться полноценным человеком социалистического общества.



**ВЛАДИМИР
АМЛИНСКИЙ**

МАЛЬЧИШКИ БЕЗ ДЕВЧОНОК

Рисунки
Ефима Лехта.

ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ГАРМОНИИ

У же не в первый раз в этом прибалтийском городке, и, кажется, знаю здесь все: и узкую главную улицу, и современную и средневековую, с окнами в металлических жалюзи, с потаенными, темными двориками, которые столько перевидали за долгие свои века и любовью, и разлук, и войн...

Но главное в этом городке — замок. К нему идешь зелеными весенними аллеями старинного классического, на английский манер парка, с наядами и полубобитыми купидонами, а он все как бы не приближается, маячит вдалеке, не становясь реальностью, и ты словно соприкасаешься с тайной, с чем-то бывшим задолго до своего существования, странно знакомым и неведомым.

А когда приближаешься к тайне, то обнаруживаешь ее отсутствие. Просто развалины, каменные проломы в траве, и все в таблицах, в справках, в пояснениях. На камнях парочка. Спугнутая мною, парочка исчезает, тает, будто и она мне привиделась.

Ощущение покоя и легкой печали охватывает меня в этом иллюзорном замке, в замке, которого нет. Внизу река, кинжально узкая, блестящая, и терпкий запах наливающегося почек у кустарника над рекою, и такая в мире разлита тишина, что боязно дышать, и все лучшее в тебе, глубоко затаенное, распрямляется и оживает, точно эти почки. Ты растворяешься в этой тишине, в этом лесу, реке, замке, в сыроватой вешней земле, в веках, прошествивших над этим замком, в веках, будто бы без войн, без человеческого разлада, без одиночеств, без потрясений...

Странное и почти физическое ощущение гармонии. Это будет продолжаться еще минут 10—15, когда я пойду знакомым маршрутом — парком вниз, выйду на улицу, пройду мимо вокзала, где хрипят старые «икарусы», и люди спешат, но по-эстонски, спокойно и собранно, с баульчиками и клетчатыми чемоданами, в порядке живой очереди, согласно купленным билетам...

Покой уходит, а гармония все еще остается, обре-
тя теперь свойство движения.

Но вот я миную вокзал, сворачиваю, оказываюсь в большом сумрачном дворе. Точнее, это не двор, а площадка, полуотгороженная от улицы забором, деревьями. Еще несколько шагов — и глухая стена... Подхожу к массивной двери, нажимаю кнопку звонка, кованая дверь почти бесшумно растворяется, караульные тщательно проверяют документы, — и вот узкий, как пенал, двор. Тоненькие деревья в железных кадках, тишина, беленные известью строения. Так же тихо, как в парке, не видно людей, но гармония кончилась.

Деревья растут тут не из земли, а будто бы из железа, мальчишки не гуляют с девочками...

Девчонок нет.

А мальчишки отбывают срок, искупают вину.

Здесь живут виноватые мальчишки.

КОЛЯ ЛЕПИК

Я пришел в «спортчас». Вместе с воспитателем садимся на трибуну. Две футбольные команды сражались изо всех сил, а на скамейках сидели остальные — болельщики. Если б я появился здесь впервые, наверняка игра бы прекратилась (пусть ненадолго) и меня бы пристально и оценивающе изучали: что за «фраер», откуда, зачем, за кем?



ИЗ РАЗГОВОРА С ВОСПИТАТЕЛЕМ ЛЯЛИНЫМ

Появление в колонии нежданный человека — всегда камень, брошенный в воду. Идут круги. Со- бытие обрастает догадками и предположениями... Но ко мне уже привыкли и, лениво глянув, про- должают болеть. Впрочем, не все смотрят на иг- рающих. Есть и такие, что лежат на скамейках, раз- девшись до пояса, блаженно покуривают, загорают. Весна все-таки. И отдых. И в этот час ты никому ни- чего не должен: ни воспитателю, ни контролеру, ни мастеру в цехе, ни учителю... Загорай себе, кёря, пока солнышко светит, пока не закатилось.

Ищу знакомых. Последний раз в этой колонии я был два года назад. Издали не узнаешь знакомых, все они одинаковые, стриженные, в серых штанах, в грубых ботинках. Узнаю немногих.

Своеобразный человеческий конвейер работает. Одни уходят, отбыв срок, освободившись. Другие с воли входят в эту жизнь, в этот быт и режим, растворяются среди других таких же, как бы по- хожи.

Но похожи только статьи Уголовного кодекса, пре- ступления и наказания. Люди все разные.

Я узнаю в этой массе Колю Лепика. Он тоже узнает меня, приветливо кивает, степенно идет ко мне, садится рядом на скамейку.

— Ну, как жизнь?

— В норме.

— Когда домой?

Зеленые круглые глаза его затуманиваются.

— Еще побарабанить надо. Один год, восемь ме- сяцев, двенадцать дней.

— Записываешь?

(Некоторые ребята делают зарубки на стене, а кое- кто — отметки чернилами на кисти).

— Нет, все в горшке. — Он стучит пальцами по лбу.

— Ну, а Лева как?

— Он-то в порядке. Уже дома.

— Ну, а Пратс?

— Пратс освободился и по новой загремел. Те- перь уже во взрослянке.

— Как же это он?

— А кто его знает. Сыпанул на каком-то лок- шовом деле, дурачок.

— Ну, а Левка не вернется? Сюда?

— Никогда, — с уверенностью говорит он. — Лев- ка раз обжегся — все, кранты.

— Ну, а ты?..

— Что я себе, врал?!

Лицо его выражает непреклонную уверенность, железную волю и одновременно снисходительность ко мне, к моим странным, удивительным, непонят- ным сомнениям. Он улыбается. Я протягиваю ему руку, он от души жмет ее обеими руками, отхо- дит. Садится с ребятами. Издали слышу, как ребя- та говорят ему:

— Чего ему?

— Да так... Поговорили.

— Ну и че?

— Да ништяк...

Он закурил, посмотрел на поле, на лице его все то же снисходительное выражение: чего, мол, во- змущаться, штуку закатить не могут.

— Позорники! — кричит он громко и добродуш- но. — С поля.

Уже после отъезда я узнал, что из колонии был совершен побег. Через две недели бежавший был пойман, возвращен и получил добавление к сроку. Это был Коля Лепик.

Некоторые фамилии здесь и дальше изменены.

Не скажу, что все они дурные, — говорил мне воспитатель Лялин. — Есть исключи- тельно спокойные ребята, аж удивляешь- ся: как они дошли до жизни такой? Есть исключи- тельно испорченные, нахальные, дерзкие, я бы даже сказал, странные. И то не удивительно: кому же здесь быть, как не таким? И это лично меня не пугает. Но вот в чем трудность — не знаешь, что от них ждать. Вот он передо мною сидит. Глаза, как гово- рится, чистые, лучистые, разговаривает толково, по делу. Но, думаете, я знаю, что он завтра вытворит? Не знаю я этого... А он сам знает? Да никогда! Вот в том-то самая большая трудность. Говорите, интуи- ция? Вполне согласен. Интуиция с ними нужна, можно сказать, нечеловеческая. Вольтера помните по тому приезду? Уж, казалось, парень культурный, восьми- летку окончил, твердо шел на досрочное — и то ведь чуть не согрешил. Да, да, чуть не убежал от нас вос- питанник Вольтер... Да только раскусил я его нехоро- ший замысел. Интуиция, прямо скажу, сработала. А вообще-то попадаются такие, как... эти... ну, кото- рые все время цвет меняют. Да, да, точно хамелео- ны! Тут набегашься — не то что название, свою фа- милию забудешь. Сегодня он тихоня, завтра он черт без хвоста. Вот и попробуй к нему приспособиться.

Так говорил мне воспитатель Лялин, коренастый человек, в мундире старшего лейтенанта, с просто- ватым, добрым, усталым от ночных бдений лицом. Возможно, он был прав. Даже точно прав. Дей- ствительно, как узнать, что они вытворят завтра. И не раз я слышал о трудностях подобного рода и в других колониях, от других воспитателей.

Вместе с тем эти слова отчетливо обнаруживали некоторую растерянность воспитателей-педагогов перед темным, причудливым, взрывным миром пси- хологии этих ребят.

Мир этот мало высвечен светом общественного, научного, художественного и просто человеческого внимания. Тем светом, что так щедро исходил от личности и работ Макаренко. Этот генератор и сейчас еще не изработался... Только наступили другие времена, и колонию населили другие люди.

Кто они? Вот первый вопрос. И уж поняв это, мож- но осторожно, всем миром подступаться ко второму: как с ними быть?

ВОЛЬТЕР

Вольтер была фамилия этого парня. Ни боль- ше ни меньше. Когда он пришел впервые в колонию, его ребята спросили:

— Ты в честь пистолета, что ли, Вальтер?

Он ответил с достоинством:

— Я Вольтер, а не Вальтер... От философа.

— Он кто тебе, пахан?

— Дед.

— Ну и не гоношись. Тут у одного дед — народ- ный артист, а внучек сидит, молчит в тряпочку.

И Лева Вольтер, внук философа, не стал «гоно- шиться»...

Я познакомился с ним в свой первый приезд сю- да. Привлекла фамилия. Кого только я не встречал в детских колониях, каких только кличек не слы- хивал, но ни энциклопедисты, ни Вольтер ни разу

не попадались. И мне захотелось поговорить с Вольтером. Его должны были вызвать в час отбоя. Было уже поздно, колония отходила ко сну, но Вольтер еще топтался в зоне, курил, прислушивался к мирным звукам за стеной: к шуму автобусов, лаю собак, женским голосам. Какая-то спокойная, не юношеская даже печаль, а точнее, скорбная осмысленность того, что с ним произошло, была в его лице, в его позе, в том, как он медленно шел по зоне, ожидая вызова. Я часто замечал у ребят в подобных местах смятенность души, тоску и страх, особенно перед сном, когда работа, учеба, местные заботы, интриги, вражда и дружба, отношения друг с другом, прогулки отходят на второй план, и накатывает вдруг это темное, бездомное, что потом затихнет, уйдет в подсознание, в сон, и лишь ночью, на койке разрядится стоном, внезапным всхлипыванием, беспомощным ругательством или коротким вскриком «Мама!».

Да, они учатся и работают и даже играют в футбол, и раз в неделю кино, но на вышках часовой, и железная зона, и редкие деревья растут как бы не из земли, а из железных кадров, и срок нацарапан чернилами на кисти. Как они ждут дня своего освобождения!

Первый раз я побывал в детской колонии больше десяти лет назад. Заболел невеселой этой темой, впервые написал об этом на страницах «Литературной газеты» и всякий раз, во всякое новое посещение ловлю себя на противоречивом, остром ощущении, на ощущении несовместимости: пятнадцатилетних мальчишек и того места, что стало их временным домом. Впрочем, каким там домом? Жильем, местом пребывания, а точнее, «местом лишения свободы». И как ни оживляй его кино и футболом, как его ни называй, оно останется тем, что есть.

Но утром я буду перебирать картотеку в канцелярии. И прочитаю краткие записи: Лепик — ст. такая-то, Вольтер — ст. такая-то. Мало что говорящие несведущему человеку, безликие, холодные обозначения. За ними след трепетный и страшный, железный след по живому. И вот уже отрешаешься от ночного барака и от детского потаенного вскрика, и перед глазами лишь эти обозначения, эти цифры, как бы набухшие чужим горем. И я мысленно вижу тех, кому пришлось столкнуться с одним из таких мальчишек на узкой дорожке.

Вижу мысленно парк культуры в Душанбе, нагих, приклатенных юнцов, которые, скучая выискивают глазами того, к кому можно было бы придраться. Вижу их дегенеративные, приплюснутые кепочки, их глаза, тупые и равнодушно-злые, слышу их изощренный, ленивый мат. Прибежала собака, они оживились, стали кидать в нее камни на точность. Постепенно развеселились, ожили. И вот уже раздается их громкий детский смех. Кто-то решил им крикнуть: «Что делаете?» Они посмотрели на него без выражения, кто-то процедил: «Пошел ты, козел, подальше, покуда цел...» Все это нормально, привычно, но меня пронзает предчувствие беды.

А в конце вечера я услышу дикий треск рекламных щитов около танцплощадки, чей-то хриплый, нечеловеческий вскрик, чуть позже — длинную милитарскую трель. Дальше — метнувшиеся к выходу фигуры, да, те самые... И кто-то догоняющий, а у щитов лицом вниз, поджав под себя ноги, парень в белой рубашке с большим, кирпичного цвета пятном на спине. Кто-то хочет поднять его, но кто-то другой кричит: «Нельзя, нельзя! Сейчас приедут...» Потом еще один человек окликает его по имени, трогает, берет за руку. И мы все видим эту падаю-

щую, неживую руку, и отворачиваемся, все мгновенно поняв, поняв, что окликать его уже бесполезно.

Потом виновных поймают, определяют степень вины, срок. И они придут вот сюда, в колонию... А что будут делать родители того, упавшего у щитов?..

И я мысленно пытаюсь соединить два воспоминания. Первое — от ночного барака, от спящих ребят, второе — от парка в Душанбе. Два отдельно живущих воспоминания. Соединяются они трудно. Но их надо соединить, как соединяется преступление и наказание, вина и искупление ее.

РАССКАЗ ВОЛЬТЕРА

Р аботал я до срока на заводе в Таллине. Специальности не было, был подсобником-разнорабочим. Носили всякую дрянь в баллонах, в том числе и спирт. Был я к этому делу вначале без интереса. Потом приходит ко мне один ханыга с нашего завода, Афанасий, говорит: «Что же ты, как не родной ходишь?» А я говорю: «С какой стати я тебе родной буду?» «А с такой, — говорит, — что выпить надо». И достает бутылку. Я лично отказываюсь. Он мне: «Ты кто, работага или шляпа?» Я ему: «Отзынь от меня...» Вот такой разговор у нас состоялся. В конце он мне говорит: «Давай выпьем и будем товарищи». Ну и выпил я с ним. Закопали мы. Он говорит: «Хочешь приварок иметь?» И стал накручивать насчет спирта. Уговаривает меня тырить понемногу, аккуратно, остаточки. Много ль человеку надо? Банку спирта наскреб, и вся забота. Потом он ушел. И еще несколько раз приходил, испытывал меня на смелость.

Я все отказывался, а потом стал помаленьку приворовывать, самую малость. По капельке. И стал я каждый вечер пьяный. Ходили мы с Афанасием по дружкам, там мы пили пунш. А пунш — это спирт, подкрашенный сиропом. Понравилось. Привык. Мать скандалит, кричит: «Я на завод пойду!» Ну, конечно, не пошла. Тут стали меня накручивать ребята на более крупную работу. Не сделаешь, говорят, скажем, что спирт крал. Начался у нас разговор нехороший. Слово за слово. Вышли во дворик. Я на всякий случай биту железную прихватил. Тут и получилось...

Он замолчал, а я не стал расспрашивать о том, что же получилось.

— Ну и позалетел я сюда. Сначала растерялся, потом привык. Хотя привыкнуть, конечно, нельзя. Понял здешние порядки, понял, что один тут пропадешь... Что надо найти себе друга, по-здешнему, кента. И желательно не одного. Что среди своих кентов надо быть в авторитете, иначе станешь мелкой сошкой.

— Ну, а воспитатели знают об этих ваших кентах?

— Знают, конечно.

— Ну и что?

— Ничего. А что с этим сделаешь?

ИЗ РАЗГОВОРА С ВОСПИТАТЕЛЕМ ЛЯЛИНЫМ

К онечно, знаем. Сколько лет я работаю в колонии — это существует. У нас официальное деление на отряды. У нас есть актив, но рядом с этим существуют своего рода товарищества, можно сказать, тайные (хотя мы все эти тайны знаем). Группы ребят, объединенных между собой. Иногда двое ребят объединяются,

иногда — пять, иногда — гораздо больше. Они себя называют «кенты». У них «общий стол», делятся между собой тем, что имеют, в случае чего — стоят друг за друга. Нередко и продают друг друга. Как я лично к этому отношусь? Одним словом не ответишь. Бывают часто и нехорошие вещи, особенно когда речь идет о деньгах и посылках. Тут частенько все равенство забывается. Кто по сильнее да похитрей, хапает себе... Но это, так сказать, вопреки их неписанным правилам. Есть кое-что в этом и положительное, как ни странно... Все, что в котле, — общее. Я за друга, друг за меня. Кроме того, мальчишкам нужна тайна, особенно таким, как эти, привыкшим к своей неизвестной взрослым жизни. Ребята игру любят. Так лучше пусть будет игра в кентов, чем игра в грабителей и убийц. Сначала боролись с этим, подавляли, раскалывали ребят из всех сил. Ничего не помогло, а приняло только более уродливые, по-настоящему скрытные и подчас жестокие формы. Пусть он называется кент, но пусть он будет товарищ. Вот что я об этом думаю.

РАССКАЗ ВОЛЬТЕРА

(Продолжение)

В общем, дела мои шли ничего. Учился я нормально, работал. Кажется, все в ажуре. Только чем дальше, тем больше я начал скучать о доме. Все ночи напролет думаю: зачем я здесь? Из-за какого дерьма я вляпался и жизнь свою надорвал? Не спал я в тот период ночами и всякие планы обдумывал. И вдруг встряла мне блажь: уйти в побег. Разработал я план, как уйду из зоны, как пройду через город, как попаду на поезд, а там — Ленинград. Девчонка у меня была в Ленинграде. О плане своем — никому, даже самым близким кентам. А сам готовлюсь, жду момента.

Встречает меня однажды воспитатель Лялин, отводит в сторону, говорит:

— Ты чего на футбол не ходишь? Болееешь?

— Да нет, — говорю, — надоело!

— Что, футбол? — спрашивает.

— Да нет, все здесь надоело.

— Ну, и какой вывод?

— Еще не допер до вывода.

Так сказал, а сам поворачиваюсь — и назад, в барак. С тех пор он все на меня поглядывал, вроде бы со значением. Однажды он вызывает меня к себе и говорит:

— А я знаю, что ты задумал.

— Вы-то знаете, а я не знаю.

Он говорит:

— Я тебя предупреждаю и даю совет. Осталось тебе два года, добазишь еще два. Если так понравилось тебе здесь... Зачем сам себе жизнь портишь?

Через неделю мать приехала, видно, он ей чего-то написал. Привезла она мне всего, успокоила. Ну и отошел я малость от своего плана. А потом и вообще на него плюнул. Ну, а теперь годик мне осталось. Основное отсидел. Только к концу дни больно длинные, да и ночи не коротки. Как в Заполярье... Так вот ждешь, ждешь, глядишь вперед, надеешься. Только туманен берег.

Так он и сказал — «туманен берег». Он говорил, а я вспоминал всех тех ребят, которые вот так же, с тоской и страстью ждали того дня, первого дня свободы. Он наступал, а с ним и самое трудное.

— Почему самое трудное? — спросите вы.

Человек заполнил обходной лист, сдал книжки в библиотеку (как на предприятии перед расчетом

или как в доме отдыха перед отъездом), затем попрощался с друзьями:

— Ну, керюхи, до свидания на свободе.

— На воле свидимся и чтоб обратно ни ногой... Порядок?

— Порядок!

Скажут тоже — обратно ни ногой. Да он лучше превратится в малышку-муравья и будет ползать по земле под ногами у людей и таскать на спине здоровенные соломины, чем вернется сюда. Никогда.

Начальник колонии вручает ему документы, желает удачи... И вот он на вокзале. До поезда еще долго. Подходит к вокзальному буфету, просит бутылку пива... Первая сладкая пена свободы...

«И вы, нехорошие темные гаврилы с поллитрой, отзыньте от меня, не прикасайтесь, не подходите и не мигайте своими мутными фарами, — мысленно проговаривает он страстный, загора заготовленный монолог. — У вас своя компания, у меня своя... по рублику, — говорите — фига?! Я знаю эти дела. Мне это один раз уже вышло поперек печенки».



Так очень громко говорит он сам себе, убеждая и успокаивая, счастливый, захмелевший от пива, от прекрасного, нереального, полузабытого запаха вокзала; дивного запаха гари, сухого гравия, пирожков, туалетной карболки, машин, тройного одеколона, пота, спешки, неповторимого, пряного, с легкой горчинкой запаха свободы.

Сейчас он сядет в поезд и поедет... Куда? Домой. Что у него дома? Этого я не знаю. До вокзала я следил за ним, я повторял каждый его шаг. Я подталкивал его своим взглядом, и если бы мой взгляд имел силу графической линии, то он вычерчивал бы прямую, только прямую, без кругалей и загибов. Мой взгляд молил его: не ошибись, друг, сядь в этот поезд, поезжай этим маршрутом.

Но вот он сел в поезд, я уже не вижу его лица, слышу только шум вагонов, вижу только мерцающий, уносящийся в полутьму неизвестного пространства огонек. Что дальше? Этого я уже не знаю. Если от колонии до вокзала дорога у всех одинакова, от вокзала до дома у каждого свой кружной, долгий путь. «До дому?» У каждого ли из них есть дом? ...Наутро его приглашают в милицию, разговаривают спокойно, хорошо, просят учесть, дают совет, делают напоминание, желают хорошего начала... Короче, чтоб не баловал. Понятно? Понятно! Об чем речь! Его устраивают на работу. Надо работать.

Работать не очень хочется. Не слишком. Нароботался там. Хочется отдыха, тишины, приятных голосов. Громкой музыки. Зачем ему этот нудный шум станка? Но там — попробуй не поработать, там нет

выбора. А здесь... Можно ведь и не пойти... Что будет? Руготня, упреки, советы. Ха-ха... слышали мы такие вещи. Последнее предупреждение? Ну, это и в футболе бывает, покажут штрафнику желтую карточку, ну и что? А он кивает головой: извините, понял, больше не буду. Ну и что, играй себе дальше, а мы поглядим, как у тебя получится.

Прогул, предупреждение, собрание: да, да, конечно, осознал, понял, больше не буду никогда. (Эту «науку» он знает, этому еще в колонии научился: грехи тихо, кайся громко и внятно.)

А после собрания куда?.. К кому? Неужели не найдутся в этом городе ребята, которые помнят, которые знают, которые всегда одолжат своему человеку пятерочку, а то и красненькую? И вот встретились. Долго он, однако, крепился, не ходил к тем ребятам. А говорят: безвольный. Но теперь, когда плохо, куда пойдешь.

— Все целы?

— Почти.

— А где Косуля?

— В армии, в Забайкалье.

— А где Лапшин?

— Сел.

— А где Ноздря косматая?

— В техникуме. Большой ученый. Бросил пить, начал заниматься.

— Ну что, впрошвырку?

— Пошли.

И пошли. Поговорили. Помолчали. Хорошо б что-нибудь придумать... Пошли в кафе «Молодежное», не пустили. Мест нет. Пошли в шашлычную. Там взрослые мужики сациви едят, боржомом запивают.

Пошли в подъезд. Один вечер в подъезде пили, второй, третий... И все так тихо, культурно, без глупости, «без скандалов и кинжальных драк».

— А завтра башлей хватит?

— А не хватит — достанем.

— А где достанем?

— А где раньше доставали.

— А как?

— А вот так... Миллион — через пятак. Не надо лишних вопросов...

Я всегда верил, что из всех уроков самые запоминающиеся — уроки жизни. Человек совершает ошибку и платит за нее, платит жестокой ценой, и уж, казалось бы, не для того, чтобы повторить ее и заплатить вновь, вдвойне.

Казалось бы...

Кое-кто из ребят, освободившись после срока, получает новый срок и возвращается назад. Чаще всего уже во взрослую колонию. Здесь множество причин: неустойчивость, отсутствие дома, разнородные взрослые, старая среда, от которой не так-то просто оторваться... Все это важные причины. Но это причины извне. Есть еще причины изнутри. Причины, не зависящие от других. Безответственность человеческая, гражданская? Да, конечно. Но это слишком широкое понятие — безответственность. Скорее это нравственная неусвоенность урока.

Отчего это идет? Оттого, что школа была легка? Нет, она была достаточно тяжела, даже для самых толстокожих. От отсутствия доброй воли? Нет, он искренне был уверен, что никогда не начнет снова. Отчего же?

Оттого, что нравственные навыки (и, как правило, трудовые), не воспитанные с детства, слабые, оказались беспомощными перед инерцией. Перед инерцией того образа жизни, тех привычек и той среды, которая и вынесла его в колонию.

«Все возвращается на круги своя».

Как он не хотел, как он обходил эти круги, а на самом деле с самого первого дня свободы медленно и почти бессознательно полз к ним, чтобы незаметно переступить кольцо и оказаться в нем. Взаперти. В одиночку. Потому что сколько бы ни было у него кентов — перед следователем он один.

Вот почему, узнав, что Лева Вольтер освободился, я с тревогой и интересом думал о его судьбе. И когда я попал в Таллин, я позвонил ему. По моим подсчетам, прошло полгода со дня его освобождения. Я волновался, набирая номер, ждал с холодком, что вот мне сейчас скажут с той напряженной отчужденностью, которая никогда не сулит ничего доброго... «Кто спрашивает?.. Его нет здесь... Да, он уехал надолго».

— Кто его спрашивает? — настороженно ответил вопросом на вопрос молодой женский голос.

Называю себя.

— Вы встречались с ним в колонии? Знаю, — сказала женщина.

— Так все-таки можно его к телефону?

— Его нет сейчас.

Наступила пауза... Что-то громкое верещало в трубке, точно ветер в песке.

— Когда он будет?

Снова пауза, раздумье и, наконец, ответ:

— Утром. Он сегодня в ночную смену на заводе. Что ему передать?

Мне хотелось ей сказать, что я бы с удовольствием увидел Леву и ее, что мне хотелось бы о многом порасспросить, но я подумал: зачем это ему сейчас? Зачем на мгновение возвращать его туда, откуда он ушел? И я сказал:

— Передайте привет. Просто был здесь проездом. — И еще спросил, не удержавшись: — Давно ли вы носите эту фамилию?

— Уже второй месяц, — сказала Оля Вольтер, — а точнее, 48 дней.

Здесь тоже был точный счет.

ВОСПИТАНИЕ «ЛОПАТЫ»

Смирнов, Смирный, он же Лопата. Смирнов — фамилия; Смирный — кличка, по фамилии и, возможно, по контрасту; Лопата — не знаю, отчего, может быть, оттого, что руки у него широкие, как лопаты, с толстыми, перебитыми в драках пальцами. Страшно представить себе такую грабку, словно чугунное ядро, летящую в тебя. Разговаривает он неохотно, словно бы ожидая подвоха от собеседника. Прежде чем сказать слово, делает глотательное движение, кадык на толстой загорелой шее ходит, движется, слово ворочается в этом раструбе, словно бильярдный шар, прежде чем тяжело выскочит из глотки.

— Че говорить?.. Ну, было, да прошло.

— Первый раз ты когда сел?

— Маленький я тогда был, в начальной школе учился.

— За что?

— Порезали одного дурака. Ребенок я был, можно сказать, жизнь не понимал.

— Ну и с тех пор... еще не раз?

— Бывало.

— Видно, тебе здесь нравится?

— Жить всюду можно.

— У тебя восемь нарушений. Последнее за что?

— За водку.

— Выходит, и здесь пьют?

— Подвезло... Один принес вольнонаемный.

— Так что жить можно?

— Обязательно. Я лично везде уживаюсь.— Он неожиданно улыбнулся, обнажив редкие крепкие зубы, и добавил: — Характер у меня спокойный.

Где только этот парень не побывал! Был в детприемнике, имел десятки приводов, затем вооруженный грабеж... Колония... Затем освободился, затем драка с тяжелыми увечьями — и снова колония. В морском районе Таллина он вечно таскался с группой ребят, всегда пьяных и готовых драться с кем угодно и по любому поводу. Они были хулиганы, «глотники». Держались стаей. Однажды на танцплощадке они зацепили моряков. Моряки, здоровые ребята, бились крепко, но Лопата избил двоих

страшно, так что моряки попали в госпиталь. В милицию, правда, они не обратились. Выздоровев, они разыскали Смирнова, и была новая страшная драка, уже со свинчаткой и ремнями. Лопата получил новый срок.

В нем словно заряд агрессии сидит, мощный заряд, только прикоснись к невидимой кнопке — и эти ручищи-молоты начнут свою страшную работу, превращая человеческую плоть в месиво. Ему, однако, не чуждо чувство справедливости. Несколько раз в колонии он заступался за ребят, которых задирали более сильные и наглые.

Как же воспитывают Лопату?

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ НА МАЙ, ИЮНЬ, ИЮЛЬ МЕСЯЦЫ С ТРУДНОВОСПИТУЕМЫМ ВОСПИТАННИКОМ СМИРНОВЫМ А. Д.

(Приводится полностью с подлинника)

Мероприятия	Выполнение и результат	Что делать в будущем
1. Провести беседу о пользе приобретения общего образования.	Беседа проведена. Обещал в следующем учебном году относиться к учебе с полной ответственностью.	Внушать, чтобы готовиться к экзамену по химии.
2. Провести беседу о дружбе и товариществе, взаимоотношениях между людьми в коллективе, как эти вопросы освещены в кодексе строителя коммунизма.	Беседа проведена. В беседе участвовал. Делал некоторые правильные выводы. Не согласен полностью, что человек человеку — друг, это действительно с его стороны наблюдается.	Провести дополнительную беседу.
3. Провести беседу о необходимости в дальнейшем начать самостоятельную трудовую жизнь.	Направление беседы не хотел понимать. В беседе не участвовал. Свои действия оправдывал.	Провести повторную.
4. Дать для прочтения сборник Апресяна и Сулемова. «Будущее принадлежит молодежи», провести беседу о прочитанном.	Данная брошюра увлекла, но не всему верит. Утверждает, что после освобождения ему верить не будут.	Постоянно проводить убеждения.
5. Добиться ежедневного чтения газет, контролировать выполнение.	Читает, но очень мало.	Проводить постоянный контроль.
6. Провести беседы на тему «Любовь как основа брака».	К женщинам относится пакустно. При своем малом возрасте утверждает, что любви нет. Женщины, по его словам, что-то низкое.	Разъяснять на примерах, что в СССР мужчины и женщины равноправны.

Спрашиваю у воспитателя:

— Как вы себе представляете будущее Смирнова?

— Будущее у него сложное. Парень неустойчивый, неразвитый, груб, работать не любит. На воле ему, если не возьмется за ум, — солоно придется.

— Ну, а беседы ваши дали что?

— Может, что и дали. А может, и нет... С такими беседами не беседуй... Положение есть об индивидуальной работе, вот я и выполняю. Бывают у нас еще и коллективные мероприятия: читка газет, читка книг вслух, встречи с передовиками.

— Ну, а сами читаете какую-нибудь специальную литературу?

— Где ее возьмешь, маловато ее у нас... Один журнал получаем... название забыл, кажется, «Береги честь смолоду» (как я понял, речь шла о журнале «К новой жизни», кстати говоря, серьезном и полезном).

Виктору Уфимцеву 24 года. Работал помощником машиниста, потом по комсомольской путевке был направлен на работу в милицию и послан сюда, в колонию. Его тетрадка произвела на меня сложное впечатление. Но я наблюдал за ним в деле, слышал, как он разговаривает с ребятами. И вот что странно: когда он их пытался воспитывать, наставлял, у него получалось удивительно беспомощно, неумело, наивно, когда он читал им газету, они переговаривались, храпели. Но вот он решает простые, будничные, повседневные вопросы и делает это уверенно, умело, заинтересованно. Вот он разговаривает с одним из воспитанников, притворившимся больным, чтобы не идти в школу, и неожиданно начинает объяснять этому парню способ решения задачи, которую тот не понимал. И это получилось у Уфимцева удивительно хорошо, как-то по-человечески. И парень, понявший, как решать задачу, сразу же выздо-

ровел, перестал бояться завтрашнего школьного дня, очередной двойки.

— Я эту публику знаю,— говорит Уфимцев,— сам до армии баловался чуть-чуть. Жил на шпанистой такой улице. Я этих гавриков за версту чувствую. Темные его глаза заблестели, он повеселел:

— Народ такой—артисты цирка, по проволоке пройдут без шеста. И только не подумайте, что у нас все такие, как Смирнов. Есть у нас неплохие ребята. Только жизнь покалечила— вот теперь поправляем. А как поправлять, частенько и сам не знаю, только догадываюсь.

Как бы определить этого воспитателя? Неумелый, малоподготовленный? Не совсем так. Малопрофессионален? Вот точнее. По человеческому своему складу, по характеру, по отношению к ребятам он может быть воспитателем. По навыкам, знаниям, элементарной педагогической культуре—не годится. Но где ему взять эти навыки? Где получит он современные серьезные педагогические исследования о так называемых трудных подростках, ставших правонарушителями?

Нет ничего более беззубого, бесперспективного, бездейственного в работе с этими ребятами, чем общие, пусть даже справедливые слова. Сызмальства у них выработалась стойкая, непробиваемая броня против любых поучений и общих благих советов. Здесь, как нигде, нужны слова, точно адресованные, конкретные, деловые. Да и не всегда деловые, просто человеческие, заинтересованные, относящиеся не к соседу, не к дружку, а только лишь к нему, к его жизни, к его судьбе.

«Знаете, если к каждому подлаживаться, с ума сойдешь»,—говорил мне один воспитатель. Действительно, трудно, да только необходимо. Служба здесь похожа на службу врачей. А разве врач будет давать всем одно и то же лекарство (когда известно, к тому же, что у многих против него идиосинкразия). У одних застарелые, трудноизлечимые болезни, требующие сурового, жесткого курса. Других, может быть, и лечить не надо. Ты только попытайся понять их. Ведь понимание—это форма человеческого участия, а значит, и воспитания.

Однажды я получил такую записку: «Вызовите меня на переговоры. Давно я не имел такой возможности. Если вызовете, открою все тайны своей жизни, то, что в деле отсутствует».

Я его вызвал.

Он долго молчал, исподлобья, с усмешкой разглядывал меня.

— Какие же у тебя тайны?—спросил я.—Выкладывай.

Он нахохлился. Словно решал, с чего начать. Так мы сидели молча в маленькой, душной комнатке контрольно-пропускного пункта. Слышны были шаги, голоса, лязгали засовы, это разгружали машину с продуктами для столовой...

— Ну так что?—тихо спросил я.

— Расскажите, товарищ начальник, что там на воле,—вдруг неожиданно попросил он.—Соскучился я по речи человеческой.

Он, видно, хотел что-то добавить, объяснить и вдруг непривычно, давясь, хрипло заплакал, будто освобождаясь от чего-то, больно и давно теснившего, распиравшего его.

— Ну что ты, не надо,—стал я успокаивать его.— Как тебя зовут?

— Мишаткин.

— А зовут как?

— Филин.

— А имя-то, имя есть у тебя?

— А зачем это?—настороженно спросил он.

— Да просто так, для разговора.

Он подумал, потом усмехнулся, точно что-то вспомнив нелепое, смешное.

— Костей меня на воле звали. Только редко. Один раз—в детской комнате, другой раз—у врача. Врач у меня зуб рвал и все говорил: «Ничего, Костя. Все нормально, Костя».

— А мать как звала?

— Как звала, так теперь не зовет,—сказал он с неожиданным ожесточением.—Сидит у меня мать.

ИРИНА ИВАНОВНА

Впервые познакомила меня с этой колонией инспектор республиканского МВД Ирина Ивановна. У этой высокой женщины в полувоенном френче была труднопроизносимая фамилия Вельтмандер, и поэтому ее звали сослуживцы «Ирина Ивановна», а ребята, отбывающие срок,—«товарищ Ирина Ивановна».

Я знал, что она воевала здесь, в Прибалтике, что после войны организовывала колхоз и стала его первым председателем, что в нее дважды стреляли недобитые фашисты, бывшие лагерные полицаи, скрывавшиеся на хуторах... Знал я, что и ей приходилось стрелять, что она была ранена в боях с бандитами. Она была худощавая, угловатая, односложная в разговоре, с неженской, несколько угрюмой повадкой. Контакт с ней устанавливался трудно, натывался на тонкую стенку вежливой сдержанности, отчуждения. Она курила, разговаривала хриловатым, как бы всегда простуженным голосом, воображение мое уже перекинуло мостик от нее к толстовской «Гадюке». Угадывалось одиночество, отсутствие семьи, какая-то женская личная драма, беда, пережитая, должно



быть, достойно, незаметно для других. Только эстонский ее чуть сюсюкающий акцент округлял и сглаживал энергичную и краткую речь и звучал примерно так: «Ну поехали теперь в добрый сас»,—только карие, любопытные по-женски, много видевшие, бесстрашные глаза придавали ее облику и другой, неведомый мне план...

Мы приехали в городок, где была колония, поздно, и я в своем гостиничном номере за тонкой стеной слышал ее шаги, покашливание, видно, ей не спалось, и она ходила по пятиметровой комнате и какую-то фразу дважды произнесла вслух. Все то, скрытое от глаз, неизвестное другим, невыговоренное, неверное, билось в ее голове и сердце, обступало в тот поздний час, когда одиночество из скрытой, смазанной буднями, деловыми контактами формы вдруг обретает вещную, физическую реальность.

Наутро мы пришли с ней в колонию. Все ребята были в цехах, кроме дневальных и больных. Казалось, все как обычно, однако начальник колонии, был несколько растерян.

— Вот ведь чудное дело какое. Один парнишка у меня в дисциплинарном изоляторе... Ни с кем не разговаривает, не ест.

— Почему в ДИЗО? — спросила Ирина Ивановна. — Хулиганил, спровоцировал потасовку. Трудный, испорченный мальчишка, хитрец.

Я пошел с ней в дисциплинарный изолятор. Я ожидал увидеть небритого, одичалого громилу вроде Лопаты, а увидел мальчика, которому от силы можно было дать лет двенадцать-тринадцать.

Чуть отросшие волосы торчали на макушке, оттого он походил на маленького, тонкошею петушка, только поникшего, помятого в драке... Лицо его было грязно, замурзано, словно он неделю торчал в шахте, дышал угольной пылью. И тем более неожиданно прозрачно-светло мерцали голубые глаза, единственный светлячок в темной и сыроватой банной полутьме.

Он сидел на топчане, перед ним на табуретке стояла нетронутая похлебка, остывшая каша, чай в кружке, кусок хлеба. Одичавший от молчания и одиночества, он напряженно и обалдело смотрел на нас.

— Ты что не кусаль? — спросила Ирина Ивановна.

— Неохота, — ответил он.

— Ты будешь заболеть, — сказала она.

— Ну и что? — сказал мальчик.

— Сам себе хочешь плохо, вред делать? — сказала она.

Он промолчал.

— Зачем? — спросила Ирина Ивановна.

Он наморщил лоб, собираясь с мыслями. Я ждал тирады. Но он ответил тоже односложно:

— Хужей не будет.

Все замолчали, а мальчик отвернулся к стене, всем своим видом, поворотом шеи выражая неинтерес к нам. Я закурил, озадаченный, не понимая, что же вызвало эту обиду и этот протест...

— Угостите, дядя, — неожиданно низким голосом сказал он. Так и сказал, не «товарищ начальник», а дядя... Впрочем, какой я был начальник для него? Может, это и не полагалось, но я протянул ему сигареты, Ирина Ивановна промолчала. Он взял сигаретку с жадностью, сказал мне шепотом, доверительно: «Еще одну можно?» Я оставил ему сигарету, которую он припрятал тут же, мгновенно, не успев я и глазом моргнуть. Я обратил внимание на то, как он курил: так украдкой курят в уборной ученики, еще не перешедшие в седьмой класс, одновременно и пугливо и вызывающе.

— Из-за чего же сыр-бор? — спросил я.

— Да так, из-за одной тетради, — ответил он.

На этом наш разговор кончился.

«МАЛЫШ»

— Ну что, раскололи Соколова? — спросил начальник, когда мы вернулись.

— Зачем раскалывать, — возразила она, — совсем не нужно раскалывать. Буду еще посещать и разговаривать. Понять хочу.

Она ушла в канцелярию, взяла его дело. Через некоторое время она вернулась, спросила:

— Когда его посадили в изолятор?

— Позавчера.

— А вы знаете, что вчера он имел день рождения?

— Откуда же знать! Тут их много. И мы им праздники не устраиваем.

— Если в изолятор берете, то все знать надо, — жестко сказала Ирина Ивановна.

Ирина Ивановна дважды подолгу разговаривала с этим воспитанником. Вечером этого же дня его освободили из изолятора. Казалось, он обрадуется свободе, но он принял освобождение без энтузиазма и как бы даже нехотя...

У Соколова Вити две клички — Малыш и Шавка. В свои пятнадцать лет он кажется десятилетним. Его малый рост, детский вид и на воле и здесь использовались хитроумными дружками. Например, его часто посылали с заданием «наравиться на слона». То есть он должен оскорбить какого-нибудь «лба» из враждебной компании. Тот полезет на него с кулаками, Витек дает сигнал, и тут же с криком: «Малыша бьют!» — выскакивают свои. Витек играет постоянную роль обиженного малолетка, к которому придираются. Самому ему, кстати, не раз доставалось. Более сильные его приятели эксплуатировали данные Малыша всю, от краж через форточку — «темный сонник» — до попрошайничества.

В детскую комнату он попал в одиннадцать лет. С ним поговорили и приняли решение — «обратить внимание родителей».

Внимание родителей обратили... Только какое там внимание! Отец не жил с Витьком чуть не с рождения — кстати, Витек выдумал легенду, что отец был боксер и отправил ударом в челюсть одного чудака на смерть, за что и сел, и поэтому Витек рос без отца. Но если кто всерьез заденет Витьку — горе тому, отец на дне моря разыщет. В этой истории ощущалась потребность в компенсации за собственную физическую слабость. Мать его — женщина истеричная, пьющая, несчастная. Когда он попал в колонию, она вначале приезжала к нему еженедельно. Всякий раз с рыданиями, растрепавшими и взвинчивающими его. Потом, как правило, она исчезала и подолгу не писала и не появлялась.

С двенадцати лет Витек был бездомным. Старшие ребята нашли на Черной речке невзорвавшуюся мину и заставили Малыша взрывать капсулю-детонатор. Он взорвал — что ему оставалось? В таких компаниях не ослушаешься. Ты не взорвешь — тебя взорвут. Остался без двух пальцев.

Потом они обокрали детскую спортшколу, набрали спортивного инвентаря и не знали, что с ним делать. Волочили на себе рапиры, сабли, снаряды, эспандеры. Так и до барахолки даже не донесли — пофехтовали рапирами на дороге и выбросили в канаву. Только несколько шпаг распилили, сделали из эфесов кастеты, на всякий случай. Главный в компании — Женька Грязный — удивлялся:

— Локшова работа, Зачем только тырили?

Потом в магазине самообслуживания прихватили консервы, бутылку портвейна и зачем-то растительное масло... На этом и попались.

В деле сказано: «Кражу совершал с Евгением Грязевым и Федором Стариковым, с которыми и ел ворованные продукты».

В колонии он работал в цехе, на обточке деталей. Уставал больше других. В колонии к нему относились ребята лучше, чем на воле, но все-таки время от времени заставляли его делать за них мелкую работу, быть на побегушках. Все было спокойно до дня рождения. Всю ночь накануне дня рождения Витька не спал, метался, ему хотелось плакать, но он сдерживался изо всех сил. Мать не писала уже полгода. А до конца срока оставалось ему примерно месяца четыре. Ну вот он выйдет, куда ему деть-

75

Не говори, что мир печален,
Не говори, что тяжело жить,
Умей среди жизненных развалин
Смеяться, верить и любить.

Что это было? Сентенции с чужих слов, обрывки цитат, соединенные собственной мыслью, вариации на чужую тему? Что можно было сказать об этой тетрадке, которую так любовно вел Витек Соколов? Полублатная романтика, глубокая философия на мелких местах, уродливое представление о красивой жизни. Можно сказать и похлестче.

Но что-то еще было в этой тетрадке, что заставляло задуматься. Был еще один плач, человеческий, жизненный, в котором все они гляделись иначе, туманный, тревожный, таящий в себе горечь и надежду, будто улыбка Кабири.

Надежда была на этих страницах, слезы, промокнутые промокашкой, жестко стертые бритвой слезы, которых они так стыдятся, проступали и возвращали им навеки утеранный облик. Облик чего? Детства. Утеранный облик детства... То, без чего неполноценна вся последующая жизнь. Навеки ли он утерян?..

И еще была в этих записях тоска по красоте. Пусть уродлива и безвкусна была эта красота, но какой она может быть там, где все перевернуто с ног на голову, где человеческие отношения и материнское тепло выстудились еще над колыбелью, где голос отца—это пьяная брань, где женщина сызмальства изматерена и обругана, где умнее и сильнее тот, кто обманул тебя дважды? Тоска по красоте загоралась, гасла и тлела в подъездах с бутылкой на троих, в пахнущих карболкой туалетах с похабщиной на стенах, в закутках парков культуры, где дерутся и тискают девок, «чувих», а в сущности девочек, таких же юных, как они сами...

«Но где-то есть другая жизнь и свет...»

И еще одна невысказанная и неосознанная боль таилась в этих страницах: боль и тоска по гражданству, по ощущению себя человеком среди людей, по тому, чему их учили, но в силу обстоятельств не смогли научить, а они не захотели, а может, и не сумели научиться: по Чапаеву у пулемета, по Маяковскому, читающему свои стихи, по загорелому счастливому лицу Гагарина. По той человеческой жизненной колее, с которой сызмала свернули, ушли, хотели бы вернуться, да не умеют. А не умея, делают вид, что она не для них.

Тоска по уплывшему берегу. По матери, которая не пишет по три месяца, но за любое дурное слово о ней он будет драться в кровь, насмерть. И еще одно я ощутил в этой тетради, может быть, самое главное. Неосознанное раскаяние проступало, как молочные чернила сквозь бравату, пошлятину, блат.

«Все живое особю метою отмечается с ранних пор».

Душа, исковерканная, заскорузлая, посылала с этих страниц свои приглушенные, тайные сигналы... Только их надо услышать, понять и расшифровать, а это, возможно, труднее, чем услышать сигналы «Спутника», бредущего в галактиках.

Я показал тетрадку Ирине Ивановне, ничего не говоря. Она вся была в заботах, только что вернулась из цеха и, судя по тому, как торчали поседевшие суворовские вихры, была недовольна и чем-то огорчена. Момент для лирики был неподходящий. «Сейчас отмахнется,—подумал я.—Нужна ей эта тетрадь, когда столько дел в колонии». Стала читать. Без улыбки, серьезно, обстоятельно, аккуратно перелистывая красные целлофановые закладки. Ведь она знала почти всех авторов этой тетрадки—и тех, кто освободился, и тех, кто еще отбывал срок. Неве-

село нахохлилась над тетрадью, перечитывая какие-то строки вновь и вновь. Я ушел, чтобы не мешать ей. Когда я вернулся, она сидела и что-то быстро писала в своем блокноте. Писала не служебную и не докладную, а что-то личное... Это было видно по выражению лица, по тому, нервному полету руки и ручки, когда ими движет рождающаяся мысль.

— Прочитали?—спросил я с осторожностью, как будто речь шла о моем собственном сочинении.

— Да,—сказала она. И добавила, помолчав:— Одна обложка и сколько одиночества.

По распоряжению Ирины Ивановны Витек пере-вели с тяжелой работы в цехе на кухню. На следующий день вечером я вызвал его для разговора. Мы пошли с ним на спортплощадку, не хотелось разговаривать в прокуренной комнатке контрольно-пропускного пункта или в красном уголке. Мы сидели на скамейке, двое на всем стадионе. Роса выступила на мелкой жидкой траве, трава запахла терпко и свежо.

— Давно я в лесу не был,—сказал Витек.—Охота полегать на траве, только не на такой.

На этот раз ему хотелось говорить, и он довольно много и охотно рассказывал мне о здешнем быте, о здешней жизни.

— Надоело мне быть «ястребком»,—сказал он мне,—на подхвате у разных. А «ястребом» мне, видно, не быть никогда.

— Других птиц, что ли, нет?

— Другие сюда залетают редко. Конечно, хорошо быть вольной птицей, лететь куда захочется.

— И клевать чужое зернышко?—в тон ему сказал я.

— Нет уж... Чужое кусается.

— Слушай, а тебе с воли никто не пишет?

— Была одна девочка, писала, потом перестала. На черта я ей такой, малявка?! Так что выйду я когда, то вроде на необитаемый остров.

— Разве ты не убедился, что на острове все-таки есть люди?

— Попадают изредка,—сказал он.—Если б не так, то хоть утопись.

Во второй свой приезд в колонию я узнал, что Ирина Ивановна не работает, вышла на пенсию, больна. Вообще руководящий состав колонии сменился. Нет и многих ребят, освободился и Витек. Мне не удалось его разыскать. Хотелось думать, что у него все сложилось хорошо... Ушел ряд воспитателей, пришли новые, в их числе Уфимцев. Новый начальник возглавил колонию, только проблемы, стоящие перед людьми, работающими в колонии, не изменились. И первая из них—это проблема создания коллектива из десятков разных по судьбе (притом несчастливой) ребят, пришедших сюда. Я смотрел картотеку—большинство составляли городские ребята, недоучки, неквалифицированные рабочие. Они легко меняли место работы, почти всегда выпивали, имели приводы до колонии. Нельзя сказать, что на них не обращали внимания. Обращали. И призывали к порядку. И честили, и наказывали, и увольняли. Обращали внимание. Но обратить внимание—не значит проникнуть в существо их жизни и каким-то образом изменить эту жизнь. Наказывали одного. А он, этот один, был частью уже сложившейся компании со своим «ястребом» и мелкими «ястребками», и в этой компании у него было свое определенное положение и место. Ему гораздо важнее было утвердить себя среди этих, чем на работе в мастерской или в цехе. Никто не

копался в этом вглубь, только тогда начинали копаться, когда компания или группа ребят становилась преступной группой, и когда Ваня Н. из прогульщика и неблагополучного подростка становился преступником.

И Ваня Н. попадал в колонию. В среду не пяти или семи, а многих себе подобных.

Были, конечно, и другие пути.

Были случаи невыявленных, скрытых психобиологических отклонений, преступники-одиночки с взвинченной, агрессивной, несбалансированной психикой, ребята, нуждавшиеся в контроле, а возможно, даже в своеобразной нравственной психотерапии, за долго до того, как эти особенности, пересекшись с обстоятельствами, привели к преступлению.

Встречался в колонии (правда, ничтожно мало) тот тип, что был когда-то излюблен фельетонистами: сыночек с папиной «Победой», потом — с «Волгой», сейчас — с «Жигулями».

Иногда попадались сельские ребята. Небольшой этот процент давали крупные колхозные поселки, близкие по условиям жизни к городу.

Город преобладал. Дымный, окраинный, вечерний, портовый. И вот все это позади, воспоминание... Реальна лишь колония, режим, срок. Тут на



первый взгляд все свои. Тут хороших нет, все плохие, и притворяться не надо.

Но тут не пофилонишь. И школу не прогуляешь. И не поворуешь особенно: свои набьют морду, а начальство накажет. Так что держись, кирюха.

Накажет, прикажет, заставит...

Это один ряд... А второй попросит, убедит, объяснит.

Воспитание наказанием и воспитание воспитанием. Вот две возможности, два варианта.

Первое легче. Второе труднее. Как это, оказывается, не просто — внедрить в сознание этих людей несколько простых и вечных истин: не бей слабого, не воруй, увидь в себе подобных не врагов, не зверей, готовящихся напасть, а людей... Увидь и себя человеком. Вот что главное — увидеть себя человеком. Но кто вдохнет в их души и умы это? Воспитатель, педагог... Да, только если он и сам Человек.

Одна из главнейших сторон воспитания в колонии — это воспитание личностью педагога. Есть педагоги. Такие, как Ирина Ивановна, как (с известными оговорками) Лялин.

Каждый из воспитанников должен знать, что воспитатель не потому приказывает тебе, что он начальник, а потому, что им движет справедливость, что, если он обещал тебе что-то, то выполнит, если ты доверился ему, пусть даже в слабости своей, он не использует это против тебя, если он наказывает тебя, то без издевки, с горечью, потому что ему ты важен, ты для него — плохой, осужденный, наказанный... Но человек.

И тогда то далекое, первичное, что в каждом человеческом существе, а в молодом тем более, есть, оживет, заболит, как обмороженная кожа, когда она заживает, преодолев омертвление. Проблема педагога для детской колонии — это проблема нравственная, и государственная, и, если хотите, народнохозяйственная.

Это проблема судеб человеческих, того, как спасти для общества и вернуть ему граждан, строителей.

Педагог-профессионал работает не только чутьем и сердцем, он знает и приемы, своего рода приспособления, как актер в театре.

А значит, для формирования и подготовки таких профессионалов нужна серьезная научная база. Литература, переводная и отечественная, преемственность и традиции, социологи и психиатры.

Вопрос о кадрах, возникающий во всех колониях, должен, по-видимому, решаться более крупно, менее кустарно и случайно, чем сегодня, — с вложением в эту первостепеннейшую проблему усилий, материальных и духовных. В каждой колонии необходим врач-психиатр. В каждой колонии должны работать штатные психологи в собственном, профессиональном смысле этого слова. В некоторых колониях такие люди уже работают.

Надо привлекать к делу воспитания ребят в колониях и вольнонаемных педагогов в школах, где обучаются воспитанники. Один из воспитателей жаловался, что иные ведут себя не как учителя, а как уроки. Только забывают, кому дают уроки. Учителя ли только виноваты? Значит, их не попросили, не объяснили, с кем они работают и как много они могут сделать. Значит, у них не было стимула. И человеческого и педагогического, ибо работа здесь неизмеримо труднее, чем в обычной школе.

А вольнонаемные мастера производственного обучения? Мало среди них людей, по-настоящему подготовленных педагогически.

Сейчас несколько тысяч комсомольцев пришли на работу в милицию. Надо помочь им, увлечь делом, многому научить. Наконец — просто заметить их нелегкую работу, почетную, истинно самоотверженную.

А контролеры в колонии? Среди них много добросовестных, честных людей. Но на эту службу нередко идут люди без образования, смутно представляющие себе тот человеческий материал, к которому они приставлены.

— Сегодня в контролеры идут с образованием в четыре класса. И вынуждены брать, — говорил мне начальник республиканского управления исправительно-трудовых учреждений полковник Беспалов. — Что же нам ждать от таких людей?..

А что показывают ребятам? Какие фильмы они смотрят? Ведь это не просто сеанс, куда парень забрел от нечего делать. В колонии день, когда крутят фильм, — праздник. Уходят быт, будни — есть экран, иная жизнь, герои, битвы, любовь.

Я много раз наблюдал за тем, как они смотрят кино. Ржут, гогочут, смеются там, где надо плакать. Иступленно рычат и свистят там, где хочется затаить дыхание.

Мне напомнило это гигантскую комнату смеха: искривленное зеркало, только не лица вытягивались, переворачивались, коржились, крошились, пузырились, а человеческие чувства. Все изуродованное нутро обнажалось, гримасничая. Все, выпестованное мировой цивилизацией — чувства и мораль, — теряло цену, рыдание отдавало ржанием, плач — хохотом, благородство — идиотизмом.

Но вот что любопытно и странно—так искусство воспринималось этой массой. Масса ржала и топала ногами, отдельные люди растворялись в ней или присоединялись к ней. Перевернутый мир виделся бычьим глазом циклопа. Они подстраивались друг к другу, они не хотели выглядеть дурачками, показывать свои чувства, переживать.

А спроси их в отдельности? Каждый из них ощутил и понял, где зло и где добро. И, хохоча и посвистывая хором, каждый в отдельности болел все-таки за добрых, за благородных, за справедливых... И что-то малое, невидимое оседало все-таки в душах, пусть ненадолго возвращая утерянные, полузабытые чувства. Кино—все-таки главнейшее из всех искусств. Здесь это понимаешь особенно ясно. Но как нерасчетливо, бесхозяйственно, случайно расходуется эта сила! Показывают что попало, что есть у соседей. И арабско-индийские сентиментальные фильмы, и детективы, где убивают,— тема вовсе не обязательная в здешних краях,— и еще бог знает что.

А ведь наши педагоги, детские писатели, социологи могли бы разработать список картин для колонии, вовсе не обязательно назидательно-воспитательных, просто хороших, умных, лучших, пробуждающих человеческие чувства и заставляющих думать...

Не уверен, что эти фильмы спасут их души... Нет, не спасут. Но, может быть, заденут, затронут. И это уже важно.

А контакты с людьми?

Приезжают в эту колонию интересные люди, но все-таки редко и опять же по принципу: кто был под рукой.

При всей режимной изоляции, предписанной законом, надо бояться другой изоляции — нравственной. Иная жизнь шумит за стенами колонии. Как сделать, чтобы она постоянно и благотворно соприкасалась с их жизнью?

Я думаю, что порядки устройства жизни в колонии, неизменные вот уже столько лет, требуют все же большей гибкости и дифференцированности. Об этом конструктивно и серьезно размышляют сегодня многие практические работники МВД.

Пусть дуют ветры, пусть существуют контакты с внешним миром, приносящие пользу. Общение с людьми необходимо. Только в какой форме?

Конечно, не в форме, предусматривающей неравенство между воспитанниками и наносящей некоторым из них душевные травмы. Так, например, на одном из совещаний я слышал такое предложение: особо отличившихся посылать домой. Но у множества таких ребят дома, как правило, нет—искореженные, сломанные семьи без отцов или с пьющими, а нередко и отбывающими срок отцами. Представим себе состояние ребят на фоне одного-двух счастливых и состояние самих счастливых, возвращающихся после такого уикэнда обратно в зону с охраной... Но, скажем, поощрительная поездка целой группы, хорошо себя проявившей, в город, в театр, на стадион представляется мне возможной. Сбегут? Не сбегут, если найти хороший педагогический и человеческий стимул. Или контакты еще более реальные: люди «с воли» имеют своих подопечных «по интересам», общаются с ними, заражают их своей профессией, своим делом, наконец, просто примером своей нормальной, целесообразной жизни. Это делается в некоторых колониях, но, к сожалению, далеко не во всех.

При всем этом мне не хотелось бы упрощать конфликт, который реально существует. Конфликт, выразившийся в столкновении этих ребят с законом, а что еще важнее — с человеческой моралью, с понятием о добре, об уважении к чужой жизни. В таких колониях не шкодливые мальчишки сидят, раз-

бившие стекло, укравшие перчатки, затеявшие драку. Драки здесь — ножевые, и разбиваются отнюдь не стекла...

Тем ответственнее, злее, обдуманнее должен быть подход к каждому из этих ребят. Подход трезвый, часто жесткий, но всегда дальновидный, гибкий и индивидуальный.

Иду вечерним городом, вглядываюсь в лица мальчишек, обыкновенных, смеющихся, нарядных мальчишек, бегущих на свидания к своим девочкам.

И колюще мгновенно ударяет воспоминание о стриженных мальчишках без девочек.

Без девочек, без ночных счастливых прогулок, без стихов, без юношеских метаний в поисках своего места на земле...

Та колония, о которой я пишу, не худшая и не лучшая. Есть там заинтересованные люди и мало-подготовленные, есть и хорошее и плохое.

И не в том вовсе вижу я смысл этих очерков, чтобы давать анализ или оценивать работу именно этой колонии. В оценках ли дело... Да и по какой шкале, по сколько балльной системе можно оценить ту работу, что обращена на возвращение людей к жизни и труду.

Но есть потребность еще раз во всеуслышание сказать об этом важном (впрочем, не то слово), об этом кровном деле.

Есть вопросы, которые нельзя отложить даже при соседстве других, важных и животрепещущих. Потому что не «вопросы» это вовсе, а судьбы, живые, может быть, еще не потерянные до конца, еще способные прозвучать в этом мире не глухим выстрелом, а песней, как и предназначено изначально человеческой жизни.



Евг. ФЕДОРОВ,
академик

ПО ЗАКОНАМ ПРИРОДЫ



Рисунки
И. Оффенгендена.

Ученые и общественные деятели в разных странах мира озабочены тем обстоятельством, что современное технически развитое общество губит природу, губит среду, в которой оно живет и из которой черпает все необходимые для себя ресурсы, и таким образом создает серьезные трудности, если не тупик, для своего развития в недалеком будущем... Проблема эта обсуждается сейчас на многочисленных конференциях и совещаниях, вплоть до Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Любая форма жизни взаимодействует с окружающей средой, подвергается ее влиянию и приспосабливается к ней в процессе биологической эволюции. Организмы используют ресурсы среды для своего существования и преобразуют окружающую среду продуктами и результатами своей жизнедеятельности.

Процессы жизнедеятельности сыграли огромную роль в создании нынешнего облика нашей планеты, в особенности ее атмосферы, водной оболочки и поверхностных слоев земной коры. Так, например, кислород в атмосфере — результат жизнедеятельности растений; известняк в его различных формах на суше, как и коралловые рифы и острова в океане, создан мелкими морскими животными; почва — продукт совокупной деятельности всех живых существ и стихийных явлений, разветвляющихся на поверхности Земли.

Огромному разнообразию форм жизни, выработанному в процессе эволюции за десятки и сотни миллионов лет, можно только удивляться, как можно удивляться и их приспособленности к различным условиям внешней среды.

Мы находим живых существ и на вершинах высоких гор, в условиях вечного холода, при чрезвычайно низком давлении воздуха, и в горячей, едва не кипящей воде минеральных источников, и в вечной темноте, сырости и прохладе глубоких подземных пещер, и при чудовищном давлении на дне океанских впадин. Вместе с тем каждый отдельный вид животных или растений может существовать лишь в сравнительно узком диапазоне условий.

Это положение коренным образом изменилось с появлением человека. Биологическая природа человека практически осталась той же, что и миллионы лет назад. Но непрерывно, со все возрастающей скоростью человек изменяет способы своего взаимодействия с окружающей средой. В результате быстро расширяются как диапазон условий существования человеческого общества и объем используемых им природных ресурсов, так и воздействие общества на природную среду. Изменения эти заметны уже не за миллионы лет, а за века, в последнее же время — за десятилетия.

С древнейших времен до XVI—XVII столетий нашей эры темпы роста производительных сил и народонаселения были низкими. Они обуславливали сравнительную стабильность во взаимодействии человечества с природной средой. Люди использовали лишь небольшую часть имеющихся природных ресурсов и каждый из этих ресурсов — в малом объеме, с небольшой эффективностью. Воздействие человека на природу всей планеты в целом было ничтожным.

В XVI—XVII веках положение существенно изменилось. Наступление эры капитализма ускорило развитие производительных сил. Погоня за прибылью породила и быстро развила хищническое отношение к природе, особенно к природным ресурсам колониальных и зависимых стран и «ничейным» природ-

ным богатствам, например, Мирового океана. В результате биосфере были нанесены первые существенные ураны — истреблены некоторые виды животных и растений, истощена почва, началась ее эрозия.

Уже в XVIII веке английский экономист священник Мальтус высказал положение о противоречии между ростом народонаселения и наличием ограниченных и истощающихся природных богатств и о неизбежности в связи с этим голода и других бедствий. Идеи Мальтуса широко используются и развиваются его реакционными последователями вплоть до настоящего времени.

В первой половине нашего века наибольшую тревогу вызывал вопрос о достаточности запасов полезных ископаемых, в частности нефти; в последнее время основное беспокойство вызывают различные формы воздействия на природную среду — в особенности ее загрязнение. Высказываются опасения, достаточно ли самой поверхности земного шара для размещения быстро растущего человечества.

Ряд современных исследователей утверждает: конечные ресурсы земного шара в сопоставлении с безграничным ростом потребностей человечества не только создадут предел развитию общества в будущем, но уже и в настоящее время являются основной причиной низкого уровня жизни в тех странах (в основном бывших колониальными), где рост населения не сопровождается соответствующим темпом развития экономики. Наблюдающийся сейчас «демографический взрыв», по их мнению, является величайшей угрозой человечеству.

Между тем вся история цивилизации свидетельствует о том, что рост потенциальных возможностей той обеспечения нужд человечества всегда опережал и опережает в настоящее время рост его потребностей. Однако это справедливо лишь при рассмотрении потребностей всего населения Земли в целом и возможностей их удовлетворения всеми имеющимися в распоряжении человечества ресурсами.

Так, например, энергии, которую можно было бы выработать, используя имеющиеся и известные в настоящее время ресурсы и способы, приходится на долю каждого человека на Земле сейчас примерно в 20 раз больше той, которую можно было бы выработать сто лет назад, используя все известные в то время ресурсы для ее производства. Это объясняется, как нетрудно понять, тем, что увеличились найденные запасы минерального топлива, повысился коэффициент полезного действия машин, открыты и нашли практическое применение новые источники энергии.

Одно из недавних международных научных совещаний, созданных Всемирной продовольственной организацией, установило: если бы современные способы сельскохозяйственного производства, уже достигнутые во многих странах, были применены на полях всего земного шара, можно было бы полностью удовлетворить потребности в продовольствии не только нынешнего населения нашей планеты, составляющего 3,7 миллиарда человек, но и значительно большего — примерно 10 миллиардов.

О росте эффективности сельского хозяйства свидетельствует и то, что доля занятого в нем населения во всех странах непрерывно сокращается. Этот рост (в результате применения высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, индустриализации животноводства и т. п.) настолько значителен, что позволяет говорить о «зеленой революции».

Все большее число развивающихся стран решает продовольственную проблему. Так, например, правительство Индии недавно сообщило, что с будущего

года его страна впервые сможет удовлетворить потребности в зерне за счет собственного производства.

Постоянно возрастают как в общем количестве, так и в доле, приходящейся на душу населения, разведанные запасы важнейших полезных ископаемых, расширяются возможности производства любых материалов из очень многих видов доступного сырья.

То, что при этом потребности большей части населения планеты все еще не удовлетворяются соответственно этим потенциальным возможностям, то, что в ряде стран люди голодают, а в некоторых развивающихся странах рост населения опережает рост экономики, отнюдь не является следствием какого-либо закона природы или недостатка природных ресурсов. Причины тут социально-экономические. В развивающихся странах, в частности, это вызвано длительной колониальной эксплуатацией, когда естественные богатства этих стран и человеческий труд использовались в интересах колонизаторов. Миллионы жителей богатейших по своим природным ресурсам стран Латинской Америки голодают сейчас в результате огромной (разумеется, вынужденной) «экономической помощи», которую эти страны систематически оказывают монополиям США и других капиталистических государств. Это отлично известно всем мало-мальски разбирающимся в мировой экономике людям.

Разговоры о «демографическом взрыве» и недостаточности природных ресурсов в значительной степени ведутся для прикрытия истинных, социально-политических причин голода и общей отсталости населения в ряде стран.

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Эквадора Педро Саада назвал эти разговоры маневром, рассчитанным на то, чтобы «дезориентировать трудящихся страны, заставить их свернуть с правильного пути преобразования страны, с пути революционной классовой борьбы и толкнуть их на ошибочный путь».

Некоторые из развивающихся стран вынуждены искать временный выход из создавшихся трудностей в программах регулирования семьи. Однако основное средство для решения проблемы — использование природных ресурсов в интересах своего народа, а не иностранных монополий и ускорение темпов экономического развития. Так и действуют прогрессивные правительства во все большее число развивающихся стран, и в первую очередь в тех, которые избрали социалистический путь.

Еще в начале нашего века В. И. Ленин отметил основную ошибку в рассуждениях об ограниченности природных ресурсов. Полемизируя с мальтузианцами своего времени, он указал, что так называемый «закон убывающего плодородия почвы» имеет лишь весьма относительное и условное применение в тех случаях, когда техника остается неизменной, и вовсе не применим к тем случаям, когда техника прогрессирует, когда способы производства преобразуются.

В этом и заключается все дело. Именно усовершенствование способов производства повышает эффективность использования природы в целом, создает возможность опережения соответствующих потребностей общества.

Если бы не это, человечество уже давно достигло бы пределов своего развития. Не только нынешнее, но и значительно меньшее население Земли не смогло бы, например, прокормиться охотой по примеру своих далеких предков.

Таким образом, «емкость» нашей планеты — величина переменная, возрастающая, зависящая от способов использования пространства Земли и ее ресур-



сов; найдут ли, например, люди целесообразным жить только на поверхности Земли или будут использовать акваторию океана или толщи земной коры.

Однако эта «емкость» небеспрельна, поэтому в будущем может возникнуть вопрос о поддержании некоторой оптимальной численности населения планеты.

Может быть, для этого потребуется ограничение роста населения, а может быть, и стимулирование этого роста — ведь известно, что его темпы тесно связаны с социальными условиями.

Явится ли это лимитом для роста всего человечества, будет зависеть от возможностей выхода в космос и использования его ресурсов. Мы стоим лишь у порога этого процесса.

Однако вернемся к настоящему времени. С проблемой природных ресурсов мы сталкиваемся сейчас гораздо раньше, чем их общий объем мог бы начать сдерживать развитие общества. Потому что все богатства нашей планеты в целом используются далеко не лучшим образом.

Причин здесь много. И главная из них — частная собственность на средства производства, капиталистический уклад, когда целью производства является не удовлетворение действительных потребностей населения, а получение прибыли. Этот уклад приводит к явно хищническому использованию природных ресурсов, особенно если богатства страны эксплуатируются иностранной компанией. С другой стороны, немалая доля природных ресурсов тратится на удовлетворение искусственных потребностей, вызванных интересами получения прибыли. Каков выход из этого положения? Он известен — путь социализма, национализация природных богатств, их переход во владение общества, имеющего определенную цель и долгосрочную перспективу развития.

Весьма серьезной причиной нерационального использования природных богатств является то обстоятельство, что население отстающих в своем техническом развитии стран (а оно сейчас составляет большую часть человечества) не имеет надлежащих орудий, средств и квалифицированных специалистов.

Далее. Эксплуатация многих природных богатств, например, рыбы и полезных ископаемых в океанах, приняла в настоящее время глобальный характер, выходя далеко за пределы отдельных стран. Между тем нет такого социально-политического механизма, который обеспечивал бы их целесообразное и оптимальное, с точки зрения всего человечества, использование. Отсутствует, пока не выработана и сама

эта «общая точка зрения» человечества в отношении всех природных ресурсов Земли в целом.

Указанные обстоятельства препятствуют оптимальной эксплуатации природных богатств нашей планеты. В еще большей степени они препятствуют их культивированию и преобразованию.

Задача культивирования относится главным образом к возобновимым¹ природным ресурсам. Рассмотрим этот вопрос более подробно.

В настоящее время человечество использует почти все виды возобновляющихся природных богатств: около 70 процентов всей почвы, пригодной для сельского хозяйства при современных его методах; около 50 процентов прироста леса; около 10 процентов пресной воды из стока рек; около 70 процентов прироста основных промысловых рыб и т. д.

Потребность человечества в возобновимых природных ресурсах все время растет. Средства их «добычи», то есть изъятия из природы, становятся все более эффективными. Все более эффективным становится и их использование. В целом мы приближаемся к полному использованию приростной части баланса каждого из указанных ресурсов.

Дальнейшее использование богатств этого вида либо должно сократиться (что и произошло, например, с китами), либо должно быть установлено равновесие между приростом и употреблением ресурса (что достигнуто в некоторых государствах по отношению к лесу), либо нужно переходить к культивированию ресурса с целью его преобразования, то есть увеличения приростной части его баланса. Культивирование природных богатств ведется с древних времен. Когда человек перешел от собирания плодов и охоты к животноводству и земледелию, он выделял из окружающей природы стадо животных или участок земли и своим трудом преобразовывал их, во много раз повышая их продуктивность. Все дело в масштабах преобразования.

Для нашей страны, как и для других социалистических стран, ведущих общегосударственное плановое хозяйство, путь преобразования, повышения эффективности природных богатств давно осуществляется на практике. Уже в первые годы Советской власти были приняты по инициативе В. И. Ленина различные меры и соответствующие законы о рациональном использовании и культивировании природных богатств, закладывались основы мелиорации земель, преобразования стока рек, организации правильного лесного хозяйства и т. п.

Хотя общие водные ресурсы нашей страны очень велики, в некоторых районах Советского Союза сейчас испытывается недостаток в пресной воде. Объясняется это тем, что большая часть стока наших рек приходится на малонаселенные районы Сибири и уходит в Ледовитый океан. Поэтому необходимо тщательно планировать использование водных ресурсов, заботиться об их преобразовании в интересах развития народного хозяйства. В последнее время разрабатываются проекты кардинального переустройства речной сети — вначале на территории европейской части страны, а в дальнейшем и в Сибири. Идея этого переустройства — переброска в южном направлении части стока рек, текущих на север. Это позволит улучшить орошение засушливых земель на громадных пространствах и увеличить сток

¹ Различаются невозобновимые природные ресурсы — например, полезные ископаемые, характеризующиеся их общим количеством, имеющимся на Земле, и возобновимые — такие, как пресная вода, кислород атмосферы, лес, рыба и др., характеризующиеся их балансом — соотношением между их ежегодным расходом и воспроизводством.

рек и Каспийское и Аральское моря, что также хозяйственно необходимо.

Аналогичные проекты разрабатываются и осуществляются и для культивирования и преобразования других природных богатств — почвы, леса.

Подобные меры проводятся и в других странах. Сейчас это в основном локальные меры, проводимые в рамках отдельных государств, однако уже начато осуществление мер регионального характера, — например, регулирование стока некоторых рек, протекающих по нескольким государствам. В недалеком будущем станут необходимы действия глобального масштаба.

С научной и технической точек зрения культивирование и преобразование природных ресурсов в глобальном масштабе возможно уже сейчас. Так, например, уже можно было бы начать культивирование некоторых промысловых рыб в океане. Однако, как всем понятно, этому препятствуют существующие социально-политические условия.

Деятельность человеческого общества в целом оказывает все более возрастающее воздействие на природную среду. Так, изменяется состав среды — точнее, изменяется баланс, сложившийся в естественном круговороте различных веществ. Это изменение баланса осуществляется двояко: с одной стороны, из естественного кругооборота изымается часть веществ, с другой стороны (в большей степени в атмосфере и водную среду), внедряются дополнительные вещества, главным образом в результате загрязнения от промышленных предприятий.

Загрязнение среды справедливо рассматривается сейчас как одна из важнейших проблем, стоящих перед человечеством. Загрязнение вод рек, озер и водохранилищ, а также атмосферы на территории континентов началось уже несколько сотен лет назад. Однако вначале промышленные и коммунальные отходы не играли существенной роли в естественном балансе веществ в водной и воздушной среде. Загрязнение носило локальный характер, и его ликвидация осуществлялась за счет разбавления отходов чистой водой и воздухом. Сейчас промышленность выбрасывает в реки, озера и атмосферу загрязняющие вещества в огромных, опасных концентрациях.

На территории США в атмосферу, реки и озера выбрасывается около половины всех загрязнений, создаваемых человеческой деятельностью на нашей планете. Устойчивое загрязнение атмосферы наблюдается уже почти на трети всей территории этой страны. Потребление воды для орошения, комму-

нальных нужд и промышленности достигло 70 процентов от всего естественного стока рек США, а в некоторых районах потребление превышает естественный сток; более 100 миллионов жителей США потребляют воду, которая по крайней мере один раз уже была в употреблении. Изменения метеорологических условий в районе города Лос-Анджелеса настолько велики, что хорошо просматривались американскими космонавтами с расстояния многих тысяч километров, как грязное пятно на планете.

Всем известны сильные загрязнения Рейна, создаваемые химическими и другими предприятиями, расположенными в его бассейне в ФРГ. Река, воспеваемая Гейне, сейчас пользуется репутацией самой большой сточной канавы Европы.

Очевидно, что рассчитывать на очистку путем разбавления далее нельзя. Через несколько десятилетий для такого разбавления потребовался бы почти весь сток рек земного шара. Необходимы серьезные изменения в технологии производства, переход на замкнутые технологические циклы, на повторное использование воды и отходящих газов и тому подобные меры. Технически это вполне возможно, однако соответствующее переустройство промышленности потребует колоссальных капиталовложений во всех странах.

В Советском Союзе, несмотря на относительно гораздо меньшее загрязнение воды и воздуха, чем в других развитых странах, несмотря на наличие больших, еще не тронутых резервов поверхностных вод, осуществляются и планируются серьезные мероприятия по очистке сбросов и переустройству технологии производства.

Кардинальное решение проблемы состоит, разумеется, в изменении технологии. Так, например, наиболее эффективной мерой для устранения пыли, сажи и сернистых соединений, появляющихся от отопительных систем городов, является переход на газовое отопление. В Москве, этом огромном промышленном центре, отопление газом, по существу, ликвидировало загрязнение. Атмосфера в Москве сейчас чиста и удовлетворяет санитарным требованиям. Переход на газовое отопление осуществляется и в других городах.

В нашей стране и других социалистических странах загрязнение природной среды — это лишь временное явление. Понимая государственную важность проблемы, правительства этих стран систематически принимают меры, имеющие целью предотвратить загрязнение атмосферы и водной среды, и следят за их выполнением.

Серьезное значение для сохранения и культивирования природных ресурсов имеют специальные законы, принятые в последние годы Верховным Советом СССР, — прежде всего Основы земельного законодательства, Основы водного законодательства и Основы законодательства о здравоохранении. Широкая система мероприятий по охране и улучшению природной среды зафиксирована в законах об охране природы, изданных Верховными Советами союзных республик.

Практические меры по сохранению и культивированию природных богатств осуществляются в процессе планирования комплексного развития народного хозяйства. Для этого выделяются значительные и все увеличивающиеся средства: так, в истекшей пятилетке на охрану природной среды от загрязнения было выделено свыше двух миллиардов рублей. Специальные меры принимались и принимаются для сохранения уникальных природных комплексов в различных районах. Таковы, например, меры, осу-



ществаемые в районе озера Байкал, судьба которого беспокоит общественность нашей страны. Чтобы не оказывать вредного влияния на состав воды и биологические процессы в озере, предприятия, расположенные на берегу Байкала, снабжаются совершенными очистными сооружениями. В районе озера установлен специальный порядок ведения лесного хозяйства, прекращен на значительное время рыбный промысел и т. п.

Следует отметить, что в нашей печати появлялись заявления (может быть, диктуемые хорошими побуждениями, но тем не менее не имеющие достаточных оснований) об угрозе Байкалу в связи с работой расположенного на его берегу целлюлозного завода. Между тем контрольные органы, а также общественность и ученые, работающие на Байкале, не уделяли своевременно должного внимания крайней недостаточности очистных сооружений на ряде предприятий, построенных в районе Улан-Удэ главным образом во время войны и в первые послевоенные годы. А ведь загрязнение воды именно этими предприятиями более всего вредило байкальскому омулю, значительная часть которого откладывает икру в реке Селенге как раз несколько ниже по течению от г. Улан-Удэ. По специальным решениям правительства этот недочет будет выправлен в ближайшее время.

Характерен пример с озером Севан, расположенным в горах Армении. Несколько десятилетий назад в связи с острой необходимостью получения энергии и орошения земель вблизи Еревана было решено использовать часть вод озера. Были построены гидроэлектростанции и оросительные системы, в результате уровень озера начал снижаться. Однако сейчас, когда экономика Армении существенно укрепилась, правительство республики нашло целесообразным вложить значительные средства для того, чтобы предотвратить дальнейшее понижение уровня озера, подводя к нему воду с довольно большого расстояния. Это делается исключительно для сохранения красивого природного объекта, любимого советскими людьми.

По мере роста возможностей в нашей стране принимаются все необходимые меры для сокращения, а затем и полной ликвидации загрязнения атмосферы и водной среды.

Борьба с загрязнениями началась сейчас и в США и в других странах. Однако проведение необходимых для этого мер в капиталистических странах, где предприятия находятся в частной собственности, связано с преодолением серьезных противоречий между интересами владельцев предприятий и интересами общества.

Большая и справедливая тревога общественности во всех странах и технические возможности позволяют все же надеяться на то, что в ближайшие десятилетия промышленное загрязнение окружающей среды будет существенно сокращено на всей нашей планете. Нужно учитывать, что предотвращение выброса промышленных отходов означает также сбережение и рациональное, выгодное использование многих веществ.

Промышленность не единственный источник загрязнения природной среды. Не следует забывать, что существенную роль здесь играют войны. Уже подготовка к войне связана с достаточно частыми случаями опасного загрязнения местности при испытаниях ядерного оружия, утерях ядерных бомб и утечках боевых отравляющих веществ.

Несравненно больший вред природной среде несут военные действия. Применение химических средств армией США в Индокитае, как свидетель-



ствует специальная комиссия авторитетных американских ученых, привело к уничтожению до 25 процентов лесов на территории Южного Вьетнама. В результате применения химических средств в Индокитае пострадали миллионы и погибли сотни мирных жителей. Это далеко превышает все то, что могли бы причинить любые промышленные загрязнения. Хорошо известно, какое колоссальное воздействие на природную среду и на все человечество оказало бы загрязнение радиоактивными веществами в случае мирового термоядерного конфликта.

Весьма существенное значение имеет изменение теплового баланса планеты. Любая промышленная деятельность сопровождается выделением тепла. В настоящее время это тепло составляет приблизительно 0,01 процента той тепловой энергии, которую получает земная поверхность от Солнца. Если энерговооруженность человечества будет расти в дальнейшем теми же темпами, как в последние десятилетия, то через 50—100 лет эта величина вырастет до одного или нескольких процентов. Тепловой баланс, который веками устанавливался на земном шаре, окажется нарушенным.

На изменение теплового баланса влияет также преобразование альбедо (отражающей способности) земной поверхности за счет строительства городов, сельскохозяйственных мероприятий, орошения и т. д. Влияет и помутнение атмосферы, вызываемое пылью, изменение ее состава в результате промышленных выбросов и продуктов горения и др. Эти факторы действуют достаточно сложным образом и в различных направлениях, но в общем все они способствуют повышению температуры земной поверхности и атмосферы.

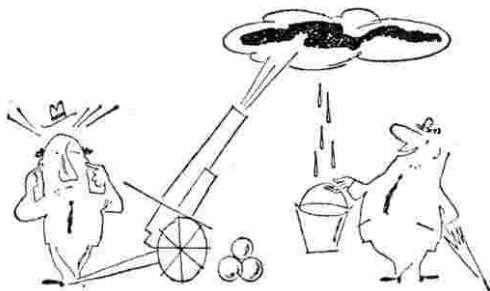
Принять меры для предотвращения такого «перегрева» в принципе можно, например, увеличивая облачность или изменяя отражательную способность земной поверхности, однако это потребовало бы очень крупных согласованных действий в масштабе всей планеты.

Следующим видом вмешательства в естественную среду является изменение влагооборота. Развитие промышленности и сельского хозяйства перераспределяет водные ресурсы; уменьшается речной сток в океан и увеличивается испарение с континентов. Можно ожидать, что в следующем столетии для орошения земли и для промышленности потребуется пресная вода в количестве, составляющем около 50 процентов внешнего стока рек.

В дальнейшем наряду с использованием речного стока потребуется значительно увеличить использование подземных вод, а затем в зависимости от успехов в овладении термоядерной энергией перейти к опреснению больших количеств морской воды. Это увеличит общее количество пресной воды, находящейся в гидрологическом цикле. Как именно увеличивающееся испарение будет воздействовать на планетарный влагооборот, пока неясно.

Изменения в составе атмосферы и водной среды, в тепловом балансе и влагообороте, так же, как и вырубка лесов и мелиорация земель, прямое истребление многих растений и животных, оказывают существенное и многообразное влияние на весь животный и растительный мир на Земле.

До сих пор мы говорили о прямом эффекте воздействия на среду. Однако мы знаем, что многие чрезвычайно сложные и взаимосвязанные процессы, определяющие состояние природной среды, временами приходят в неустойчивое состояние. Обратить внимание прежде всего на погоду и климат. Хорошо известны неустойчивые состояния облачных систем. Несмотря на огромную энергию связанных с ними процессов (имеющих мощность до 10^6 — 10^7 кв), вполне возможно сравнительно малыми силами менять направления их дальнейшего развития. На этом основаны методы борьбы с градом, ныне применяющиеся на практике в Советском Союзе, а также опыты по рассеиванию облаков и попытки стимулирования осадков, проводимые учеными во многих странах.



В связи с этим большой интерес представляет вопрос об единственности и устойчивости климата. История Земли говорит о том, что ее климат неоднократно изменялся коренным образом.

Существует много гипотез, объясняющих изменения климата. Можно полагать, что в далеком прошлом они вызывались изменениями в направлении оси вращения Земли, в расположении материков и океанов и в других чертах структуры нашей планеты. Однако существенные изменения климата на протяжении последних 20—10 тысяч лет этим объяснить нельзя.

Следовательно, при неизменной структуре нашей планеты климат может быть существенно разным, то есть, иная говоря, совокупность климатообразующих процессов в атмосфере и океане может занимать не одно-единственное, а несколько различных положений относительного равновесия. Более того, исследования показывают, что это равновесие временами

становится неустойчивым. Это имеет и положительную и отрицательную стороны. Положительную — поскольку дает нам надежду целенаправленно изменять климат сравнительно небольшими средствами, и отрицательную, потому что подобные изменения могут произойти и независимо от нашей воли.

Таким образом, не вызывает сомнений необходимость тщательно изучать, прогнозировать и регулировать воздействие человека на природу.

Мы стремимся охранять природу и, разумеется, должны иметь заповедники в различных природных зонах для целей отдыха, туризма и т. п. Однако наступит время, когда нельзя будет мириться с дальнейшим существованием заболоченной территории, тундры, солончаков и пустынь на многих десятках миллионов квадратных километров пространства нашей планеты.

Надо стремиться не к консервации и стабилизации природной среды, а к сознательному и целесообразному преобразованию, культивированию природы с учетом непрерывно возрастающих потребностей человечества.

Если технике придется приступить к выполнению таких задач лишь через несколько десятилетий, то науке пора заниматься ими (по крайней мере в теоретическом плане) уже сейчас. Готова ли она к этому?

Уже разрабатываются теории взаимодействия всех глобальных процессов в атмосфере и океане, определяющих климат и погоду на земном шаре. До последнего времени эти исследования затруднялись недостаточностью информации об исходном состоянии среды и огромным объемом требуемых расчетов. Метеорологические спутники и другие системы сбора глобальной информации и очень мощные электронно-вычислительные машины, как видно уже сейчас, позволят преодолеть эти трудности.

Хуже, с моей точки зрения, обстоит с изучением процессов в биосфере — здесь еще очень далеко до расчетов закономерностей естественных процессов и количественных оценок эффекта вмешательства. Между тем такие расчеты «прочности» и реакций природной среды при осуществлении крупных мероприятий по преобразованию и культивированию природы требуются не менее, чем с давних пор требовались расчеты сопротивления материалов и прочности элементов конструкций для строительства сооружений. Однако и эта задача, несомненно, будет своевременно решена. Тревогу внушает другое.

Всю эту проблему, по моему мнению, следует рассматривать несколько шире. Человечество стало способным производить действия крупного масштаба, сравнимые с действием стихийных сил.

Но повышение способности к действиям крупного масштаба должно сопровождаться повышением гарантии их целесообразности и надежности. Так, в любом организме, созданном природой в результате естественного отбора, заложены одновременно и возможности к действиям и соответствующие средства, обеспечивающие, что действия будут использоваться на благо данному организму, данному виду. В технике мы также обеспечиваем повышение целесообразности и надежности действия. Это делается в любом механизме, это обеспечивается в рамках целых предприятий или их объединений. В социалистических странах, ведущих плановое хозяйство, те же меры проводятся в масштабе государств. Но в человеческом обществе в целом этого, к сожалению, пока нет.

Сознание такой опасности не ново. Вспомним положение, сформулированное более ста лет назад Карлом Марксом. «Культура, — если она развивается стихийно, а не направляется сознатель-

и о... оставляет после себя пустыню...» — написал он в одном из своих писем. Вряд ли найдешь более четкое и лаконичное выражение занимающей нас проблемы.

Можно ли указать какой-то крайний срок, к которому обязательно должно быть достигнуто единство человеческого общества во взаимодействии с природой? Полагаю, что возможно.

Человечество может близко подойти к полному использованию приходящей части баланса речного стока, промысловых рыб, леса и, пожалуй, почвы через 50—100 лет. Вероятно, к этому же сроку выделение промышленного тепла и увеличение испарения начнет оказывать заметное воздействие на тепловой баланс и влагооборот в планетарном масштабе. Таким образом, около середины будущего века может наступить некоторый критический этап в развитии человечества.

Любопытно, что подобную же оценку времени наступления определенного критического этапа в развитии человечества получают некоторые западные социологи — например, Форрестер — на основе чрезвычайно сложных расчетов на электронно-вычислительных машинах. Форрестера и других западных социологов очень тревожат результаты подобных расчетов, свидетельствующие о том, что где-то около 2030—2050 годов человечество столкнется с нехваткой природных ресурсов, резким нарушением состояния природной среды и другими тяжелыми последствиями развития общества. В результате предсказывается резкое, по существу, катастрофическое падение численности населения планеты. Можно высказать ряд критических замечаний по поводу этих расчетов, но самое важное состоит в том, что Форрестер и его коллеги не вводят в них изменений социальной структуры общества. Они как бы продолжают, экстраполируют нынешнее социальное устройство человечества по крайней мере на сотни лет вперед.

Не является ли это конкретной иллюстрацией замечательной мысли Маркса?

Станет ли пустыней земной шар или нет — зависит от того, сохранится ли «стихийное» развитие культуры, или своевременно разовьется соответствующий социальный механизм, обеспечивающий гармоничное развитие общества во взаимодействии с природой земного шара в целом.

Опыт истории и теория исторического материализма говорят нам, что социальная структура всегда изменялась соответственно с ростом производительных сил таким образом, что обеспечивала дальнейшее неуклонное развитие человеческого общества в целом, как бы в ходе цепной реакции, каждая стадия которой подготавливает все условия для появления и дальнейшего роста следующей стадии.

Что же необходимо для гармоничного взаимодействия с природной средой?

Во-первых, человечество должно иметь осознанную и четко определенную общую цель и долгосрочную перспективу своего дальнейшего развития. Иначе оно не сможет разумно оценить, насколько благоприятны или неблагоприятны в целом как современные ему особенности природной среды планеты, так и те, которые ожидаются в будущем.

Во-вторых, общество должно иметь практическую возможность планировать и регулировать развитие всей своей промышленности, сельского хозяйства и других отраслей деятельности на длительный срок в соответствии с принятой им целью.

В-третьих, общество должно иметь возможность использовать огромные материальные ресурсы для согласованного проведения крупных работ, дающих результаты лишь в отдаленном будущем в различных

районах планеты. Только в этом случае оно окажется в состоянии принимать меры для целесообразного изменения природы, вплоть до организации в будущем «биотехносферы» — гармоничного синтеза природной и технически конструируемой среды.

В-четвертых, должна быть исключена возможность крупных конфликтов, любой из которых нарушит остальные условия.

Такими свойствами будет обладать единое для всей планеты социалистическое общество. Однако многое могло бы быть обеспечено и в обществе, состоящем из стран с различным социальным строем, при непрерывном их мирном сосуществовании и, более того, тесной кооперации в рамках всей планеты.

Независимо от того, как скоро примет человеческое общество в целом социалистическую структуру, уже сейчас жизненно необходимы конкретные, серьезные меры для того, чтобы, пользуясь выражением К. Маркса, переходить от «стихийно развивающейся» к «сознательно направляемой» культуре.

Прекращение гонки вооружений позволило бы найти необходимые средства для быстрой перестройки технологических процессов в промышленности и сельском хозяйстве с целью сократить, а затем и предотвратить загрязнение атмосферы и водной среды. Запрещение ядерного, химического и бактериологического оружия предотвратило бы опасность военного загрязнения природной среды. Разоружение и обеспечение прочного и длительного мира позволили бы приступить к выполнению крупных проектов по сохранению, преобразованию и культивированию многих природных ресурсов в глобальном масштабе.

Таким образом, выполнение сформулированной в докладе А. И. Брежнева на XXIV съезде КПСС программы борьбы за мир и международное сотрудничество, за свободу и независимость народов является необходимым условием и для обеспечения рационального взаимодействия человечества с природой нашей планеты.

Мы обязаны бороться всеми силами за то, чтобы социальный механизм регулирования был достигнут раньше, чем стихийное развитие производительных сил привело бы к необратимым нарушениям во взаимодействии человеческого общества и природной среды.

В заключение хотелось бы напомнить слова крупнейшего советского ученого-академика В. И. Вернадского, основателя учения о биосфере, написанные им еще в 1944 году, незадолго до смерти: «Исторический процесс на наших глазах коренным образом меняется. Впервые в истории человечества интересы народных масс — всех и каждого — и свободной мысли личности определяют жизнь человечества, являются мерилом его представлений о справедливости. Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой. И перед ним, перед его мыслью и трудом, становится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого...»

...Идеалы нашей демократии идут в унисон со стихийным геологическим процессом, с законами природы...

Можно смотреть поэтому на наше будущее уверенно. Оно в наших руках. Мы его не выпустим».



Одна из последних книг Роберта Рождественского не в шутку названа «Всерьез» («Советский писатель», М., 1970). В чем смысл этого названия, вынесенного на об-

ложку, и о чем предупреждает оно, сто раз шутя повторенное оформителями (В. Виноградов и В. Медведев) на страницах книги? О том ли, что речь пойдет о нешутном? О том, что поэт

пишет полушутя, но предлагает относиться к этому серьезно?

Я полагаю, что однозначного ответа на эти вопросы нет и в то же время название сборника отвечает на все эти вопросы сразу. Рождественский действительно шутит, но к нему следует относиться всерьез, — и когда он с юмором пишет о том, что он пишет («Поэтам — что! Поэты жили раньше. Мы не поэты. Мы — поводыри»), и когда он с улыбкой пишет о том, как он пишет («Осень выдалась шикарная. Захмелевший от ходьбы, в незнакомый лес шагаю я по стихам, как по грибы. Я дышу настырным воздухом. Две строки уже нашел. И собачка машет хвостиком, как заправский дирижер»).

Рождественский шутит, но речь идет о нешуточном:

Патрулем
идет матрос,
осенняя верующих
распрекраснейшим крестом
пулеметных лент...

Рождественский тем более серьезен, когда он пишет о своем отношении к поэзии и об ответственности поэта — она для него несомненна. Да, Рождественский совершенно серьезен в своем общем облике, и все-таки он шутит в лирике и публицистике, в «Поэме о разных точках зрения» и в «Утренних стихах». Он пишет смешные «Упражнения по фонетике» и делает своей любимой забавный «Подарок». Он шутит, даже когда ему не смешно, и именно такой лирический сплав смешного и грустного и естествен для его стиля, соответствуя его характеру и одновременно сообщая особый колорит его стихам.

Когда сталкиваются «разные точки зрения», отчетливее проступает мировоззрение поэта.

Потому и следует принимать Рождественского всерьез, что он пишет, как живет, и живет, как пишет. Потому и следует воспринимать Рождественского всерьез, что его имя неотделимо от советской поэзии его поколения. Потому и читаются непротиворечиво его стихи, даже когда они утверждают и отстаивают свою противоречивость:

Чего бы это значило? —
В пронзительных
годах
живу все время
начерно.

И, видимо, не так.

А если я умру,
оркестрик
перво-наперво
задребезжит
взамен...
Мне так хотелось —
набело!

Не вышло,
Не сумел.

И потому и прочитываются не более чем иронично, со скидкой на общую тональность эти строчки поэта о своей судьбе, набело встающей для читателей со страниц его книг.

В. КИРЗОВ

Любителю поэзии имя Иосифа Уткина (1903—1944) скажет многое: тут же вспомнятся полные доброго юмора афористичные строки из поэмы «Повесть о рыжем Мотыле», прекрасные строфы его лирических стихов. Но что за человек был Уткин, на этот вопрос отвечает в основном лишь люди одного с ним поколения, свидетели расцвета его таланта и литературно-общественной деятельности. Теперь же все, кому интересен этот поэт, смогут прочитать книгу воспоминаний об Иосифе Уткине «В ногу с тревожным веком», вышедшую в издательстве «Советский писатель» (составитель Д. Финк). В книгу вошли воспоминания не только друзей, писателей, но и тех, кто хорошо знал Уткина в годы гражданской и Великой Отечественной войн — воспоминания коллег, работников и боевых соратников. В книге звучит живое слово Михаила Светлова и голос народного артиста СССР Ивана Козловского, исполнявшего много песен на слова поэта. Читателя покоряет обаяние личности Уткина, его художественный вкус, осознание ответственности гражданина и поэта перед Родиной, литературой, народом. Эта книга напоминает нам, что И. Уткин был одним из плеяды первых комсомольских поэтов молодого Советского государства. Что именно с его редакторского стола получили путевку в литературу «Дума про Опанаса» Э. Багрицкого и «Гренада» М. Светлова, стихи В. Гусева и многих других мастеров советской поэзии. И что в дни Отечественной войны — до своей трагической гибели в авиационной катастрофе — поэт Уткин продолжал писать стихи чистые и умные.

В книге присутствует и сам Уткин — его высказывания и мысли о литературе, о жизни, о гражданской поэзии, о назначении поэта. Многие из того, что волновало его 30—40 лет назад, и по сей день не потеряло своей актуальности. И наконец, книга дает ответ на вопрос, знает ли, читает ли Уткина сегодняшняя молодежь, насколько созвучны его стихи душевному настрою юности. В сборнике воспроизведена афиша Клуба молодых строителей Братска, которые в одном из номеров своего устного журнала «XX век» читали и обсуждали стихи Иосифа Уткина.

О. НЕМИРОВСКАЯ

«В тот весенний день я слушал истинного поэта», — говорит Кайсын Кулиев о своей встрече с Абдуллой Ариповым.

Слово Кайсына дорого стоит. Но все же обратимся непосредственно к строкам молодого узбекского поэта, чья первая книга на русском языке вышла недавно в Ташкенте («Родник», изд-во Литературы и искусства. Ташкент.)

Ее начальные строки: «Заснятая со спутника Луны, вот мать-земля, округла и щербата...» Можно ли найти ракурсы более современный, чем этот, только что добытый трудами космонавтов?

Но Арипов здесь не останавливается. Новая точка миропознания ему нужна для максимально-го приближения к нашей планете, к людям, на ней живущим. Он тревожно и увлеченно вникает в человеческие дела и заботы и готов участвовать в них; он любит-ся землей Отчизны и ощущает свою кровную близость к ней. Один слой впечатлений и чувств сменяется вторым, третьим, и этот стремительный ток ищущей мысли позволяет поэту сжато и сильно сказать о многом, полно и емко выразить истину, им утверждаемую.

Добрые неожиданности часто подстерегают нас в стихотворениях Арипова. Не то чтобы он намеревается поражать читателей внезапными эффектами. Нет, просто его не удовлетворяют соблазнительно лежащие на поверхности наблюдения и чув-

ств. Вот глядит он на родник, с трудом пробивающийся меж камней, на добрых людей, что раз-

двигают валуны, про-
кладывают путь воде.
И восклицает:

Ах, оставьте его!
Не лишайте исканий.
Пусть он сам,
пробиваясь,
ворочает камни.
Пусть он русло проложит
к реке голубой.
Дайте, люди, ему
насладиться борьбой.
(Пер. А. Файнберга.)

Или заводит он речь о
сделанном, пережитом и
приходит к выводу:
«Я видел то, что не уви-
дел кто-то, и то сказал
я, что другой не смог». Что ж,
подведен итог, полный
достоинства, сознания
ценности завершенного
труда. Однако же Арипов
идет дальше. Он заключает
стихотворение строками:

Что не увижу я, увидит
кто-то,
И кто-то скажет то, что
я не смог.

(Пер. Н. Гребнева.)

И мы понимаем, насколько
благороднее, дальновиднее это
финальное утверждение,
сразу расширяющее круг
мотивов, сперва выдвинутых
поэтом, ставящее
рядом с ним других
работников — тех, кто
будет продолжать общее
дело.

Он обращается к новым
и новым впечатлениям,
фактам, судьбам. И
опять и опять убеждаешься
в способности Арипова
находить решения
точные и глубокие,
сообщать своей строфе
емкость и жизненную
полноту, постигать за-
коны бытия так страстно,
упоенно, что размышле-
ние оказывается одновре-
менно и пережива-
нием, дума — чувством,
умственное — сердеч-
ным.

Взаимодействие, обо-
юдная связь эта дают се-
бя знать в тех стихах,
что могут быть названы
философскими, любов-
ными, сатирическими,
пейзажными. Темы и
жанры различные, а под-
ход, позиция поэта еди-
на, последовательна.
Книгу свою Арипов за-
вершает строфою:

Безжалостна и
неподкупна память,
Ей нас судить своим
судом. Она
Изо всего содеянного
нами
Лишь истинное
оставляет вольна.

Эту меру — меру истин-
ности — и чит Абдулла
Арипов.

И. ГРИНБЕРГ

Очерки и новеллы
А. Старкова, напи-
санные им в по-
следние годы, объ-
единены в сборнике «Я
оказался живой...» (изд-
во «Советская Россия»).
Как и вышедшие ранее,
они отличаются опреде-
ленной направленностью:
все герои — рядовые
нашей жизни.

Галерея этих, я бы
сказал, «обыкновенных
героев» очень разнооб-
разна. Мы встретимся на
страницах книги и с
Антуаном Лежандром,
хранителем Музея-квар-
тиры на улице Мари-Роз
в Париже, где жил когда-
то Ленин; с профессо-
ром А. А. Померанцевым,
который считался уби-
тым в схватке с юнкера-
ми на улицах Москвы в
октябрьские дни 1917 го-
да (и даже переулочек
Троицкий переименован
в переулочек Померанце-
ва). «А я оказался жи-
вой», — сказал он авто-
ру очерка. Встречаемся
с почтальоном Пуляно-
вой, Героем Социалисти-
ческого Труда, с летчи-
цей Колец, с танкистом,
геологом, солдатом, мор-
ским капитаном...

Интересно, что все они
показаны в обстоятель-
ствах необычайных, по-
ставивших их в тяжелое,
иной раз трагическое
положение.

Журналистский инте-
рес к людям высоких
нравственных качеств по-
могает автору раскрыть
их духовный мир, полно
и красочно рассказать об
их делах.

Увлечательно написана
трилогия: «Я оказался
живой», «Солдат Тандет-
ников», «В одной тачан-
ке». В одном очерке ее
герои лишь упоминаются,
казалось, незаметным
стрихом, а в другом в
полной мере раскры-
ваются их великолепные
нравственные качества.
Поэтому трилогия чи-
тается как единое про-
изведение. Читая книгу
А. Старкова — и пе-
ред глазами появляется
образ нашего современ-
ника — молодого чело-
века, для которого само-
отверженность, подвиг,
отвага стали нормой
жизни и поведения.

М. МЕРЖАНОВ

Антал Гидаш — од-
на из наиболее
значительных фи-
гур революционной
венгерской литературы,
и обращение критики к его
творчеству вполне зако-
номерно, тем более, ко-
гда автором исследова-
ния выступает такой
специалист, как О. Рос-
сиянов, выпустивший ран-
нее отличную книгу о
«венгерском Блоке»
Эндре Ади.

Критик задался целью
проследить «внутреннюю
биографию» своего героя
и сделал это по-настоя-
щему вдумчиво, интерес-
но, самостоятельно. По-
этическая, литературная
судьба Гидаша осмысле-
на в теснейшей связи с
бурной историей века, с
судьбами революцион-
ного движения.

Автор не льстит своему
герою, достоверно изо-
бражает трудность, воз-
никшие перед ним, моло-
дым художником, в пору
долгого отрыва от род-
ной земли. Выход из них
Гидаш нашел, обратясь
к прозе, к работе над
романом «Господин Фи-
цек».

В главе, посвященной
трилогии, которая была
начата этим романом,
О. Россиянов анализи-
рует образ Фицека, худ-
ожественную удачу Ги-
даша, обязанную своим
возникновением пово-
роту писателя от наме-
тившейся в ряде его сти-
хов конца 20-х годов
публицистической отле-
ченности к «националь-
но-социальной и худо-
жественной конкретности».

Но лучшие главы кни-
ги — те, которые посвя-
щены поэзии Гидаша.
Критик уходит от нена-
турально бодрых нот,
изображая судьбу поэта,
который пережил много
трудного, но не утратил
веры в свои идеалы. Ог-
ромное уважение к Ги-
дашу, человеку, комму-
нисту, поэту, водит здесь
рукой автора. Так вдум-
чиво и проникновенно о
Гидаше еще не писали,
во всяком случае — на
русском языке.

Небольшая эта кни-
га — «Антал Гидаш», —
выпущенная издательст-
вом «Художественная ли-
тература», делает хоро-
шее, доброе дело. Это
не просто еще одна «гал-
очка» в длинном списке
еще не представленных
читателю нашей крити-
кой писателей социали-
стических стран. Увы,
нередко их творчество
популяризируется в по-
добных монографиях од-
нообразно.

О. Россиянов же сделал
это с искренним увлече-
нием.

А. ТУРКОВ



ФУРМАНОВЫ И ЧАПАЕВЫ

К 80-летию
со дня рождения
Д. А. Фурманова



Две горсти земли. Они лежат в деревянном ящичке, разделенном тонкой перегородкой. Две надписи: «Земля с родины Чапаева, г. Чебоксары», «Земля с места гибели Чапаева, берег реки Урал». Земля Чебоксар — темная, почти черная, земля берега Урала — по-светлей.

Год за годом Клавдия Васильевна повторяет боевые маршруты своего отца, и теперь иногда ей кажется, что она прожила рядом с отцом всю его жизнь. А землю эту собрали и прислали ей чебоксарские пионеры.

Мы встретились с Клавдией Васильевной Чапаевой в Военно-политической академии имени В. И. Ленина на вечере, посвященном восьмидесятилетию Дмитрия Фурманова, потом поехали к ней домой. И Клавдия Васильевна снова, во всех подробностях, вспоминает о тех двух неделях ноября 1923 года, которые она провела в Москве у Фурманова. Ей было тогда одиннадцать с половиной лет.

— Поезд шел очень долго. Помню, как целые сутки стояли: впереди случилось крушение. Я боялась, что и с нами случится крушение, и однажды, когда поезд ночью резко затормозил, я упала с полки и уже тряской тряслась, пока в Москву не приехали.

Они ехали в Москву вчетвером. Клавдия рано лишилась родной матери. А еще в первую мировую войну на руках у Чапаева скончался его ближайший друг, и Чапаев поклялся воспитать его двоих детей как своих. Так возникла новая семья, и вдова друга заменила мать детям Чапаева. В 1923 году вместе с тремя детьми — среди них была и Клавдия, — мать отправилась в Москву хлопотать о пенсии для детей Чапаева. Они ехали к Фурманову, который только что выпустил свою знаменитую книгу.

— На вокзальной площади я впервые увидела трамвай, — вспоминает Клавдия Васильевна. — Отец рассказывал, что в Москве есть трамвай, и вот вижу два домика едут без лошади — сами. Мать запихнула нас, покидала вещи, а сама сестра не успела, трамвай тронулся, мать бежит за ним, мы плачем — па-

консид остановили трамвай. Вот с какими приключениями мы добирались до Фурманова.

Фурманов бывал у нас дома вместе с отцом, но я его не помнила: у нас много людей тогда бывало. А теперь я к Фурманову ехала с претензиями. Его книжку мы вслух читали, и я не могла смириться с тем, как он пересказал биографию отца. Фурманов отмечал, что Чапаев был не прочь прихвастнуть, но как же мог отец рассказать Фурманову, что родился от цыгана и дочери губернатора? Я жила после гибели отца у бабушки с дедушкой. Я-то знала, что никакого цыгана не было.

Чуть рассвело, а мы уже стояли перед дверью Фурманова в доме в Нащокинском переулке. На двери было написано, сколько раз звонить Фурманову. Но удобно ли так рано будить человека? Тут мать сказала: а вдруг он встанет и уйдет через задний двор? Мы думали, что у каждого дома в Москве, как и у нас в деревне, есть какой-нибудь задний двор со своими воротами. Позвонили, но когда за дверью послышался мужской голос: «Кто там?», — мы ничего не ответили. Шаги в коридоре смолкли, мы подождали немного и позвонили опять. И опять мужской голос спросил: «Кто?» Мать быстро подтолкнула моего брата Александра, и он своим лопачущимся басом сказал в самую дверь:

— Чапаев.

— Нанька, Чапаев! Чапаев приехал!!! — Мы услышали этот крик, шум, беготню, и тут же Фурманов выскочил к нам в одной пижаме рубашке. И жена его — это ее он называл Нанькой — тоже выскочила. Может, Фурманов подумал, что это сам отец явился? Тогда никто не верил, что он утонул, — его же не нашли. А вышел роман «Чапаев», отец и явился?... Но Фурманов сразу, конечно, все понял и бросился нас целовать — так меня только отец целовал.

Вверху на снимках: Дмитрий Фурманов в 20 лет (слева). Клавдия Васильевна Чапаева выступает на вечере, посвященном 80-летию со дня рождения Фурманова.

Мы прожили у Дмитрия Андреевича две недели. Он сразу понравился мне — очень красивый был и веселый. Он играл с нами, танцевал, сказки рассказывал, совсем как отец. Я первое время думала: почему же он нас так любит? Мы все же чужие ему?.. А он посадит на одно колено меня, на другое мою названную сестру Липу, гладит по голове, целует, совсем как отец. Ведь только папа, приезжая на несколько дней с фронта, так бросался к нам и так с нами играл.

Он как с фронта приедет, так сразу: «Где дети?» А если мы убежали куда-нибудь, он ходит по улице, пока нас не найдет. Помню, мы в кулюкушки во дворе играли — это как прятки. Отец подошел:

— А меня примете?

— Примем.

Он стал кулюкать, а мы спрятались, кто куда. Но он сразу нас всех нашел, застучал нас и говорит:

— Я один вас всех нашел, а теперь вы все меня одного найдите.

Красноармейцы видели, как Чапаев кулюкал, и тоже в игру попросились. Так что папу и мы, дети, должны были искать и еще несколько красноармейцев. Он всем велел на дорогу выйти, а чтобы через забор никто не подглядывал, где он спрячется, у входа во двор часового поставил. Мы и в подвале его искали, и на сеновале, и в конюшне смотрели под сбруями, и в его штаб, который в соседнем дворе находился, бегали. Красноармейцы, которые вместе с нами его искали, сказали, что Чапаев через калитку, наверное, к реке спустился. Мы вышли на берег Иргиза, но и на реке его не нашли. Мы устали его искать и решили играть в горелки. И вдруг отец откуда-то выскочил, и пока мы смотрели на него растерянно, пробежал через двор и застучался. Оказывается, он лежал в колоде, к которой были привязаны кони. Кони ели сено, а под сеном отец лежал. Он тут же выстроил своих красноармейцев и устроил разбор игры. Он говорил, что дети могли лошадей испугаться и к колоде не подойти, а вы, бойцы,

что же? Как же можно таким бойцам доверять разведку? Вы возвратитесь и скажете, что беляков нет, а они — есть.

...Через две недели Дмитрий Андреевич провожал нас на вокзал на извозчике. Дело с пенсией было улажено — Фурманов ходил с мамой к Фрунзе. Я и думать не могла, что никогда уже не увижу Фурманова, который за это время стал для меня самым дорогим после отца человеком в мире.

Когда в 1926 году к нам в Пугачевск пришла весть о смерти Фурманова, я не могла поверить этому. Как же так? Отца нет, а теперь нет и Фурманова?..

В 1928 году я пошла в кино смотреть новую картину «Мятеж» — по последнему роману Дмитрия Андреевича. Главным героем картины был сам Фурманов, и актер, который играл главную роль, был очень похож на Фурманова и внешне и даже вел себя совсем как настоящий Фурманов. И когда в картине басмачи повели Фурманова на казнь, я так испугалась, что его сейчас убьют, и закричала, заплакала, так что меня хотели даже из зала вывести, но я отбивалась, кричала, что у меня на глазах Фурманов не может умереть...

А вот, когда я впервые смотрела «Чапаева», я сначала никак не могла уверить себя, что Чапаев на экране — это мой отец, а Клочков — это Фурманов.

Но вот Бабочкин, помните, наклонился над картой и поет про черного ворона, лица его не видно, а видно только прическу — у отца прическа была такая же, — и на нем лишь нижняя рубашка — так и отец часто дома ходил, — и тут я на мгновение потеряла сознание.

Я смотрела «Чапаева», может, двести, а может, триста раз. Первую сотню раз я находила в картине все время что-то новое и, наконец, запомнила всю ее, кадр за кадром. Когда мне бывает особенно тяжело, я иду смотреть «Чапаева», и тогда мои собственные переживания кажутся мне ничтожными в сравнении с трагедией отца.

А Фурмановы и Чапаевы давно уже стали одной семьей. Недавно, в мае, умерла Софья Андреевна, старшая сестра Дмитрия Андреевича. Она для всех Фурмановых и Чапаевых была высшей совестью, высшим авторитетом. На похоронах все плакали, но я держалась, а на поминках уже разрыдалась, да так, что не могла остановиться, и Николай Михайлович Хлебников — ближайший друг и соратник и отца и Фурманова — поймал на улице какую-то машину и отвез меня домой. Все это лето я приходила в себя после смерти Софьи Андреевны...

Да, Фурманов стал для меня как отец за те две недели, что мы прожили у него в Москве.

Ю. ЗЕРЧАНИНОВ,
А. СИЛЕЦКИЙ



На снимке: исполнитель роли В. И. Чапаева в кинофильме «Чапаев» народный артист СССР Борис Андреевич Бабочкин и боевые соратники Фурманова и Чапаева Мария Андреевна Попова и генерал-полковник Николай Михайлович Хлебников на вечере, посвященном памяти Д. А. Фурманова в Военно-политической академии имени В. И. Ленина.

Фото С. Васина



ПЕВЕЦ ОТВАЖНЫХ ЛЮДЕЙ

К 70-летию
со дня рождения
А. А. Фадеева

Вскоре после смерти А. М. Горького Александр Фадеев в дружеском письме к Николаю Островскому с огромной болью и горечью писал: «Мог бы он жить и жить... Как это часто бывает, истинные размеры этого человека стали видны только после его смерти. И только теперь сознаешь полностью, что это ушел целый кусок мира...»

Как справедливо эти слова можно обратить к самому Фадееву!

Вновь и вновь перечитываешь его замечательные книги о юности нашего социалистического общества...

«Нам первым, — говорил он, — выпало на долю счастье рассказать людям о социалистической жизни и о том, как она была завоевана. Нам выпало на долю счастье детскими еще губами произнести такие слова в художественном развитии человечества, какие до нас не мог сказать ни один, даже самый крупный из художников прошлого».

Александр Фадеев принадлежит к тому поколению советских людей, которое было еще в поре ранней юности, когда произошла Великая Октябрьская революция. Семнадцатилетним юношей вступил он в Коммунистическую партию, пройдя суровую и прекрасную школу большевистского подполья, революционной и партизанской борьбы на Дальнем Востоке.

«Я прежде стал революционером, чем писателем, а когда взялся за перо — был уже сформировавшимся большевиком. Несомненно, от этого и мое творчество стало революционным» — в этих словах Фадеева лежит ключ к правильному пониманию его творческой биографии, столь характерной для многих советских писателей — зачинателей литературы социалистического реализма.

Уже в первых своих произведениях («Разлив», «Против течения») Фадеев проявил глубокое понимание революции. Вот почему он смело, одним из первых, ввел в нашу литературу близких ему людей нового мира — рабочих и крестьян, партизан и коммунистов. Коммунистическая идейность определила собой и темы, и сюжеты, и весь образный строй его талантливых, поистине новаторских произведений.

Удивительно многогранной была деятельность Фадеева в годы Великой Отечественной войны.

Не раз он побывал на переднем крае этой исторической битвы с фашизмом, встречался с бойцами, помогал в работе фронтовых и армейских газет, был корреспондентом центральных газет и журналов, радио. Много сил потратил на организацию работы писателей и деятелей искусств в дни войны, редактировал всеобщую газету «Литература и искусство», выступал с докладами о задачах интеллигенции в дни войны, призывая деятелей культуры до конца разделить с народом все его труды, лишения, битвы.

«Какой же ты художник, — говорил Фадеев, — если в грозную минуту для твоего народа не льется из твоего сердца кипящее слово? Кого ты сможешь прославить или заставить возненавидеть лирой своей? Где возьмешь ты пламень чувства и силу разума, если жизнь и борьба лучших людей народа на самом высоком гребне истории пройдет мимо тебя?!».

Несколько месяцев провел Фадеев в Ленинграде, в самые тяжелые дни блокады этого легендарного города. В результате появилась волнующая книга-документ «Ленинград в дни блокады».

Но, конечно, вершиной деятельности Фадеева в годы войны является рождение великолепного романа «Молодая гвардия» — этой поэмы о нашей героической советской молодежи.

«Разгром», «Последний из удэге», «Молодая гвардия», повести и рассказы, очерки и литературно-критические статьи, заметки о литературе и искусстве, и теоретические работы, и, наконец, сотни и сотни писем литераторам, артистам, художникам, рабочим, молодежи — вот богатое творческое наследие Фадеева, ставшее достоянием социалистической культуры.

К. А. Федин назвал Александра Фадеева певцом отважных и богатых душой советских людей. И впрямь, сколько подлинной любви к советским людям сумел выразить писатель в своих художествен-

ных произведениях, выступлениях, дневниках и письмах!

А. Фадеев гордился советской литературой, заботился о ее процветании. Чувством глубокого уважения к писателю и его труду проникнуты его письма к литераторам-современникам, и особенно к молодым. Он радовался успеху своего собрата по перу, как успеху собственному!

Более тридцати лет Фадеев выступал на переднем крае борьбы за социалистический реализм в литературе и искусстве, за новую, социалистическую культуру. Горение в самой гуще современной жизни во имя простых людей мира, из среды которых он вышел сам, составляло суть и смысл кипучей, полной творческих поисков жизни этого подлинно народного писателя-революционера.

Широк был круг интересов писателя. Не только художественная литература привлекала его внимание. Всем сердцем любил он театр, кино, музыку, живопись. С огромной гордостью говорил о том, как успешно под влиянием советского искусства складываются мировоззрение, психический склад, эмоциональный мир и художественные вкусы миллионов советских людей: именно поэтому Фадеев неустанно повторял, что «нам нужно великое искусство, сочетающее глубокую идейность с высокой художественной формой».

Однако вклад писателя в нашу культуру не ограничивался только его творчеством.

Фадеев был крупным государственным и общественным деятелем, организатором культуры, достойным преемником великого Горького на посту руководителя писательской организации нашей страны. Советский народ, высоко ценя писателя, неоднократно выбирал его своим депутатом в Верховный Совет СССР. Много лет Фадеев был членом Центрального Комитета КПСС. Вместе с Фредериком Жолио-Кюри он возглавлял Всемирный Совет Мира: голос его звучал с трибун международных конгрессов сторонников мира всех стран и континентов.

Двадцать лет назад, в дни своего пятидесятилетия, отвечая на многочисленные приветствия, Фадеев сказал: «Вся моя сознательная жизнь прошла в рядах партии. Я действительно только первые шестнадцать лет был беспартийным. Все лучшее, что я сделал, — на все это вдохновила меня наша партия. И я горжусь тем, что состою в нашей великой Коммунистической партии, и считаю это огромной честью для себя!»

Во всех выступлениях Фадеева отчетливо проступало то главное, что характеризовало личность Фадеева, — идейная неподкупность, большевистская страстность в отстаивании коренных интересов своего народа, верным сыном которого он был.

Вот почему на исторической переключке имен крупнейших деятелей нашей культуры имя Александра Фадеева останется одним из первых.

С. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ



Евгений Красавцев

В тайге

Голос в наушниках: «Завтра пурга!»
Гаснет костер, как полоска заката,
Молча меня обступает тайга,
Как на вербовочном пункте с плаката.

А до тебя сотни маршей-бросков,
И не расслышат твой голос антенны.
Ты возникаешь из пышных снегов,
Как Афродита возникла из пены.

Слышно дыхание твое у костра,
Машут, как птицы, большие ресницы.
Как тебе спится, моя медсестра,
После дежурства в Таганской больнице!

Может, не спишь, а читаешь Золя!
Или листаешь новейшие моды!
Мне сообщает Большая земля,
Что двое суток не будет погоды.

В доме на Яузе был бы я рад
Вместе с тобой провести эти сутки.
С пахнущим кедрами дымом костра
Слипся голодный дымок самокрутки.



Не кукуй, моя кукушка, сколько лет
Мне бродить еще осталось по земле.
Пулей-дурой сброшенный в кювет,
На Смоленщине зарыт — лежу во мгле...

У реки моя пилотка на песке,
На пилотке — поржавевшая звезда.
И с чужой свинцовой пулей в виске
Не вернуться мне с задания никогда.

У моей девчонки в косах седина,
Ей за сорок. У нее полно забот.
Ты, кукушка моя, поздно рождена!
Слышишь, вечно мне идет двадцатый год.

Надо мной в три смены трудится
стройкран.

Надо мной ракетам в космос пролетать.
До сих пор не утихает боль от ран —
Я убит, не разучившийся стрелять.



«АВРОРА — ЗОЛОТОЙ ЧАС...»

В 8-м номере «Юности» редакция вынесла на читательский суд впервые появившееся в нашем журнале педагогическое обозрение. И, хотя очень хорошо известно, как устойчив и глубок в нашей стране интерес к проблемам воспитания и образования, некоторые опасения оставались: а примут ли в массовом, «не специальном» журнале такой тип обозрения?

Выступление журнала по поводу неудачного педагогического пособия вызвало массу откликов, и это уже само по себе говорит, сколь назрел вопрос, поднятый в статье.

Откликнулись сами педагоги, действующие и будущие — студенты педагогических институтов и училищ. Но столь же весомо представлены и другие профессии: инженер и строитель, врачи и библиотекари, геофизик, солдат и просто рядовая советская бабушка. Условимся считать родом профессии и учение в школе: есть среди откликов групповые послания старшеклассников.

Позволим себе и еще один перечень. В обсуждении принимают также участие... Коменский и Песталоцци, Руссо и Сенека, Ушинский, Крупская, Макаренко. На их взгляды ссылаются читатели, их мысли живо вторгаются в современный спор. И это не простое желание заслониться авторитетным именем, а прекрасное свидетельство того, как действительно глубоко, не поверхностно интерес к педагогике — высокому искусству и науке, впитавшим в себя многовековое наследие.

Кстати, Коменский «дал» и заголовок этому обзору. Читательница А. Селезнева (Хабаровск) пишет: «У Яна Амоса Коменского я вычитала наблюдение о том, что лучшие часы учения — утренние. Аврора — золотой час (аures) — «золото», «нога» — «час». Я толкую эту мысль не только гигиенически. Каждый час учения может и должен быть золотым часом. Радостным, интересным».

Напомним, о чем шла речь в первом нашем педагогическом обозрении. Публицист С. Соловейчик критически анализировал учебное пособие «Методика воспитательного процесса» (авторы В. Коротов, Б. Лихачев, Л. Гордин). Тема специальная и на первый взгляд не дающая повода для больших обобщений и широкого выхода в жизнь.

Тем интереснее чуткость, с которой читатели подхватывают спор, расширяют его рамки, противопоставляют «воспитанию по команде» живительную педагогику воспитания радостью, общими интересами, золотыми часами учения. Так выразила, например, суть полемики читательница О. Вешнякова (Архангельск).

«У многих из тех, кто выбирает труднейшую профессию педагога, есть особый дар. Такие не берут на вооружение командные методики, а отдают де-

тям весь жар души. Это и Макаренко и Сухомлинский с его «школой радости». Это и рядовые советские учителя, еще не прославленные печатными трудами.

В прошлом году мой сын окончил 43-ю школу в Архангельске. Поступил в Омское училище ГВФ и к Дню учителя первый послал телеграмму классному руководителю Тамаре Михайловне Суетиной. Много ей пришлось повозиться с подростками. Она была с ними неизменно вежлива, умела убеждать в самых пылких спорах, организовала факультатив, на котором ребята сами готовили и читали лекции, ходила с ними в походы.

Или учительница литературы Светлана Александровна Усова. Она знала все их наклонности, мечты, недостатки. И, когда ее перевели работать в горком ВЛКСМ, ребята целой делегацией ездил туда с просьбой вернуть ее в школу.

Не от требования отталкивается такая педагогика, не от команды, а от умения вместе с детьми идти шаг за шагом, увлекая их за собой.

Доставляет особое удовольствие найти в почте адрес нового учительского опыта, услышать имя человека, по-своему прокладывающего путь. «В нашем районе есть Богдановская школа. Уверен, вы слышали о ней. Министр М. А. Прокофьев в своем выступлении на XXIV съезде партии назвал ее педагогической лабораторией. Возглавляет эту школу Иван Гурьевич Ткаченко, человек необычайного ума и громадной педагогической эрудиции».

Приезжайте, Вы побеседуете с ним два дня, а обогатитесь на два года» (А. Зеленгур, г. Знаменка, Кировоградской области).

«Обязательно напишите об Алексее Федоровиче Рынденко. Это начальник колонии несовершеннолетних в Киевской области, человек удивительной души, собравший удивительный коллектив воспитателей» (Е. Платонова, Киев).

Упомянем здесь же группу калининских учителей-пенсионеров, безвозмездно работающих в детских комнатах и домовых красных уголках (письмо М. Бригадиренко). Порадуемся юношеской отзывчивости, с которой будущие педагоги подхватывают опыт предшественника: «Все лето я буду работать в пионерском лагере. И постараюсь — по Сухомлинскому» (Т. Нечаева, Харьковский пединститут).

Читатели сообщают о семинарах педагогической культуры с очень широкой программой, о новых методах преподавания в школе и вузе. И все это — отражение живых поисков в педагогике, путь к новой методике коммунистического воспитания, основа которой — гуманистическая, активная любовь к детям, уважение к их миру, умение вести их к интересам общественным.

Итак, критический разбор всего лишь одного методического пособия превращается в широкое обозрение проблем воспитания. Возникают новые темы и адреса, ставятся новые вопросы. Широта эта лишняя раз оттеняет узость некоторых теоретических и, как нам кажется, устаревших построений о школе, сводящих дело к двум-трем приемам. Реальный процесс, к нашему счастью и к счастью советской школы, и богаче и сложнее. А реальное мышление людей, преданных гуманистической педагогике, впитавшей лучшие традиции мировой педагогики и обогатившей их советским видением и пониманием педагогического процесса, куда шире.

Вот, например, размышления доктора медицинских наук, заведующего кафедрой Хабаровского медицинского института В. Линденбрата (цитируем по воле сокращенно). Это мысли из его статьи, опубликованной в газете «Тихоокеанская звезда» и присланной в «Юность». «Нельзя начинать обучение без пробуждения у ребенка интереса к знаниям...» «Цель обучения, — говорил В. А. Сухомлинский, — не овладение знаниями, а... удовольствие». Вдумайтесь в эту фразу! На первый взгляд она кажется кощунственной, но это только на первый взгляд. Я глубоко убежден, что если бы нам удалось добиться того, чтобы все дети, начиная с раннего возраста, испытывали бы радость от приобретения новых знаний, от творчества, то этим самым мы решили бы 90 процентов всех проблем педагогики.

...Недавно в США среди большой группы учителей была распространена анкета. Педагогов просили ответить, какую из проблем обучения они считают главной. 95 процентов учителей ответили: главное — найти способ усвоения все возрастающего потока информации. Нет, уважаемые американские коллеги! Это далеко не главная проблема. Главное — это воспитание способности к творческому мышлению. От этого в значительной мере зависит будущее человечества. ...К сожалению, в школе слишком широко используют разные формы метода принуждения. Многие ребята учатся не потому, что чувствуют в этом внутреннюю потребность, а потому, что они должны учиться, обязаны делать уроки, потому что неуспевающих наказывают. Дети боятся наказания. Многие из них не любят школу.

...Вырастая, такие дети в дальнейшем по обязанности учатся в институте, по обязанности работают и даже... по обязанности защищают диссертации. Выступая, они читают чужие мысли с листа, ибо боясь допустить ошибку. Бояться... А чего? Многие из них сами не сумеют этого объяснить. Переделать такую психологию очень трудно. Может быть, даже невозможно. Надо начинать с детства. ...Школа — это мир взаимных соприкосновений, и учитель и ученик взаимно обогащают друг друга. Речь идет не об официальном прикреплении педагогов к учащимся. Педагог должен сердцем прикипеть к своим ученикам. Учитель — не страж у ворот царства знаний, а добрый волшебник в этом царстве. Разве можно бояться доброго волшебника?»

Широта подхода к обучению и воспитанию продиктована временем, обусловлена целями коммунистического строительства, главной из них — развитием самого человека. Поэтому не бесстрастен, не односторонен сегодня и разговор о педагогике и сама ее практика.

Но не слишком ли далеко мы (вместе с читателями) отошли от непосредственной темы первого педагогического обозрения? От учебника «Методика воспитательного процесса»? Ведь и о конкретных процессах его авторов тоже стоит поговорить.

Листаем страницу за страницей семьдесят два чи-

тательских отклика. По-разному окрашены они эмоционально. Но оставим эмоции в стороне. Сходятся читатели в том, что методика требований, наказаний и перспектив-приманок сегодня уже явно устарела и, как утверждают авторы писем, не соответствует и сути и букве великих задач коммунистического воспитания, так четко и требовательно очерченных в документах XXIV съезда партии. Воспитание неотделимо от убеждения, творческой направленности, самостоятельности детей в широком смысле слова. Активность, увлечение, саморазвитие — ключевые понятия воспитательного процесса, его истинные цели. «Когда дисциплина не средство воспитания, а результат, к которому стремятся, то все становится с ног на голову», — пишет читатель С. Гончаров из Ташкента.

«По-моему, настоящему учителю должна быть свойственна абсолютная небоязнь нового. Может быть, неловко выражено? Но педагогика вся — творчество, без костылей одной-двух догм. Искать. Иначе, если вы пугаетесь нового, все облачаете в форму привычного требования, все формализуете (так описывают авторы пособия, например, соревнование в школе) — кого воспитаете? Роботов?» (В. Подыменцев, студент, Пятигорск).

«Не с того конца начинают авторы пособия. Не требование в самых разных упаковках, а радость — цель процесса, его исходное. Учить радоваться учебе, труду, жизни» (М. Новоселова, геофизик, Иркутск).

Сходные мнения выражены в письмах Н. Ищенко (Белгород, учитель), В. Остафьевской (Косов, Ивано-Франковской обл., инженер), Т. Михайловской (детский врач, Москва), Ю. Буянова (студент, Москва), О. Борисовой (инженер, Чимкент), Н. Зегжды (кандидат исторических наук, Ленинград), А. Русиновой (строитель, Кагул, Молдавская ССР), Г. Дюкова (студент, Кемерово) и других. Разумеется, спор идет отнюдь не только на уровне теории. Школьная жизнь врывается в него острейшими конфликтами. Почитайте:

«Может быть, вам покажется странным, что я, человек, стоящий в стороне от педагогической деятельности, берусь обсуждать специальную статью С. Соловейчика «Воспитание по команде». Заранее предупреждаю, что я бабушка, но все же попытаюсь быть объективной и, не судя обо всех тонкостях педагогики, скажу только о результатах некоторых методов. ...Отрицательные примеры воспитания командой и наказанием, если их не хватило авторам учебника, могу привести из собственных наблюдений.

Мой внук в первые 2—3 дня школьной жизни был наказан за то, что не захотел назвать зачинщиков драки в классе. Заявил: «товарищей не выдаю». За это он был поставлен в угол, но учительнице этого показалось мало, и она пригласила всех матерей и бабушек, встречавших детей из школы, и «проработала» его перед всем классом. Дальше. В 3—4-х классах кто-то из педагогов предложил недисциплинированным ученикам надевать на руку белую повязку и водить по смежным классам, показывать. Мой внук заявил мне, что, если с ним совершат эту позорную казнь, он «перестанет жить». Вы понимаете его отчаяние? Думаю, что эти методы стоят рядом с описанными (сочувственно!) в «Методике»: ученика можно уподобить обезьяне, заставить мыть лодку под дождем и т. д. В. Коротов пишет, что методы «не выведены умозрительным путем, а взяты из педагогического опыта, благодаря его верному осмыслению». Откуда это — верное? И почему авторы ссылаются на опыт одних, а не на опыт подавляющего

большинства советских учителей, которые умели и умеют обходиться без команды и наказаний? Где, например, советы Крупской, Сухомлинского, Ушинского и многих других?» (А. Зимогорская, Москва).

Никто из откликнувшихся не отвергает необходимости требования, четкой системы в воспитании, спорят и о мере применения наказаний. Речь же повсюду только о преувеличении, выпячивании одного — метода команд — в явный ущерб другим методам, целям воспитания.

Приведем в конце мнение читателя, чья дорога нам особенно важна, чей выбор многое решит. Пишет студентка пединститута Н. Бирку:

«По-моему, быть человечнее, добрее, внимательнее к людям, уважать их — самое главное. Вот с чего начинать бы всякую «методику», чем ее наполнять. Если ты уважаешь в ребенке человека, он это прекрасно чувствует и уважением же, интересом отвечает. Умно сочетать это главное с четким требованием — этому хочется научиться». Простые и верные слова.

Итак, семьдесят два — за. Сколько против?

Одно.

Письмо из Вологды, от кандидата педагогических наук Ф. Бондаря. Даже и не письмо, начинающееся обычным «Уважаемая редакция!», а любовно отпечатанная «Реплика по поводу одной рецензии» (так называет ее тов. Бондарь). Мы лишены возможности напечатать ее целиком (размер двух страниц журнала). Приведем лишь часть реплики, поручившись за то, что часть эта — самая хлесткая.

«РЕПЛИКА ПО ПОВОДУ ОДНОЙ РЕЦЕНЗИИ»

Недавно в печати появилась хлесткая статья журналиста С. А. Соловейчика, в которой он пытается доказать, что утвержденное МП РСФСР пособие для студентов «Методика воспитательного процесса» не только плохое, но и вредное. И вред его якобы заключается в том, что оно всю методику воспитания сводит к диктату, то бишь к «воспитанию по команде».

Поскольку означенная рецензия затрагивает принципиальные вопросы, в частности проблему воспитания сознательной дисциплины, то хотелось бы в этой связи высказать и свою точку зрения. Тем более, что в Вологде эта методика проходила некоторую проверку.

По мнению С. А. Соловейчика, самым большим злом в «Методике воспитательного процесса» является то, что авторы пособия объявили требование главным методом воспитания. Позволительно спросить: разве они первыми высказали эту мысль? А не А. С. Макаренко? Или уважаемому рецензенту это неизвестно?

Теперь не только учителя, но и студенты педвузов хорошо знают, какую роль Макаренко отводил требованию в воспитании. Антон Семенович убедительно доказал, что «основанием дисциплины является требование без теории». И он же высказал ту мысль, что при воспитании дисциплины могут использоваться и другие элементы воздействия, которые «также по существу будут требованиями, но высказанными не в такой решительной форме. Кроме требования, — писал он, — есть привлечение и понуждение. Эти две формы есть выражение как бы в слабой форме требования. И, наконец, более сильная форма, чем обыкновенное требование, это угроза».

Далее А. С. Макаренко пояснил, что под привлечением он понимает побуждение подарком, наградой, премией или другими благами, привлечение эстетической поступка, его красивой внутренней сущностью, а под понуждением — и доказательства, и убеждения, и намек, и улыбку, и юмор.

С. А. Соловейчик гневно вопрошает:

«Где написано, что если от ребенка только требовать да требовать, то это требование, соединенное с наказанием, превратится во «внутренний стимул» и даже «в источник радости»(!), а не остервеет ребенка?»

Как где? У Макаренко и написано.

«Рассчитывать, — говорил он, — что дисциплину можно создать только одной проповедью, одними разъяснениями, — это значит рассчитывать на результат чрезвычайно слабый».

Как раз в области рассуждений мне приходилось сталкиваться с очень упорными противниками дисциплины (среди воспитанников), и если доказывать им необходимость дисциплины словесно, то можно встретить такие же яркие слова и возражения».

А вот что он говорит о наказании:

«Наказание может воспитывать раба, а иногда может воспитывать и очень хорошего человека, и очень свободного и гордого человека. Представьте себе, что в моей практике, когда стояла задача воспитывать человеческое достоинство и гордость, то я этого достигал и через наказание».

Оказывается, написано и доказано, и не вина авторов «Методики воспитательного процесса», что С. А. Соловейчик этого не читал. А потом надо внимательнее к жизни присматриваться или самому поработать с детьми в роли учителя. Тогда не появится никакого сомнения в том, что лучший учитель — обязательно самый требовательный».

Вот таким образом. По тону все ясно, вплоть до наскака («поучил бы сам!»). Можем сказать, автор обозрения и учил, и нет дня, когда он прожил бы без школы. Но, кажется, предложенный Ф. Бондарем тон начинает и у нас вызывать лишние эмоции, остановимся.

Что же касается открытий А. С. Макаренко, из которых якобы последовательно исходят авторы «Методики», оставим этот вопрос тоже «открытым». Читатели с удовольствием перечитают любимого педагога, сопоставят целое его учение с теми «отрывками-открытиями», которые Ф. Бондарь, вырывая из текста и соответственно подбирая, предлагает считать «главным методом воспитания». Интересно будет вспомнить замечательную диалектику макаренковской (всегда сознательной) дисциплины, цели его системы саморазвивающегося коллектива, принцип самоуправления, муки по поводу вынужденного наказания и так далее. Впрочем, не будем закрывать открытого вопроса. Нам представляется, что и это может продолжит и обогатит дискуссию.

Скажем в заключение лишь, что саму редакцию даже грозная цепь искусно выбранных из большого целого цитат с позиции не сбивала. Мы по-прежнему считаем, что часы учения — это утренние, зоревые, веселые часы человечества, часы добра и радости, общения и поиска.



В конце обзора не можем не выразить огорчения по поводу того, что до сих пор редакции не ответило Министерство просвещения РСФСР, рекомендовавшее «Методику воспитательного процесса» к печати.



ОБРАЗ ОБРАЗОВАНИЯ

19 и 20 октября 1971 года в Москве состоялся Первый Всесоюзный слет студентов — событие, которое на годы определит пути нашей высшей школы. Речь Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева содержала целую программу действий вузов в новой пятилетке, в условиях научно-технической революции. Эта речь нашла горячий отклик среди студентов. Ниже мы печатаем беседу корреспондента «Юности» М. Казанова с делегатом Первого Всесоюзного слета студентов Камилем Исхаковым, студентом четвертого курса Казанского университета.

— Если бы тебя, сегодняшнего, вернули на четыре года назад, поступал бы ты снова в КГУ?

— Уверен, что все обстояло бы точно так же. Я лишен «местного» патриотизма, но дело-то не в городе. Человеку, неспособному серьезно относиться к своему основному занятию — учебе, — марка вуза не поможет. Чтобы из студента получился хороший специалист, он должен либо очень хотеть стать специалистом, либо быть поставленным в такие условия, в которых он будет вынужден хорошо работать. Если к «среднему» студенту не предъявлять повышенных требований, он станет «средним» специалистом, а это уже прямой ущерб для государства.

«Сделаем отличника главным человеком в вузе!» Слет в Кремле поддержал такую ориентацию работы вузовских комсомольских организаций, подтвердил, что она всерьез и надолго.

Я тоже за нее, потому что жду от каждой лекции открытия нового, потому что хочу быть хорошим инженером, а не «февралем»...

— Как тебя понимать?

— Во время практики на заводе я услышал, что инженеры из конструкторского отдела называли так своего коллегу.

А что такое «февраль»? Вроде бы месяц, да только двадцать восемь дней, ну максимум двадцать девять...

— В списке делегатов против твоей фамилии

довольно длинная запись: «Руководитель поэтического театра, член бюро секции спортивной гимнастики, депутат Верховного Совета Татарской АССР...

— ...сотрудник лаборатории спортивной диагностики.

— Вот-вот. Как тебе удастся все это успевать и еще отлично учиться?

— Каждый человек однажды решает для себя задачу: «Дано А энергии. Туда входит А₁ — умственная, А₂ — мускульная и А₃ — всякая другая. В соответствии с законами физики развитие одного вида энергии неизбежно будет идти за счет другого... Что делать?» Но можно перевернуть построение задачи... Если одновременно увеличивать все составляющие, то увеличится и сумма.

Специалисты подсчитали, что для «приличной» учебы в техническом вузе человек должен тратить на занятия десять часов в сутки. Отделение радиопизики КГУ, на котором я занимаюсь, обеспечивает специалистами промышленность республики и требует ничуть не меньших затрат времени... Вычтем еще семь часов на сон и два на завтраки, обеды и ужины, — останется пять часов, правильно распорядиться которыми не так уж трудно в том случае, если ты способен хотя бы к минимальной самодисциплине.

А если человек не способен управлять своими желаниями, то, занявшись одним, он неизбежно провалит другое и в конце концов окажется, как гоголевский Хома Брут, в кругу, из которого побойться выйти. Этот круг навсегда окажется границей его возможностей.

У Грина в «Бегущей по волнам» есть такие строки: «Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, Несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь угадать, откуда прилетел зов».

Так вот, увлечения, удерживаемые в разумных границах, помогают мне не слишком горячо переживать существование в нашей жизни Несбывшегося. Ради них я не пожертвую даже частью своего основного дела — освоения профессии, но они помогают жить.

— Я перворазрядник и вряд ли уже стану чемпионом на сколько-нибудь крупных соревнованиях, но благодаря гимнастике могу продуктивнее работать. Прописные истины — вещь совсем неплохая, если хоть раз попробовать принять их всерьез.

В Первом московском медицинском институте, куда на второй день слета приезжала группа делегатов, мне рассказали о Наташе Чистяковой. Она учится на пятом курсе, учится хорошо и продолжает оставаться одной из самых сильных в мире легкоатлеток. Удастся это за счет жесточайшего самоограничения, порой даже ночных занятий, но бронзовый призер мексиканской Олимпиады выше всех своих спортивных титулов ставит титул «студент», отказывается от каких бы то ни было скидок и считает себя счастливым человеком... Летом она открывала Спартакиаду народов СССР — бежала с факелом зажигать олимпийский огонь. Подул ветер, и пламя начало стелиться по руке... Но Наташа все-таки добежала, не желая испортить начало праздника. Тут мало одной только физической тренированности, тут нужна очень большая дисциплина духа.

Человек очень многое может, когда оказывается в состоянии управлять своими чувствами...

— А что собой представляет ваш поэтический театр?

— Семь человек, имеющих в репертуаре два спектакля. До того, как мы собрались вместе, каждый

уже имел опыт чтения стихов в концертах. Но тут пришлось учиться заново.

Весной прошлого года, перед юбилеем Ленина, готовился в Казани молодежный фестиваль искусств под девизом «Славлю Отечество». Меня вызвали в комитет ВАКСМ и предложили подготовить концертную программу, назвали ребят, на которых я мог рассчитывать. Собрались мы, стали решать, что ставить... Появилось предложение — «Казанский университет» Евгения Евтушенко. Сначала испугались: «Не осилим!», — но потом подумали и взялись.

Выступили раз — успешно, выступили второй — успешно. Получили право показать свой спектакль на сцене республиканского театра оперы и балета... Потом взялись за «Реквием» Роберта Рождественского. В мае в университете открывали мемориальную доску с фамилиями студентов и преподавателей, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Все концертное отделение занял наш «Реквием». Этот опыт тоже удался, мы осмелели и решили заняться «традиционной» драмой. Собираемся к концу года поставить «Назначение» Александра Володина...

— С какими мыслями ты уезжаешь со слета?

— Получить разом две тысячи интересных собеседников — уже большое дело. Завязаны контакты, обсуждены проблемы... Количество информации огромно... Нам предстоит еще долго обдумывать услышанное.

Нынешний студент знает в каких-то отраслях больше, чем Эразм Роттердамский в лучшую свою пору. Но мы все еще можем считать Эразма образцом образованного человека, потому что он умел на основе знаний своего времени раскрыть новые связи, закономерности в окружающем мире... Выступая на слете, президент Академии наук М. В. Келдыш говорил: «Необходимо, чтобы вузы не только закладывали прочный фундамент знаний, но приучали бы студента к активной творческой работе». Государство тратит на наше обучение весьма значительную часть своего бюджета, которая теперь увеличилась, и гражданский долг студента — как можно раньше начать «выдачу продукции», стать активным членом общества.

В вузах Казани давно существуют большие и авторитетные студенческие конструкторские бюро и проблемные лаборатории. Всесоюзную известность получили многопрофильное СКБ Казанского авиационного института и университетская лаборатория спортивной диагностики, в которой создаются электронные приборы, используемые во всех институтах физкультуры, а также при обследовании членов сборных страны по многим видам спорта. В День космонавтики в апреле этого года делегация КАИ, приглашенная в Звездный городок, подарила отряду космонавтов автоматическую цветомузыкальную установку, которой дал очень высокую оценку дирижер Н. Рахлин. А в конце октября стало известно о том, что группа старшекурсников КАИ за разработку серии двигателей внутреннего сгорания получила медаль Всесоюзного конкурса на лучшую научную работу студентов.

Казань уже давно стала традиционно промышленным городом, с уклоном в химию нефти и в машиностроение. В нынешнем году по инициативе Казанского химико-технологического института был проведен республиканский конкурс на лучшую научную работу студентов по химии, химической технологии и машиностроению. Этот конкурс показал, что мы многое можем. И это относится не только к научно-му творчеству.

Ребята из «Снежного десанта», КГУ, участники Всесоюзного похода по местам боевой славы, разыскивали

240 ветеранов 146-й стрелковой дивизии, которая формировалась в Татарии.

Минувшим летом пятьсот студентов инженерно-строительного института работали на строительстве Камского завода грузовых автомобилей, объявленного Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Они вели кладку кирпича, занимались отделочными работами, а два отряда прокладывали автомобильные дороги, по которым пойдут первые автомашины «КАЗ»... Интересно, что в горьком партии в Набережных Челнах строительным отделом заведует Анатолий Котвицкий, командир первого отряда казанских студентов, летом шестьдесят третьего года отправившегося в Целиноградскую область.

Студенты девяти вузов Казани живут общей жизнью с четырехмиллионным отрядом студентов страны. У нас быстро приживается любое интересное новшество, родившееся у наших товарищей. А поэтому мы рады, что на слете подтвердилось давнее убеждение, что вузовские комсомольцы, как и прежде, здорово умеют и выдвигать новые идеи и добиваться их реализации.

С большим интересом все слушали рассказы о студенческих конструкторских отрядах москвичей, дающих новый поворот движению студенческих строительных отрядов. О шлопочных агитпоходах ребят из Ленинградского кораблестроительного института, прошедших тысячи километров по Енисею, давших десятки концертов, прочитавших сотни лекций. О договоре между комсомольскими организациями Ленинградского университета и Балтийского завода, позволяющем от экскурсий на завод перейти к прочной дружбе между студентами и производственниками. О походах петрозаводцев по «лыжне Антикайна» — маршруту рейда, совершенного в годы гражданской войны батальоном красных финских курсантов. Не менее интересно было узнать, что в одесских вузах после возвращения строительных отрядов появляются новые производственные стипендиаты. За лето председатель колхоза или директор предприятия успевает присмотреться к студентам, поговорить с ними «по душам», а студент успевает найти место возможного распределения. В случае, если обе «высокие договаривающиеся стороны» удовлетворены друг другом, появляется новый заводской или колхозный стипендиат, и в последующие годы человек будет уже ездить со строительным отрядом в одно и то же место, а получив диплом, приедет туда на постоянную работу... Так старая идея наполнилась новым содержанием.

Все это убыстряет формирование специалиста застрашного дня, убыстряет его взросление.

Несколько лет назад у меня был период, когда я очень увлекался историей техники и читал все, что попадало под руку. Однажды натолкнулся на интересный факт: директором Центрального аэрогидродинамического института с 1925 по 1928 год был молодой человек, учившийся на третьем курсе института, а еще раньше служивший заместителем наркома тяжелой промышленности. Его «открыл» Чапыгин, возглавивший коллектив ЦАГИ после смерти Жуковского.

Кто-то, наверное, посетует, что студент теперь не может сразу шагнуть в наркомы. А по-моему, это означает, что страна предъявляет новые требования к вожакам. Одних только природных способностей и энтузиазма уже недостаточно, чтобы стать в ней крупным руководителем. Итак, учиться и учиться!

Мы на репетиции новой программы нового театра. В маленьком, душном зале репетирует почти вся труппа, и в середине этой балетной круговерти — Якобсон. Смотришь на него и невольно вспоминаешь гофмановского мастера кукол Дроссельмейера. Та же удивительная фантазия, загадочность, поэтичность. Та же причудливая смена настроений и масок: от властного, требовательного режиссера до наивного, обиженного ребенка.

У вас на глазах — и это передать невозможно — в движениях, жестах, которые балетмейстер показывает актеру, рождается выразительный пластический образ. И, кажется, он рождается сам собою, помимо воли балетмейстера, легко и естественно. Как скульптор, точными, меткими штрихами лепит он нужную ему форму, освобождая ее от малейших изъянов, отсекая все лишнее. Это сравнение приобретает буквальную точность, когда смотришь миниатюры на темы скульптур Родена в первой программе нового театра. Каждую отдельную миниатюру актеры начинают, приняв позы одной из знаменитых роденовских статуй. А дальше в соответствии с музыкальной темой перед нами проходит то медленный, то быстрый калейдоскоп поз (именно черед поз, а не танец в общепринятом смысле этого слова). Миниатюры сделаны с таким глубоким проникновением в мир образов Родена, что под каждым фрагментом этого зрелища гениальный скульптор мог бы поставить свою подпись.

Но в этом случае все-таки понятно, откуда Якобсон берет рисунок миниатюры. А как происходит процесс творчества, если перед глазами нет пластического оригинала? Как тогда? И мы спрашиваем об этом Якобсона.

— Трудно сказать... Когда как... Моя хореография, мне кажется, рождается из моих наблюдений, жизненных накоплений. Они состоят из того, что видел, вижу, переживаю. Загораю ли на пляже, наблюдаю ли драку мальчишек на улице, смотрю ли фильм — все время коплю. Но это совсем не значит, что свои наблюдения я использую, так сказать, «в лоб». Что вижу, то и ставлю на сцене. Нет! Из уличной драки я могу взять движение и использовать его для балетной миниатюры, изображающей, скажем, страстный поцелуй... А движение из эпизода поцелуя двух влюбленных взять в драку... Это придает глубину и объемность каждому фрагменту.

Очень много дали мне путешествия. Исходил пешком Токио, Нью-Йорк, Париж... Делал записи, зарисовки. За многие годы скопился большой материал для работы — на полвека хватит. А я все коплю и коплю... Совсем как гоголевский Плюшкин.

— Как вы стали балетмейстером?

— Можно сказать, случайно. Когда я был мальчиком, в то революционное время, нас, учеников школ Ленинграда (я учился тогда в реальном училище), отправили в Сибирь, подкормить. Гражданская война отбросила нас к Владивостоку; в Ленинград пришлось возвращаться через Тихий океан, Америку, Францию — так я совершил свое первое кругосветное путешествие. О балетном искусстве я не помышлял. Но однажды, проходя по бывшей Бассейной — теперь улица Некрасова, — увидел вывеску: Иван Иванович Чекрыгин — бывший артист императорского театра. Мальчик я был стройный, легкий. Почему бы не зайти?.. Зашел, посмотрел и стал учиться. Тут и началось мое увлечение балетом. Поступил на вечерние курсы при Хореографическом училище, потом попал на основное отделение, а оттуда в Мариинский театр. Балетмейстерствовать начал еще в училище.

Все, что произошло потом с Якобсоном, уже не было случайностью. Был трудный творческий путь. Были блестящие победы и блестящие разочаро-

вания. И всегда он шел своей, никем не изведанной в искусстве дорогой с безоглядной одержимостью, убежденностью, не страшая приговора традиций, современников, публики. Так появлялись балеты «Золотой век», «Тиль Уленшпигель», «Шурале», «Сольвейг», «Спартак», «Клоп», «Двенадцать». Но истинное призвание Якобсона (и тут ему нет равных) — это искусство хореографической миниатюры.

...На сцене «Паоло и Франческа». Двое влюбленных, навеки соединенные силами ада, то рвутся друг к другу, то разлетаются в разные стороны. Это и любовь и наказание за любовь. Это буйство страстей и мучения в Дантовых кругах... Данте и Густав Доре помогли найти балетмейстеру ключ к этой миниатюре, ее основное действующее лицо — бурю, которая носит их, как две пылинки в пространстве, то взметая высоко в воздух, то разбрасывая в разные стороны и снова сталкивая в адском вихре. Это стихия, это дух, который оказывается выше человеческих сил. Буря, благодаря острой мысли балетмейстера и точному исполнению танцовщиков присутствующая на сцене, придает образам «Паоло и Франческа» глубокий смысл.

— Почему вы отдаете предпочтение жанру хореографической миниатюры?

— Миниатюру полюбил безотчетно. Появилось, что это мой жанр. Это форма емкая, мобильная, лаконичная, драматургически законченная, с ясным пластическим образом. Своего рода маленькое художественное произведение. Она дает возможность до предела раскрыть музыку, максимально выявить актерские возможности и за очень короткое время рассказать больше, чем в ином полнометражном балете, наконец, удерживает, концентрирует внимание зрителей. Выразительность, пластика. Способность их языком говорить о том, чего не могут сказать другие искусства. В своих миниатюрах я использую скорее инструмент пластики, чем балетного танца. Пластика для балетмейстера — это то же, что краски для художника, ноты для композитора, глина для скульптора. Все, что может быть образным в движении, — все это пластика. Пластикой, танцем можно сказать о любви не менее выразительно, чем словом. Но самое главное, что с ее помощью можно говорить о тех же проблемах, о которых говорят литература, кино, драматический театр. Можно раскрыть любую тему, воплотить любой сюжет, казалось бы, совершенно противоположный балету. Наконец, можно говорить о воплощении современности в балете — о нашей «больной» теме.

— Почему эту тему вы считаете «больной»?

— К сожалению, хореография не идет в ногу с временем, отстает от своих собратьев по искусству. По большому счету нет балетов на современную тему. А если они и возникают, то живут недолго и, что греха таить, интереса у зрителя не вызывают. Понски балетмейстеров здесь пока невелики. Мне кажется, балетмейстеры, которые берутся за эту тему, обращаются не к тем хореографическим средствам. Они предпочитают классический танец. Я, конечно, отдаю ему должное. Это основа, школа, тот фундамент, на котором можно строить разные хореографические здания. Но все же возможности его ограничены. Область классицистского танца — сказки, романтические сюжеты. Это стихия классики, ее естественный мир. Но если говорить о современности, мыслях и страстях современного человека, сложности и противоречиях его внутреннего мира, всякого рода социальных проблемах — тут просто противопоставлен язык классицистского танца с его застывшими канонами, условностью, абстрактностью. Можете ли вы заставить эти каноны выразить, скажем, то, чем живут герои фильмов Феллини, Антониони

или герои поэм Вознесенского? Я думаю, что нет. Выход в том, что надо искать новое. В жизни, в пластике. Новые формы, новые средства. И смелее отбрасывать устаревшие приемы. Театр не музей, хотя есть шедевры, которые вряд ли можно лучше поставить. «Спящая красавица», например, «Жизель»... Но согласитесь, языком «Жизели» современный балет решать невозможно.

Как озорную иллюстрацию этой мысли Леонида Вениаминовича нам хочется привести номер из программы «Хореографические миниатюры», который называется «Средневековый танец с поцелуями». Дамы и кавалеры в тяжелом бархатном облачении сходятся и расходятся в движениях старинного танца. Чопорность, этикет, галантность... Кавалеры, склонившись в поклоне, целуют руки дамам, дамы стыдливо опускают глаза долу... И вот пара за парой исчезают в кулисах, и на сцене остается последняя. Дамы и кавалеры оглядываются, замечают, что они одни, и... сливаются в жарком, вполне плотском поцелуе, отрешаясь от условностей этикета, мгновенно становясь естественными и тем приближаясь к современным людям.

— Какие традиции русского балета вам наиболее близки?

— Творчество Михаила Фокина, который утверждал, что разным сюжетам, разным темам в балете надо находить свой стиль, свою лексику, форму, точно соответствующие содержанию. Фокин не отрицал классику, но и не считал ее возможности всеобъемлющими. Классика — это лишь одна из красок в многоцветной палитре балетмейстера, и нельзя ею рисовать все подряд. Это он доказал своим творчеством. Только сейчас я понял, что именно Фокин привел меня к миниатюре. Вы знаете, он за всю жизнь не поставил ни одного двухактного балета! Благодаря Фокину я поверил в пластику, понял, что пластические возможности человеческого тела безграничны. Ему подвластно все: трагедия, гротеск, лирика — любые эмоции, любые мысли. Из великих балетмейстеров прошлого Фокин мне наиболее близок.

— По какому принципу вы подбирали актеров в свою труппу?

— Для меня главное — человеческая и актерская индивидуальность. Когда я ее обнаруживал в актере, я готов был простить прочие недостатки. В труппе — молодые артисты из разных городов страны, в основном выпускники Ленинградского и Пермского хореографических училищ. Народ очень молодой — 18—20 лет... Мне доставляет удовольствие с ними работать. Надеюсь, и им интересно... Я хочу, чтобы, кроме сложного ансамбля, зрители увидели бы наших солистов, оценили их уже достаточно высокое мастерство. В планах нашего театра — творческие вечера солистов. Одним из первых, может быть, состоится творческий вечер Татьяны Квасовой. Это молодая способная балерина, с очень ценным для балета комедийным дарованием. Она маленького роста, но балетные возможности у нее большие... Я хочу, чтобы в полном блеске был виден огромный прыжок Игоря Кузьмина, лирический рисунок танца Вали Климовой, широкий диапазон Веры Соловьевой — от «Родена» до эксцентрики, пластичность Милы Путиновой... В нашу труппу, оставив очень прочное положение в Кировском театре, пришли народная артистка РСФСР Алла Осипенко и Джон Марковский. Они зрелые мастера, и мне очень дорого их желание искать неизведанные пути вместе с новым, молодым коллективом. Они настолько интересны как актеры, что некоторые балеты я собираюсь ставить специально для них.

— Актеры говорят, с вами трудно работать. Это справедливо?

— Они правы. Со мной действительно трудно работать. Я не использую того, что актер уже умеет, с чем он ко мне пришел. Я стараюсь открыть в нем новые возможности. Я хочу, чтобы он делал нечто неожиданное для него самого. А ведь многие жаждут всю жизнь заниматься тем, чему они уже научились, в чем превзошли других. И, естественно, я встречаюсь с «сопротивлением материала», с непониманием, с человеческим протестом. В этом суть конфликта. Только потом, через некоторое время, когда актер видит, как из хаоса, из не принятого и не понятого им рождается цельный художественный образ, когда, наконец, приходит успех, — вот тогда он прощает мне все обиды.

Интересно послушать других участников вечного поединка «режиссер — актер». Мы спросили о Л. Якобсоне некоторых актеров нового театра.

— Мука с ним работать и счастье огромное, удовольствие и страдания невыносимые.

— Человек он сложный, противоречивый, жесткий к себе, к другим. Вот уже полгода идет программа, а пощадь нет и нет... Каждый день мы с утра до ночи в театре. Уезжаем домой, чтобы перекусить, и снова в театр. Он буквально не отпускает нас от себя. И сладить с ним совершенно невозможно. Он убежден, что мы не переутомляемся. «От спектакля до спектакля 24 часа — вот и отдыхайте!» А репетицию он за работу не считает...

— Мы уже два года работаем с Якобсоном и два года наблюдали, как по крохам создавал он вещи, которые сейчас покоряют ленинградцев, и мы дышать боялись, зная, что он создает что-то настоящее.

Пересказать всю программу нового театра невозможно. Однако, чтобы дать представление о разнообразии жанров и стилей спектакля, перечислим хотя бы некоторые названия: «Русские миниатюры», «Экзерсис XX», «Негритянский концерт», «Павломиним страстей», «Бродячий цирк», «Свадебный кортеж», «Левый марш», «Девятая симфония», «Контрасты», «Хиросима»...

— Леонид Вениаминович, как вам представляется будущее вашего театра?

— Если говорить о ближайшем репертуаре, то он уже прорисовывается. Это балет «Гамлет», музыку к которому специально для нашего театра обещал написать Дмитрий Шостакович; Арам Хачатурян тоже для нас будет сочинять балет «Отелло»; мы хотим поставить современный балет «Василий Теркин», «Прометей» Скрябина, «Семь смертных грехов» Бориса Тищенко...

В своих мечтах о нашем театре я представляю себе роскошный зал на две тысячи мест, спроектированный по последнему слову техники. С десятью репетиционными залами, передвижной сценой, комплексом подсобных помещений, кинозалом, дискуссионным клубом, бассейном, гостиницей, маленьким рестораном... Но самое главное — это то, что будет в этом театре на сцене. Я все время думаю об этом.

Беседу вели
Н. КУЗЬМИЧЕВ
и Н. ПЛЕХАНОВА

или герой поэм Вознесенского? Я думаю, что нет. Выход в том, что надо искать новое. В жизни, в пластике. Новые формы, новые средства. И смелее отбрасывать устаревшие приемы. Театр не музей, хотя есть шедевры, которые вряд ли можно лучше поставить. «Спящая красавица», например, «Жизель»... Но согласитесь, языком «Жизели» современный балет решать невозможно.

Как озорную иллюстрацию этой мысли Леонида Вениаминовича нам хочется привести номер из программы «Хореографические миниатюры», который называется «Средневековый танец с поцелуями». Дамы и кавалеры в тяжелом бархатном облачении сходятся и расходятся в движениях старинного танца. Чопорность, этикет, галантность... Кавалеры, склонившись в поклоне, целуют руки дамам, дамы стыдливо опускают глаза долу... И вот пара за парой исчезают в кулисах, и на сцене остается последняя. Дама и кавалер оглядываются, замечают, что они одни, и... сливаются в жарком, вполне плотском поцелуе, отрешаясь от условностей этикета, мгновенно становясь естественными и тем приближаясь к современным людям.

— Какие традиции русского балета вам наиболее близки?

— Творчество Михаила Фокина, который утверждал, что разным сюжетам, разным темам в балете надо находить свой стиль, свою лексику, форму, точно соответствующие содержанию. Фокин не отрицал классику, но и не считал ее возможности всеобъемлющими. Классика — это лишь одна из красок в многоцветной палитре балетмейстера, и нельзя ею рисовать все подряд. Это он доказал своим творчеством. Только сейчас я понял, что именно Фокин привел меня к миниатюре. Вы знаете, он за всю жизнь не поставил ни одного двухактного балета! Благодаря Фокину я поверил в пластику, понял, что пластические возможности человеческого тела безграничны. Ему подвластно все: трагедия, гротеск, лирика — любые эмоции, любые мысли. Из великих балетмейстеров прошлого Фокин мне наиболее близок.

— По какому принципу вы подбирали актеров в свою труппу?

— Для меня главное — человеческая и актерская индивидуальность. Когда я ее обнаруживал в актере, я готов был простить прочие недостатки. В труппе — молодые артисты из разных городов страны, в основном выпускники Ленинградского и Пермского хореографических училищ. Народ очень молодой — 18—20 лет... Мне доставляет удовольствие с ними работать. Надеюсь, и им интересно... Я хочу, чтобы, кроме слаженного ансамбля, зрители увидели бы наших солистов, оценили их уже достаточно высокое мастерство. В планах нашего театра — творческий вечер Татьяны Квасовой. Это молодая способная балерина, с очень ценным для балета комедийным дарованием. Она маленького роста, но балетные возможности у нее большие... Я хочу, чтобы в полном блеске был виден огромный прыжок Игоря Кузьмина, лирический рисунок танца Вали Климовой, широкий диапазон Веры Соловьевой — от «Родена» до эксцентрики, пластичность Милы Путиновой... В нашу труппу, оставив очень прочное положение в Кировском театре, пришли народная артистка РСФСР Алла Осипенко и Джон Марковский. Они зрелые мастера, и мне очень дорого их желание искать неизведанные пути вместе с новым, молодым коллективом. Они настолько интересны как актеры, что некоторые балеты я собираюсь ставить специально для них.

— Актеры говорят, с вами трудно работать. Это справедливо?

— Они правы. Со мной действительно трудно работать. Я не использую того, что актер уже умеет, с чем он ко мне пришел. Я стараюсь открыть в нем новые возможности. Я хочу, чтобы он делал нечто неожиданное для него самого. А ведь многие жаждут всю жизнь заниматься тем, чему они уже научились, в чем превосходили других. И, естественно, я встречаюсь с «сопротивлением материала», с непониманием, с человеческим протестом. В этом суть конфликта. Только потом, через некоторое время, когда актер видит, как из хаоса, из не принятого и не понятого им рождается цельный художественный образ, когда, наконец, приходит успех, — вот тогда он прощает мне все обиды.

Интересно послушать других участников вечного поединка «режиссер — актер». Мы спросили о Л. Якобсоне некоторых актеров нового театра.

— Мука с ним работать и счастье огромное, удовольствие и страдания невыносимые.

— Человек он сложный, противоречивый, жесткий к себе, к другим. Вот уже полгода идет программа, а пощадить нет и нет... Каждый день мы с утра до ночи в театре. Уезжаем домой, чтобы перекусить, и снова в театр. Он буквально не отпускает нас от себя. И сладить с ним совершенно невозможно. Он убежден, что мы не переутомляемся. «От спектакля до спектакля 24 часа — вот и отдыхайте!» А репетицию он за работу не считает...

— Мы уже два года работаем с Якобсоном и два года наблюдали, как по крохам создавал он вещи, которые сейчас покоряют ленинградцев, и мы дышать боялись, зная, что он создает что-то настоящее.

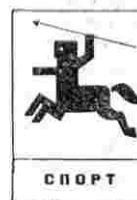
Пересказать всю программу нового театра невозможно. Однако, чтобы дать представление о разнообразии жанров и стилей спектакля, перечислим хотя бы некоторые названия: «Русские миниатюры», «Экзерсис XX», «Негритянский концерт», «Пандемиум страстей», «Бродячий цирк», «Свадебный кортеж», «Левый марш», «Девятая симфония», «Контрасты», «Хиросима»...

— Леонид Вениаминович, как вам представляется будущее вашего театра?

— Если говорить о ближайшем репертуаре, то он уже прорисовывается. Это балет «Гамлет», музыку к которому специально для нашего театра обещал написать Дмитрий Шостакович; Арам Хачатурян тоже для нас будет сочинять балет «Отелло»; мы хотим поставить современный балет «Василий Теркин», «Прометей» Скрябина, «Семь смертных грехов» Бориса Тищенко...

В своих мечтах о нашем театре я представляю себе роскошный зал на две тысячи мест, спроектированный по последнему слову техники. С десятком репетиционных залов, передвижной сценой, комплексом подсобных помещений, кинозалом, Дискуссионным клубом, бассейном, гостиницей, маленьким рестораном... Но самое главное — это то, что будет в этом театре на сцене. Я все время думаю об этом.

Беседу вели
Н. КУЗЬМИЧЕВ
и Н. ПЛЕХАНОВА



**ДМИТРИЙ
РЫЖКОВ**

Оформление
В. Вахчаняна.

В поисках человека, убежавшего от шайбы

Я хоккейный обозреватель «Советского спорта». В личной беседе я бы в этом ни за что не признался: стоит представиться, как на тебя набрасываются: «Как сыграет сборная?..», «Кто поедет на чемпионат мира?..», «Почему сдала тройка Петрова?..» И так всюду. В любой компании. Я жду не дождусь лета, чтобы, спокойно посидев в чужом кабинете, задавать своему коллеге, футбольному обозревателю Олегу Кучеренко, вопросы типа: «А правда ли, что ЦСКА пригласило Пеле?..» Он же будет поглядывать на меня озверело — так, как я поглядываю сейчас чуть ли не на каждого, входящего в нашу редакционную комнату. Впрочем, что говорить, и летом забыть о шайбе не всегда удастся. Телефонный звонок:

— «Советский спорт»? Неужели Старшинов разбился?.. — Голос взволнован. Голос требует тут же и абсолютно точно ответить, где, когда и почему разбился на своей машине Старшинов. Но мы, вечные дежурные по хоккею, ничего не знаем...

— Ты что-нибудь слышал?

— Нет. А ты?..

— Звони срочно в Комитет. Или в «Спартак». Спроси...

На другом конце провода ответственный секретарь Федерации хоккея Кирилл Роменский.

— К нам с утра звонят... Работать невозможно... Помогите: напечатайте, что жив Старшинов.

И я уже не успеваю снимать трубку. Ответа на

тот же вопрос уже требуют женщины, дети. Число звонков растет с каждым часом. Растет и число «погибших» — на третий день «разбиваются» и Зимин, и Шадрин, и Якушев...

— Ребята, что делать: «Слухи о моей кончине были несколько преждевременны»?..

— Надо узнать, где они отдыхают. И — тридцать строк «Хоккейной хроники». Про каникулы. Про замены. И, как бы между прочим: «Старшинов отдыхает в...»

И действительно пришлось дать «Хронику».

«С Тарасовым не о хоккее» — такой материал я обещал первоначально сделать для «Юности». И, отправляясь на встречу с тренером ЦСКА и сборной СССР Аватолдием Владимировичем Тарасовым, я придумывал самые нехоккейные вопросы: «Как вы представляете счастье?..», «Ваш любимый писатель?..», «Какой вы предпочитаете цвет и какое время года?..» Но вот как ответил Тарасов на первый же мой вопрос:

— Счастье — это когда ты любишь свою профессию, добиваешься результатов, которые приносят удовлетворение тебе и людям... Счастье — в том, чтобы быть первым, чтобы с тебя брали пример. Счастье может быть и в любви. В семейной жизни. Но ведь бывает и так: ты любишь кого-то, а тебя не любят. Ты хочешь создать семью, а не получается... Не от тебя одного это зависит. Дело же, если ты его любишь... Вот почему для меня, хоккейного тренера, прожившего уже жизнь долгую и нелегкую, главным был тренерский труд. Это счастье зависит только от тебя самого. Ты сам кузнец своего счастья.

Счастливых дней в моей жизни было много. Один из них — в 1937 году, когда, будучи студентом первого курса Высшей школы тренеров, я принял команду города Загорска... Потом день, когда к нам в страну пришел канадский хоккей и мы поняли, что это за игра... Потом день первой международной встречи с пражской командой АТЦ. Я был тогда в числе других тренером. Правда, играющим тренером...

Я надеялся раскрыть характер Тарасова, беседуя с ним на самые различные темы, а хоккеем лишь заключить нашу беседу, но ничего у меня не вышло.

На любой вопрос, даже о современной моде, Тарасов сразу же давал хоккейный ответ:

— Что может быть лучше бобрика?! В крайнем случае я допускаю коротенькую полку. Но когда у хоккеиста, у настоящего мужика — бакенбарды до подбородка...

А впрочем, все логично. Тарасов — человек предельно целеустремленный, а в хоккее вся его жизнь. Если бы он был, допустим, математиком, то на любые вопросы, я убежден, отвечал бы только с точки зрения математика.

Но посмотрите, как на те же вопросы, которые я задавал Тарасову, мне ответил совсем другой человек.

— Ваш самый радостный день в жизни?

— 12 апреля 1962 года.

— ???

— «Спартак» впервые стал чемпионом. После ничьей — 4:4 — с ЦСКА.

— И шайбы кто забросил, помните?

— Странный вопрос!.. Мы начали неплохо, но в середине первого периода пропустили первую. Киселев, по-моему, забросил... Потом БЭМ (в переводе — Борис Майоров) справа вошел в зону и пустил издали — 1:1. А в конце периода Фоменков в сутолоке перед воротами ткнул шайбу... Она полчаса где-

то под ногами ползла. Но доползла-таки. После перерыва, только-только шайбу вбросили, Александров сделал 2:2. Затем кто-то из армейцев — не помню кто — третью забросил. Старшинов сравнял — 3:3. Кузькин — а мы пятером против четверых в это время играли — опять ЦСКА вперед вывел. И тут уж Женя (Евгений Майоров) свое дело сделал — 4:4.

— Любимый цвет?

— Красно-белый... Был однажды белый с синим. Тогда же, 12 апреля. Играли мы в этот день в такой необычной форме. В первый и, по-моему, в последний раз.

— Какое время года, какой день недели, час суток предпочитаете?

— По-разному бывает. И игра ведь по-разному идет...

Читатель воскликнет: так это же хоккейный болельщик! Да, болельщик, не скрою. А вы знаете неболельщика? Знаете хоть одного человека, который бы в нашем сегодняшнем мире мог убежать от хоккейной шайбы?

— Он был близорук. Без очков не видел пальцев вытянутой руки. Спортом, понятно, никогда не занимался. Но любителем был страшным. У нас в Горьком ни одного хоккейного матча не пропустил. Это сейчас горьковский болельщик на хоккей, как в театр, ходит — является за пять минут до начала, и недовольство еще высказывает, если кто-нибудь чуть потеснит на законном, гарантированном билетом месте. Мы же — а было это пять-десять лет назад — на стадион как минимум за два часа до начала игры являлись: местечко — получше занять. И набивались, как сельди в бочке.

О том, чтобы наклониться или пошевелить рукой, и не подумай. И, представляешь, в этих-то условиях у близорукого моего приятеля во время матча сбились очки. Как могло такое случиться, не знаю, но случилось. Он дернулся — да куда там. Кто-то из впереди стоящих еще огрызнулся: мол, смотри спокойно. Объяснили этому впереди стоящему, в чем дело... И раздался над стадионом громкий крик. Не крик — трубный глас: «Товарищи! Подвинемся! Человек потерял очки! Человек не видит хоккея!» И, знаешь, колыхнулась вся эта масса. Подвинулась. Кто-то поднял очки. Второй водрузил их на нос несчастному. А когда стена вновь сомкнулась, тот же голос протрубил: «Спасибо, товарищи! Человек снова видит хоккей!»

Вот какую историю, похожую на легенду, недавно мне рассказали.

А вот другая история — уже из моей собственной репортерской практики. У тренера ленинградского СКА Николая Пучкова интервью взять трудно. Я замерз, поджидая Пучкова у дверей «Юбилейного», когда водитель стоявшего поблизости такси вдруг сказал:

— Вы Пучкова ждете?.. Он должен сейчас быть. Залезайте в машину — здесь теплее...

Тогда я еще не знал, с кем имею дело, и только для того, чтобы начать разговор, спросил:

— Как заработки?

— Сейчас, пока команда в городе, так себе. Когда нет их, нормально...

(Согласитесь, ответ звучал как-то странно.)

— Вы из Москвы?

— Да. Из «Советского спорта».

— Так мы, значит, через два дня с вами увидимся. В «Лужниках». Я же ни одного московского матча СКА не пропускаю.

— А начальство как на это смотрит?
— У меня с начальством договор. В день игры я свободен. Отгул...

— А сейчас?.. Это закрепленное, что ли, такси?
— Ну какое же закрепленное?! Я его и «закрепляю». У Пучкова каждая минута на счету. Ему время на общественном транспорте терять нельзя. Это же Пучков!

Вскоре я знал, что у хоккеиста Глазова нога уже заживает. А у Андреева Саши еще грипп...

Потом появился Пучков, пригласил меня к себе на чашку кофе, и Женя (так звали таксиста) повел машину к хорошо известному ему дому. Мы с Пучковым уже поднимались по лестнице, когда снизу раздалось: «За что обижаете?»

Через мгновение Женя стоял перед нами, держа в руке десятирублевую бумажку (я видел, как тихо-ничко положил ее Пучков на сиденье). Николай Георгиевич начал было:

— Я же тебе говорил, что бесплатно ездить не буду...

— За что обижаете?..

— Я же тебе говорил...

— За что обижаете?..

— Я...

— За что?..

Теперь понимаете, почему у Жени падает зарплаток, когда команда в городе?

СКА в тот вечер сыграл здорово. И, написав добротный отчет об этой победе, я, видимо, вырос в глазах Жени. По крайней мере, когда мы встретились через два дня в Лужниках, я был уже причислен к избранным:

— Здравствуйте! Вы только не обижайтесь... Вот номер моего телефона — как приедете в Ленинград, сразу звоните. Обязательно!

Рассказывают, что однажды на защите докторской диссертации оппонентами был задан такой последний вопрос: «А Эпштейн, тренер воскресенский «Химика», родственник вам или однофамилец?»

Еще одна история, связанная с Эпштейном.

Весь Воскресенск знает, что он мечтает создать тройку из братьев. С Рагулиными не получилось: Антон (Анатолий Рагулин) в поле играть не желал. С Сырцовыми тоже не вышло. И вот лет пять назад, приехав в Воскресенск, я услышал обрывок странного разговора:

— Семеныч обещал взять. Спасибо, говорит, за тройку.

— Ну уж и сразу тройку. Одного-двух бы взял — и то хорошо...

— Так ты же их не видел. Знаешь, какие здоровые ребята... В меня...

— А ты-то откуда знаешь? Они же только сегодня родились...

Тут же мне объяснили: тот, которого Эпштейн вроде бы благодарил, — Ростовский, счастливый отец. Ему жена сегодня тройню родила.

Когда я недавно приехал в Воскресенск, возле Дворца спорта меня встретил нынешний администратор «Химика». Фамилия его — Ростовский.

Передо мною письмо, датированное 1962 годом. Тогда, в конце сентября, во время хоккейного турнира на приз «Советского спорта», в команде «Торпедо» (Горький) произошло нечто невероятное: пять игроков — и среди них кумир горьковчан Игорь Чистовский — объявили бойкот тренеру и demonstra-

тивно отказались выйти на лед в матче с «Крыльями Советов». Вечером об этом стало известно в Горьком, и в команду пошли письма.

«...Я пишу это письмо потому, что знаю Игоря Чистовского, как ученика нашей школы. Если письмо попадет не к Игорю, а к кому-нибудь другому, то вы скажите ему, что я учусь в 113-й школе в 8-м классе. В этой школе учился и Игорь. Однажды он приходил к нам в школу, и у нас был сбор.

Игорь, если уж говорить о твоём поступке, то, знаешь, меня это очень огорчило. Я сам мечтал стать хоккеистом, но меня никак не записывали. Но все-таки я стал спортсменом. Я прыгаю с трамплина, но хоккей остается моей мечтой. Прошлый год я не пропустил ни одной вашей игры и все время болел за вас. Меня тоже звать Игорем, и я хотел играть в хоккей, как ты. Знаешь, Игорь, я очень верил в тебя, мне даже в голову не шло, что ты можешь сделать так. Я очень хочу, чтобы ты и твои товарищи извинились перед всеми и встали на свои прежние места и не позорили честь нашего «Торпедо».

Игорь Напалков, ученик
113-й школы.

Ученик 113-й школы Игорь Напалков и Гарий Напалков, двукратный чемпион мира по прыжкам на лыжах с трамплина, — одно и то же лицо. И жалеть, что он не стал хоккеистом, Напалкову не приходится. Однако вот что говорил он недавно моему коллеге Михаилу Марину:

— Как я был бы счастлив, если бы мне сейчас разрешили хоть на несколько минут выйти на лед в составе нашего «Торпедо»!

Год назад я пошел в ресторан «Пекин» со своим школьным другом. Мы встречаемся с ним редко, и разговор у нас только один — об охоте. Мой друг лесничий, лесной человек, о хоккее знать не желает.

— Как твоя лайка? Отчего в лес ко мне ее не везешь?..

— Лучше не напоминал бы — утащили Тимку.

— Как так?..

Я рассказываю ему про собаку. Он про то, как секача недавно взял. И — ни слова о хоккее.

Сидели мы около банкетного зала, где шла свадьба. Собственно говоря, свадьба только началась — «горько» еще не кричали.

— Не знаешь, весеннюю охоту разрешат?

Ответа я не расслышал. Не смог расслышать.

В банкетном зале грянуло... Да не ослышался ли я? Вместо «горько» новобрачным кричали: «Шай-бу! Шай-бу!» А спустя полчаса предал меня и друг:

— Да, я тебе не говорил — телевизор завел. Все веселее. Смотрел в декабре турнир «Известий». Объясни-ка мне, правда ли, что чехи так сильны?..

Ледяной дворец построен даже в Ташкенте, и в прошлом году там состоялся первый хоккейный турнир. Помню, как воскресенские хоккеисты, возвратившиеся из Ташкента загоровшими, рассказывали:

— Ух, и жарится там! Только во дворце и дышать можно было!

— Зрителя ходили?

— Полным-полно.

— На экзотику, наверное, потянуло?

— Не без того, конечно. Но сейчас там просто с ума от хоккея сходят. Знаешь, что за клюшку предлагали? Ишачка! Выходишь после игры, и тут же толпа вокруг. «Шайба есть? Клюшка есть?.. Давай меняться. Ты мне — шайбу с клюшкой. Я тебе — ишачка. Смотри, какой хороший ишачок...»

С «Фру Рагулиной» я познакомился еще в Швеции во время чемпионата мира 1970 года, на который она приехала в качестве туристки — поболеть за мужа. Репортеры, естественно, не упускали случая: стоило актрисе, сумевшей объединить искусство и хоккей (так писали о Людмиле в шведских газетах), появиться в пресс-центре, она немедленно попадала в окружение: «Фру Рагулина, а как... Фру Рагулина, почему...»

Тут и я вклинулся: «Фру Рагулина, каково носить столь известную фамилию?»

— А я ее и не ношу. Я — Карауш, а не Рагулина. Саша, когда в загсе увидел, что я не сменила фамилию, рассердился сначала, а потом понял... Но я возьму фамилию Саши, обязательно возьму, когда он кончит играть.

Неужели жене хоккеиста удалось убежать от шайбы?

— После матча я настолько себя измотанной чувствую, как будто сама играла. Даже в весе теряю — уже без «как будто».

Кажется, все становится на свои места: все же болельщица она, Людмила Карауш. Однако...

— Я за красоту хоккея. Не скрою, мне приятнее, когда побеждает ЦСКА. Но я так же искренне аплодирую и спартаковцам и динамовцам, если играют они красиво.

Нет, это уже не типично. Ведь, по мнению истинного болельщика, только «его» команда побеждает красиво, а остальные — с помощью судей.

Теперь Людмила приглашает меня на свой спектакль в театр киноактера, а я говорю:

— Спасибо. Приду с удовольствием, но после окончания хоккейного сезона.

— О, я смотрю, у хоккеистов больше свободного времени. Спартакотцы, например, однажды целой командой к нам пришли. На мюзикла «Опять премьера». А после спектакля мы долго болтали...

— Надеюсь, не о хоккее?

— Ну что вы! Конечно же, нет... Хотя Славе Старшинову я все же сказала: «Ты уж не обижай моего Сашу». Это было как раз накануне матча «Спартак» — ЦСКА.

Как видите, и хотела бы Людмила Карауш убежать от шайбы, но не может: она, изящная, небольшого роста женщина, должна защищать Сашу — Сан Палыча Рагулина, которого не рискнет, по-моему, обидеть ни один человек.

Да, всемогущ хоккей. И убежать от него, поверьте мне, не дано никому. Впрочем...

— Самый радостный день?

— День, когда у меня родился ребенок. Сын! Евгений-младший.

— Цвет..

— Бледно-голубой, пожалуй.

— Время года?

— Осень. Это трудно объяснить. Но осенью я почему-то чувствую себя таким спокойным. Просто идешь по улице, и осенняя улица так красива...

Знаете, кто был последним моим собеседником? Нападающий сборной страны, спартаковец Евгений Зимин...



ТИМОФЕЕВ ЛЮБИТ ПАДАТЬ НА СЕНО

Он снимался в ста двадцати фильмах, вернее, помнит, что снимался в ста двадцати фильмах, остальные забыл. Он вспомнил: «Смелые люди», «Бег», «Пав Володьковский» (в Польше), «Застава в горах», «Белое солнце пустыни», «Кочубей», «Исход» (в Монголии), «Последняя реликвия», «Ватерлоо»... И так далее. Он видел не все эти фильмы, так как не любит ходить в кино.

Петр Тимофеев — каскадер, то есть дублер, который вместо ак-

Фото
А. Карзанова.

тера падает с лошади, которого выбрасывают из окна и прочее.

В фильме «Достояние республики», который вы скоро увидите, Олег Табаков (главный герой) снимается в слишком свободной для него рубашке, настолько свободной, что это режет глаз. Так произошло потому, что Тимофеев, который прыгает вместо него с лошади на крышу мчащегося фургона, гораздо плотнее и шире Табакова в плечах. Недаром, впервые просмотрев фильм, Табаков заметил с улыбкой:

— Как теперь мой сын будет меня уважать! Оказывается, я все умею!..

А сам Тимофеев говорит:

— Риск для меня — дело профессиональное. Но эта профессиональность дается не сразу. Я бы лично создал специальное подразделение каскадеров-наездников. А то что получается? В Югославии мои ученики уже создали свою организацию, и у них есть даже круглая печать, а у нас каскадеры не знают друг друга по имени. Я повторяю еще раз: к этой профессии нужно готовить серьезно.

Как же сам Петр стал каскадером? В 1944 году в Орджоникидзе знаменитый джигит Али-Бек Кантемиров подобрал малолетнего Тимофеева и стал учить его цирковому искусству.



Тимофеев выступал в цирке с номерами джигитовки, а потом кто-то порекомендовал его в кино как хорошего джигита, способного делать конные трюки. И началось...

В «Кочубее» адъютант догоняет на лошади мчащийся поезд и, встав на седло, вытаскивает из окна вагона своего командира.

Трюк длился на экране — ну, 15 секунд. Два месяца готовили лошадь. Тимофеев заставлял ее догонять поезд и, догоняя, бил рукой по стеклу. Пассажиры шарахались, проводники грозили ему ключом. А он все догонял и догонял поезд, и за эти два месяца к нему привыкли все проводники на линии.

И когда наступил день съемок этого трюка, Тимофеев (адъютант) на скаку догнал поезд, выбил стекло вагона, вытащил Кочубея, которого дублировал его брат, из окна прямо на шею своей лошади. Тимофеев повторил этот трюк два раза.

В югославской картине «Олеко Дундич» тачанка с Тимофеевым переворачивается в воздухе, и в этот момент в нее попадает «снаряд». Взорванная, она приземляется грудой обломков, — этот кадр стал классическим в мировом кино. На нем и учились у Тимофеева югославские каскадеры.

Обычно он сам организует трюки, втыкает цветок там, где надо перевернуть верблюда, следит, чтоб мягко стелили, когда его откуда-нибудь скидывают, и так далее, но когда однажды в двадцатиградусный мороз он должен был падать с лошади в Фонтанку, инженер по технике безопасности настоял, чтобы к лошади привязали лесу, а конец дали ему.

— А то уплывет, — говорил инженер. — Ты, Тимофеев, с нее соскочишь, а она дальше уплывет. Время сейчас зимнее — как отлавливать будем?

— Да не уплывет она, — горячился Тимофеев, — я ее в воде под уздцы возьму, и мы с ней на берег вылезем.

— Уплывет, — повторял инженер. — Или еще что сделает. А я ее в целях безопасности привяжу.

И привязал. Лошадь сорвалась с моста и полетела в воду, а леса захлестнулась на горле у Тимофеева. Он закричал страшным голосом и очнулся уже в воде. Рядом плавала лошадь, вокруг нее — леса. Но и на этот раз все закончилось благополучно. Когда их вытащили на берег, Петр выпил коньяка, а лошадь разогрел рысью вдоль Фонтанки.



Так Тимофеев соскакивает с падающей лошади.

Каскадеры любят сравнивать со спортсменами. Тимофеев считает, что это сравнение льстит спортсменам. Он спросил однажды знаменитого боксера Агеева:

— Ну хорошо, я понимаю, левой драться не всякий может. А ты когда-нибудь верблюдов в пустыне переворачивал?..

Он делал и этот трюк. Наверное, впервые в мировом кино, на съемках фильма «Решающий шаг» Петр, сидя на верблюде, подсекал тому передние ноги штрабтами и падал вместе с ним на песок.

Сегодня он получает такое количество приглашений на съемки, что, как и все «звезды», уже может выбирать себе режиссера. Он не любит режиссеров, которые вмешиваются в его дела и пытаются руководить конными съемками. А из актеров ему наиболее симпатичны те, которые сами могут делать кое-какие трюки, то есть работать без дублера, — Сергей Гурзо, Александр Суснин, Владимир Ивашов...

Но любимым его актером был Луспекаев — Петр познакомился с ним на съемках «Белого солнца пустыни». Для Луспекаева этот фильм был последним... Петр был поражен, когда увидел, что Луспекаев не может ступить без боли — ему оперировали обе ноги. Те, кто смотрел картину, помнят таможенника Верещагина — он гибнет в конце. Луспекаев блестяще сыграл эту роль, но ненадолго пережил своего героя.

Кроме конных трюков, Тимофеев делает и обычную каскадерскую

работу — прыгает с моста, стреляет в воздухе из маузера, перелезает над пропастью по канату. Так, например, он прыгал со стен Ипатьевского монастыря.

— Больше всего, — говорит Петр, — люблю падать на сено. Иногда — на войлок, но это не так безопасно.

Знаменитый французский каскадер Жиль Деламар, который предпочитал падать на пустые коробки из-под обуви, недавно погиб на съемках.

— Я так и не познакомился с Деламаром, — говорит Тимофеев. — Но я видел на экране, как он работает. Это был каскадер! И погиб он потому, что, когда сделал шесть дублей автокатастрофы, не мог отказаться от удовольствия повторить трюк в седьмой раз. Я-то его понимаю, я сам такой, но, очевидно, нервы у меня, что ли, покрепче...

А. АРОНОВ,
А. ПЧЕЛЯКОВ



Н. БЫСТРОЛЕТОВ

ПОСЛЕ ДИКТАНТА

Рисунок
И. Оффенгендена.

Женя Прохоров, ученик второго класса «Б», допустил в диктante ошибку: он написал пошел.

— Грубейшая ошибка! — сказала учительница Тамара Петровна, нервно поправляя прическу. — Эта ошибка потянет процент успеваемости нашего класса вниз. Ты, Женя, останешься сегодня после уроков и сто раз напишешь это слово правильно.

— Вот это да! — крикнул Валерка, и ребята громко рассмеялись, но учительница быстро прекратила шум.

Кончился последний урок, разошлись ребята, а Женя остался в классе.

— Сто раз написать! Надо же... А как же футбол в три часа со вторым «А»?



Открыл Женя тетрадку, глубоко вздохнул и принялся за работу.

«Пошел», — написал Женя. Получилось хорошо, красиво. Здорово получилось. Женя полюбовался на дело рук своих, и так посмотрел и этак, снова вздохнул и стал писать дальше.

В строчке до полей уместилось три слова. «Это сколько же страниц написать надо?» — подумал Женя и стал считать. Сначала сложил на промокашке, потом умножил. Получилось, что исписать придется чуть ли не четыре страницы. «Надо же!» — вздохнул Женя и снова налег на перо.

Он подошел к окну. «Вон Верка с Надькой на той стороне со скалками. Им что — напротив живут. Пообедали уже, наверное...» И Женя сразу же захотелось есть. «Розка бежит... Сейчас, конечно, опять своими чулками хвастаться будет: «Девочки, девочки, посмотрите, какие у меня чулки длинные». Чулки! Тоже мне... А если в догонялки, то только и пищит, как мышшь».

И снова писал Женя. И снова считал. На третьей странице Женя трех «пошел» почему-то недосчитался. Проверил снова первую страницу, проверил вторую. Оказалось, что все верно: просто строчки неправильно сосчитал на третьей странице.

Наконец кончил Женя работу. Все! Можно домой идти. Устал Женя, ах, как устал! Ну, да ничего. Быстро уложил все в свой портфельчик и хотел было уже выбежать из класса, но остановился вдруг.

«А как же уйти-то, не спросившись? Учительницы нет, и вообще никого нет, все ушли давно». Выглянул в коридор — тихо, тихо в школе. Задумался Женя. Был он мальчик дисциплинированный, а тут уйти без спроса... Нет, так нельзя.

Думал, думал Женя и решил оставить учительнице записку. Снова открыл портфель, вынул аккуратно из середины тетрадки листок и написал Тамаре Петровне записку, после чего, уже успокоенный и радостный, выбежал из школы.

И совсем тихо стало в классе. На столе учительницы освещенная лучами заходящего солнца белела Женина записка: «Тамара Петровна я сто раз написал и пошел домой».

Г. Алма Ата.

А. ТАРАСКИН



Эти двое стояли в стороне от остальных. На нем был черный костюмчик, она была одета в белое платьице.

Эти двое горячо спорили:

— А у нас в квартире газ!

— А у нас телевизор!

— А у нас соседи смирные!

— А у нас вообще нет соседей!

— А у нас две комнаты!

— А у нас тоже две и кладовка. В ней жить можно!

— А ты кашку варить не умеешь!

— Зато у меня мама вкусно готовит. А ты что умеешь?

— Я пол могу подмести, цветочки полить.

— А мой папа квартиру сам отремонтировать может! А твой?

— А мой папа не пьет!

— А у нас бабушка — ревизор!

— А наша бабушка нигде не работает — она с детьми сидит.

— А я знаю, как дети получают!

— Подумаешь, это каждый ребенок знает: их аисты приносят.

— Аисты? А про капусту ты никогда не слышала? Темнота!

— А ты кем хотел бы стать?

— Я? Командировочным. Чтобы дома не бывать, как дядя Вася.

— А я — продавщицей, чтобы меня все любили и узнавали, как тетю Валу из пивного ларька.

— Ну и дура!

— Сам дурак! Зачем я с тобой только связалась? Мама предупреждала...

— А моя мама говорит, что твоя мама...

Но тут раздались звуки свадебного марша Мендельсона, и эти двое, взявшись за руки, вошли во Дворец бракосочетаний.

бег трусцой

Счетовод Утин неторопливо шел на работу, безмятежно помахивая портфелем. Вдруг за спиной он услышал чье-то могучее дыхание, и в ту же секунду его обогнал Семенов, начальник отдела, в котором служил Утин. Семенов промчался вперед ровной, напористой трусцой.

— Доброе утро. Куда это вы? — крикнул Утин.

— За здоровьем! Восемнадцатую тысячу метров плюую. Отличное, знаете, начинание! А вы что же?

Утин беспокоило подумал: «Начинание. А чье начинание? Когда началось? Надо бы уточнить... Кто дал указание?»

Утин перешел на легкую рысь и догнал Семенова. Тот одобрителем сказал:

— Ага, и вы включились! Ровнее, равномернее! Не частите! Портфелем, портфелем четко работайте.

— А чье оно? — спросил Утин.

— Чье чье?

— Начинание?

— Так ведь все человечество бежит... И все трусцой. Спорт миллионов!

«А фиг с ними, с миллионниками», — подумал Утин, понемножку переходя с рыси на шаг и отставая.

— Я ведь больше люблю оседлые виды спорта: шашки, лото... — робко заметил Утин.

— Спортлото? — уточнил Семенов.

— Нет, старое еще лото, по копеечке. Или домино. Тоже миллионы людей в него тренируются.

— Смотрите, Утин, потом спохватитесь, ан поздно будет! Не укусите!

«На что он намекал: «потом не укусите?» — подумал Утин.

Утин снова поднажал и поравнялся:

— А когда это потом я спохвачусь и не укушу?

— Когда преждевременно одряхлеете!

«Дряхлость не порок, — успокоился Утин, опять отставая. — Дряхлостью и пенсию могут преждевременно дать».

Семенов обернулся и крикнул: — А вы, Утин, оказывается, не волевой человек! А мы вас повысить хотели...

Утин сделал резкий рывок.

— Портфелем, портфелем отмахну давай! — подсказывал Семенов на ходу. — Вот я уйду из отдела, а вы трусить будете и меня благодарить!

Утин перешел к бегу на месте: — А что, скоро убегаєте?..

Простите, уходите от нас?

— Ухожу.

Утин остановился и помахал вслед Семенову портфелем:

— Счастливого вам восемнадцатую тысячу дотрусить!

— Вы что — опять раздумали?

— У меня... сухожилие подвернулось! Коленная чашечка куда-то из левого колена вышла.

— Жаль, а я хотел вам предложить за мной...

Утин сделал рывок как на финише стометровой дистанции.

— Извините, не расслышал... Из-за коленной чашечки... Куда вы хотели, чтоб я за вами?

— Хотел предложить, чтобы вы за мной заскакивали по утрам — на работу вместе бежать.

Утин остановился, поставил портфель на урну, вытер лоб.

— Да ведь нам теперь в разные стороны...

— Почему в разные? — возразил Семенов. — Меня же заместителем нашего директора назначили.

Утин сорвался с места, как олимпийский чемпион, и обошел Семенова.

— Куда же вы, Утин?

— А я для вас очередь на троллейбус займу!

— Так мы уже прибежали. Вот наш подъезд.

Утин распахнул дверь перед Семеновым, и они голова в голову бодро взбежали на двенадцатый этаж, где вместе работали.



Не слышу

Пародия

«Я спал и не слышал, как ливень шумел, как молнии черную бездну кромсали, как дикие гуси в долине кричали. И стог полыхал, и подсочник скрипел».

Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ.

...Потом я не слышал, как кто-то вздыхал и чай, отдуваясь, прихлебывал с блюда,

как кто-то сказал:

— Ишь, разлегся, нахал, а мог, между прочим, пораньше проснуться!

Еще я не слышал, как кто-то свистел

сонату Бетховена тридцать

вторую, как кто-то прощался, кого-то

целуя, как ТУ-104 над домом летел.

Потом я не слышал, как Озеров

вел большой разговор со спортивной

арены, как шайбы летели в трибуны и

стены и как был забит восемнадцатый

гол.

Еще я не слышал в сплошной тишине,

как ливень пытался пробиться сквозь крышу...

Не слышал — и точка. Поскольку во сне,

как правило, я почему-то не слышу.



я меняю адрес

В этом году мне вместе с «Юностью» исполнилось шестнадцать лет. Так сказать, совершеннолетие. Может быть, именно поэтому Моссовет решил предоставить мне новую квартиру — то есть новое помещение редакции журнала «Юность» на улице Горького, дом 32/1. Я ужасно обрадовалась. Ведь теперь я буду работать по соседству с самим Маяковским! Памятник ему стоит как раз напротив нашего здания.

Я стала готовиться к переезду. И вот тут начались мои мучения. Оказалось, что гораздо легче получить новую квартиру, чем переехать в нее. Когда все имущество редакции было уложено в ящики и тюки, выяснилось, что нести эти тяжести некому. Нет грузчиков. У нас в Москве с этим делом, оказывается, очень туго. Машины есть, а грузчиков не хватает. В наше время можно создать любые чудеса техники, электронный мозг, например, но перетащить этот мозг в соседнее помещение, если такая надобность возникнет, — задача почти неразрешимая. Правда, за мозг я спокойна — он что-нибудь придумает. Недаром он электронный... А что делать мне с моим обыкновенным серым веществом? Как переехать на новую квартиру?

Короче, я решила обойтись своими силами и силами авторов нашего журнала. В конце концов, подумала я, ведь это они, писатели, поэты, публицисты, карикатуристы, виноваты в том, что нет грузчиков, — мало писали, рисовали, пели про сферу обслуживания населения. Вот теперь пусть сами тюки и таскают. А чтобы никому не было обидно, пусть каждый автор возьмет то, что он сам написал, что лежит в нашем объемистом редакционном портфеле, и перенесет все это в новое здание редакции — так мы и переедем.

И вот настал день переселения. По Садовому кольцу потянулась вереница авторов, сгибающихся под грузом своих произведений.

Особенно тяжело пришлось прозаикам. Они еле тащились со своими огромными романами, повестями, запутанными, многоплановыми детективами... А рядом шла наша заведующая отделом прозы, повторила: «Я говорила, писать надо короче... Я говорила...» Один слабосильный прозаик, чтобы не свалиться, стал по дороге выбрасывать из своего романа главу за главой, и, когда он достиг нового по-

мещения редакции, в руках у него оказался афоризм, который прозаик тут же сдал мне, в отдел сатиры и юмора.

Гораздо легче перенесли переезд поэты. Как-никак, их мощность равнялась одной лошадиной силе! Я имею в виду Пегаса, которого они впрягли в воз со своими рукописями, да еще и сами уселись сверху. И доехали бы они до площади Маяковского с большим шиком, если бы по дороге их не оштрафовал милиционер. Ведь проезд по Садовому кольцу на гужевом транспорте запрещен. Так как денег у поэтов не оказалось, пришлось им расплачиваться натурой — стихами, посвященными советской милиции.

Интересно организовал транспортировку своих рукописей отдел спорта. Статьи на спортивные темы были свернуты в трубочки, и их, как эстафету, передавали друг другу легкоатлеты, которые в рекордное время преодолели расстояние от старой до новой редакции.

Легче всего переселиться было мне, Галке Галкиной. Жанр у меня короткометражный, малоформатный, места занимает совсем немного... Сложила я юморески, фельетоны, пародии в свой зеленый портфельчик и, назвистывая веселую песенку, перенесла его на второй этаж нашего нового дома.

Перейти-то туда для меня было легко, а вот работать на новом месте оказалось невыносимо. Ведь на первом этаже здания, где помещается наша редакция, находится ресторан «София», и до меня в самое рабочее время доносится аппетитнейший запах асорт из молодого барашка. В минуты соблазна я обращаю свой взор на бронзового Владимира Владимировича и сразу проникаю важностью задач, стоящих перед сатирой и юмором. Нежный запах барашка немедленно отлетает от меня и начинает мучить другого редактора, который сидит в соседней кабинете. Но это — единственное неудобство нашего нового помещения. Достоинств гораздо больше. О них хочется сказать строчками стихотворения нашего великого соседа по площади — «Рассказ литейщика Козырева о вселении в новую квартиру»:

Во — ширина!

высота — во!

Проветрена,

освещена

и согрета...

Кто не верит, может зайти и убедиться. Напоминаю мой адрес: улица Горького, дом 32/1. Милости просим!

Ваша Галка ГАЛКИНА

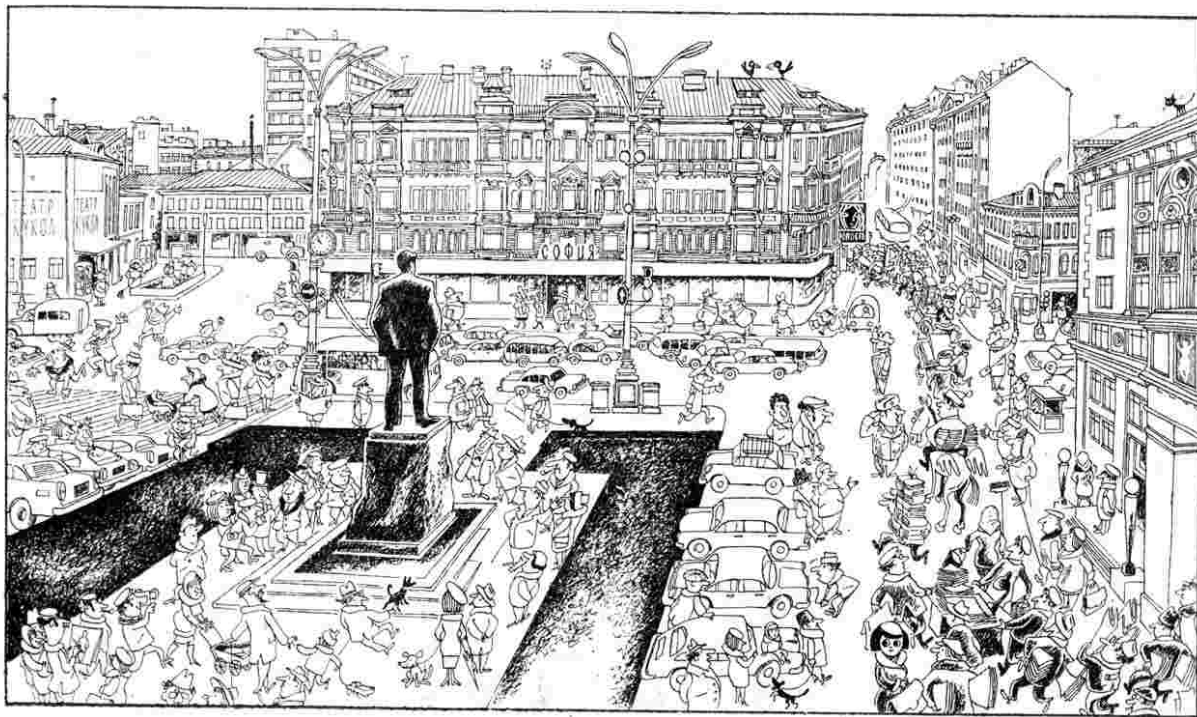


Рис. И. Оффенбедера.

Содержание журнала «Юность» за 1971 год

РОМАНЫ. ПОВЕСТИ

- АКСЕНОВ Василий.** Любовь к электричеству 3, 4, 5
БОНДАРЕНКО Борис. Цейтнот 1, 2
ЖДАН Олег. Во время прощания 3
ЖИРМУНСКАЯ Тамара. Вместе со светом 8
ИСКАНДЕР Фазиль. День Чика 10
КАРЕЛИН Лазарь. Головокружение 9
ЛИХАНОВ Альберт. Крутые горы 6
МАГОМЕД-РАСУЛ. «Дикарка» 11
НИКОЛЬСКИЙ Борис. Чужая жизнь 9
СЛАВИЧ С. Из жизни Георгия Веретенникова 8
СОБЧУК Игорь. А розу отливаете сами 4
СТЕПАНОВ Виктор. Венки на волне 2
ТАРАС Валентин. Первая молния 7
ТКАЧЕНКО Анатолий. Праздник большой рыбы 12
УВАРОВА Людмила. Будет музыка 6, 7, 8
ЧЕРНЫХ Валентин. Незаконченные воспоминания о детстве шофера междугородного автобуса 1
ШКЛЯРЁВСКИЙ Игорь. Вся надежда на Ленку 4

РАССКАЗЫ

- БАРАНСКАЯ Наталья.** Отрицательная Жизель 8
БОБРОВ Эдуард. Военная игра 10
БОРИСОВ Евгений. Обычный рейс 12
ВАСИЛЕВСКИЙ Борис. Зима на устье Илума 10
ГОНИК Владимир. Рассказы молодого врача. 1. Практика перед дипломом. 2. Первая зима. 3. Операция 10
ГУСЕЙНОВ Чингиз. Острова 7
ИВАНОВ Альберт. В День Победы 5
КЕРЦЕЛЛИ Лариса. Когда была война 8
ЛЯХОВЕЦКИЙ М. Японский транзистор. Это только начало 1
НАГИБИН Юрий. Как трудно быть учителем! 11
НЕБЫЛИЦКАЯ Наталия. Некрасивая 1
РАКША Ирина. Южак 7
РУДНЕВ Олег. Анита 5
ТЕЛЕГИН Владимир. Высота 5

СТИХИ. ПОЭМЫ

- АЛИХАНОВ Сергей.** «Мне вспоминается песчаный берег речки...» «Прекраснейшее из призваний...»
АНДРЕЕВ Леонид. Песня. «Как будто в сумрачной дали...» «Есть древний миф о колеснице...»

АНТОКОЛЬСКИЙ Павел. Из новой поэмы

АНТОНОВ Вадим. Святки

АХМАТОВА Анна. Из неопубликованного

БАЛАШОВ Эдуард. «Я забыл ваше имя...» «Война. Кто сумел — уехал...»

БАЛИН Александр. Ночная песня. «Никогда не верил я в звучанье...» «Да, я ходил на поле брани...»

БЕЛКИН Владилен. Бетонщик. «Все уже круг наш поределый...» «Не бойтесь шумных...»

БЕЛЯВСКАЯ Елена. «В садах укрылся город наш...» «Еще нигде трава не пожелтела...»

«Внизу твой домик в три окна...» Яблоко

БЕЛЯЕВ Михаил. «Воротынского поле... Как дорога тихая!...» «Просторы вырастают...» «Грянет холод, грянет...» «Снега летят сквозь рамы...»

БЕРДНИКОВ Алексей. Нефть

БЕРИАШВИЛИ Бердия. Виноградник мой

БОГУЧАРОВ Александр. Там, в земляничном Ужуре... «Имейте мужество писать...»

БОТВИННИК Семен. В Москве проездом... «Я ехал из Крыма уже к ноябрю...» «Все то же: и ветер, и птица...» Тропинка, ведущая к школе...

БОЦУ Павел. На могиле героев. Птицы. Ничейная земля. Солнце

БУБНОВ Геннадий. «С потрескавшимися губами...»

ВАЛЬШОНОК Зиновий. Политруки. Старые большевики

ВАНШЕНКИН Константин. С войны! «Была бы жизнь без этого пуста...» Океан. «Ни птиц и ни рыбок тут нет...» «Так странно скрипела сухая...» Характер. Опасность

ВЕЛИЧАНСКИЙ Александр. «Я хотел бы увидеть тебя вдалеке...» Этим мартом. «Твое дыхание все призрачней и тише...» «Видно, времена не в состоянии...»

ВИНОКУРОВ Евгений. Веселость. Метафоры. Родня. Сенсация

ВОРОНОВ Юрий. Стихи о блокаде

ВЫШЕСЛАВСКИЙ Леонид. Утренняя почта. Лодка. Фигурное катание. Дом поэта

ГЕРАСИМОВ Олег. Высота. Старый тральщик. Всплытие

ГОЛУБОВ Дмитрий. Дымок. Ильмень-озеро. На биостанции. Цветные сны

ГОРДЕИЧЕВ Владимир.

«Говор галочий убыл...» «Бывает так: заспорят двое...»

ГОРОДНИЦКИЙ Александр. Сентябрь. «Привет тебе, розово-белый...»

ГРИНИН Семен. Бухарские стихи. Родной язык. «Я снова за тобою следую...»

ГУСАРОВ Михаил. «Дышала ночь туманом...»

ГУТКИНА Ася. Волгоград. «Словно тень, я ходила по дому...»

ДАГАНОВ Абдулла. Мое оружие. «Дождь скакал за мною вдогон...»

ДАНИЛОВ Семен. «Дивно думать, что в веках...» «Я за веселою зарей, спящей очей...»

ДАРИЕНКО Петря. Наказ отца

ДЕМЕНТЬЕВ Андрей. Сентябрь. Мы добры. Приходи, весна! Ничего не оспору. Смеются дети

ДЕМИДОВ Владимир. Звезды. Ленка

ДМИТРИЕВ Олег. Возвращение в город. Утром, в день рождения Фета... Марсель. «Дымчатые кисти винограда...»

ДОЛМАТОВСКИЙ Евгений. Может быть, кто-нибудь знает. Сверчок в междугородном аэропорту

ДОРИЗО Николай. Наш век, не знающий предела. Нежность

ДРОФЕНКО Сергей. Написал на книге. Замоскворечье. Новый Перусалим. «Что может быть трудней...» «Полуночищает возраст...» «Медлительны и нелюдимы...» «Сегодня мне опять приснишься ты...» Память. Цветы. Поэт

ДРУНИНА Юлия. Мушкетеры. «Я принесла домой...» Из крымской тетради. Тост. Работа. Старая песня

ДУБРОВКИНА Юлия. «Мне мерещится то и дело...» «Все будет так, как быть должно...» «И как найти мне остраенность...»

ЖИРМУНСКАЯ Тамара. Письмо в Баксан. Грибное место

ЖИТИНСКИЙ Александр. Венский вальс. «Листаю летопись лесов...»

ЖУКОВ Александр. «Сожженный солнцем край земли...» 21 июня 1941 г.

ЗАВАЛЬНЮК Леонид. «Не раз к истоку жизни возвращаясь...» Баллада о первой любви. В знакомом лесу

ЗАУРИХ Алексей. «Ночной состав скрежещет...» Выставка военных трофеев. 45-й год. «От вихря суеты...»

ЗЛОТНИКОВ Натан. «...Ко-

гда своих друзей искал... Памяти Сергея Дрофенко. «Две тулки, да ягдташ...». «Этот слабый метели замах...». «Дождется тишины. Сойдем в Кусково...». «Тяжелых темных со-сен докучливый до-зор...». «Я вижу ваши степи, Сатимжан...». «По Москве-реке скользи-ло «сало»...»		и время писать о люб-ви...». Из военного дет-ства		ся на площади Пушки-на	
ЗУМАНУЛОВА Танзиля. «Кирке себя подставит камень гор...». «И если правда, мы лишь гости здесь...»	7	КРУЧЕНЮК Петра. Деся-тистишия	7	ОШАНИН Лев. Будапешт. «Краса осеннего листа.»	8
ИВАНОВА Анна. «В серд-це моем...». Мыши. Лю-бовь		КУЛИЕВ Кайсын. «Мне жизненавистники гро-зили...». «Когда-то, каж-дою весной...». «Рож-дается на свет дитя...». Девушке. «Много бы-ло всяких дней...». «Что составляет наше досто-яние?»	8	ПАВЛИНОВ Владимир. Ши-повник. Привал. «Крас-ная стрела»	12
ИСХАНДЕР Фазиль. Ко-фейня. «Идолы упо-жеств...». «Глухонемая девочка соседа...»	10	КУНЯЕВ Станислав. «При-снилась первая лю-бовь...». «Я приеду...». «Горький запах весен-ных дубов...». Земные сны. «Скоропадатель-ный недуг...». «Жизнь и память... Чем больше одна...»	2	ПАТТЕРСОН Джемс. Аф-рика	11
КАЛАШНИКОВ Геннадий. «Уже в который раз мне достается мир...». «Я в лес уйду на быст-рых лыжах...». «Сгорела осень...». «Вот звук зи-мы — скребок о тро-туар...»	7	КУРГАНОВ Сергей. Бес-смертие	3	ПАШКОВ Юрий. Военное дело. «Стоял народ и слушал сводку...». «С не-ба самолетик мой низ-вергся...»	3
КАРТМАЗОВ Марат. «Где ансты выгнули вын...». «Мы сидим с тобой у печки...»	3	ЛАСУРИА Мушни. «Я люб-лю твой нрав, Ко-дор...» Форель и соло-вей	1	ПЕТРОВ Владимир. «Казя-лось, живу не спеша...». «Дороги без возврата...». «В изломах стремитель-ных света...»	12
КАСАТКИН Михаил. Ночь на 1945-й год. «А само-сид — душит, как се-но...»	1	ЛАТЫНИН Леонид. Работа. «И снова день распал-ся на часы...». «Нет, не метель, а листопад...». «А день подаренный не гас...». «Тихо у светлого сада...»	9	ПИНЧУК Игорь. Баллада о потерянном рассудке	1
КАШЕЖЕВА Инна. «Стара-юсь вопреки рассуд-ку...». «Питаюсь я стра-стями, как сладостями...». «О, где ты, стиль эпи-столярный!»	6	ЛЕВИН Роман. Первый день войны. Возвра-щение. Это были мы	1	ПОПЕРЕЧНЫЙ Анатолий. Море и вечность	11
КВЛИВИДЗЕ Михаил. Ро-мантическая луна. Оч-ки. Монолог Барата-швили. «Я от рождения дальнорезок...»	12	ЛИСЯНСКИЙ Марк. Ко-миссар. В городе Дне-продзержинске. Люся Ле-вина	6	ПОРЧХИДЗЕ Шалва. По-тому что зовусь поэтом Грузии	5
КИСЛИК Наум. «Всполза-ли на берег неловко...». Как мы пели. «Заиг-рали огни...»	5	ЛУЧКОВСКИЙ Евгений. «Погода ключьями ту-мана...»	4	ПРОТАЛИН Валентин. Пер-вый лед. «Свершилось. Наконец, освободился...»	8
КОВАЛЬДЖИ Кирилл. Бал-лада о любви. «Я опять упускаю возможности...»	2	ЛЬВОВ Михаил. «Как буд-то — в веках Сорок пя-тый...». «На вокзале на Казанском...». Дон-Кихот	4	РАХМАНИН Борис. «Под сентябрьским солнцем коротким...». «Вот по-лем боя, меж окопа-ми...». «Рвущаяся в завт-ра...». «К рассвету лам-па так устало све-тит...»	9
КОВДА Вадим. «Вновь дождям по крышам ти-хо тенькать...»	7	МАРТЫНОВ Леонид. Ка-питаны Убеко. Замок-музей. Чет и нечет. Нахмурься! Безбожни-ца. Детища веков. Анге-лы спора	5	РЕВИЧ Александр. «Со-всем я не был зол или жесток...». «Видно, я ум-ру в своей постели...». «Не могу, когда плачет ребенок»	10
КОЗЛОВСКИЙ Яков. Стоя-ли дни с высоким не-бом. Колючко. «Гроза иссиня-бурая косма-то...». В чебуречной. «Тебе ли памятно са-мой...». В Черногории	1	МАТВЕЕВА Новелла. Рубаи о зависти. Подземелья. Цветная ночь	4	РЕЦЕПТЕР Владимир. «Ко-гда в черноморской вол-не...». «Соединенье двух картин...». Вид из ок-на	2
КОРНИЛОВ Владимир. «Кто не мастер — не-счастен...». Лето. Живо-пись. Пишущая машин-ка	9	МЕЖИРОВ Александр. «Улетаю по работе...». Автобус. Рынка непода-леку...	12	РЖАВСКИЙ Иосиф. Серд-це Нади	1
КОРОТАЕВ Виктор. «Не преступлю дозволен-ных предметов...». «Про-шла моя пора доволь-ства и веселья...». «Мож-но все еще вернуть...». Март. Конь	8	МЕЖИРОВА Зоя. «Как ве-село горит костер!...»	4	РОГОВ Алексей. «Страни-цы писем пожелтели...». «Закат, закат, багровый закат!...». «Жеманны они и манерны...»	2
КОСТЮРИН Диомид. Ста-рый дом. «Летят кален-дарные листья...»	11	МОВЧАН Павло. «Тот щед-рый день уже — «когда-то...». Союз с душой. Охота	5	РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Ро-берт. Латышские стрел-ки. Шум в сердце. «Я богат...». «Горбуша в сентябре идет метать икру...»	3
КОСЬКОВ Лев. «Не надо слов...». Анне Ахмато-вой. «Как ощущение по-тери...». «А ей все нету угомона...». «Превозмо-гу я все печали...»	10	МУЛДАГАЛИЕВ Джубан. «Я в долгу перед вре-менем и планетой...»	1	РИБЕЛЬСКИЙ Встреча Нового года. Стихи о собаках. За кулисами	11
КОЧАРМИН Николай. Па-харям	11	НАРОВЧАТОВ Сергей. Дав-ние стихи В Соколыни-ках. Северянка. Шот-ландская песня. Вечер	8	РОМАНОВА Мария. Вла-димир Ильичу. «В тор-жественном просторном зале...». Рассказывает память... Письмо. Из дней Отечественной вой-ны. «Были сказки дуб-равы!»	8
КРАСАВЦЕВ Евгений. В тайге. «Не кукуй, моя кукушка, сколько лет...»	10	НЕВСКАЯ Тамара. Шве-ция. Песня	2	РОЯ Инара. Волосы в Ос-венциме. Вертись, зем-ля. Дождь	4
КРУЖКОВ Григорий. «Вот	12	НИКОЛАЕВСКАЯ Елена. Июнь. «Как быстро тем-неет! Как рано!...». «Мне говоришь...»	8	РУБЦОВ Николай. Из вось-мистиший. Словы. До-рожная элегия	11
		ОДИНЦОВА Лада. У Мав-золея в полночь	6	СААКИЯ Арамаис. На пра-вах решающего голоса	8
		ОЗЕРОВ Алексей. Иду к нему. Блокада. Благо-дарность. Вечный огонь в Николаеве	1	СЕРГЕЕВ Марк. Вожатый	3
		ОКУДЖАВА Булат. На-путствие сыну. «Боя-рышник «пастушья шпора...». Старинная студенческая песня. «Былое нельзя воро-тить. И печальтесь не о чем...». Приезжая семья фотографирует-	1	СИНЕЛЬНИКОВ Михаил. Степная дорога. Киргиз-ская охота	12
				СЛУЦКИЙ Борис. Моя средняя школа. Солдат-ский отпуск. Заболоц-кий спит в итальянской гостинице. «Делайте ва-ше дело...». «Своим стильком плетения сло-вес не очарован я, не околдован...». Отец	7

СМИРНОВ Валентин. Первый бой. Прикрой меня, пехота. «Люблю тебя, а сердцу страшно...»

СМИРНОВ Виктор. Зимний день

СМИРНОВ Юрий. Камни

СОКОЛОВ Владимир. «Эта память, как странное зимнее озеро...». «Ты плачешь в зимней темноте...». «Я не боюсь воскреснуть...». «Нет школ никаких...»

СОЛОЖЕНКИНА Светлана. «Мы даже не замечаем того, что бескрайностью дышим...». «Не хочу и смотреть, а вижу...». «Я больше рифм банальных не боюсь...». «Задуй свечу. Задуй фонарь за окнами...». «Я не спешу. Еще не поздно...»

СУВОРИНА Екатерина. «Будто бешеные кони...». «По ночам иногда...»

СУХАРЕВ Дмитрий. «Казалось бы, вовсе не сложно...»

ТЕМИН Леонид. «Слегка туманен воздух...»

ТОПОРОВСКИЙ Ян. Песня. Столовая. Баклань

ТОРАЙГЫРОВ Султанмахмуд. Листья. Страсть к девушкам. Счастье

ТЯПКИН Николай. Веретена. Песня. «Свет ты мой робкий...»

УЛЯНОВА Ираида. Речка Сим

УРИН Виктор. Беспартийные большевики

ФАРХАДИ Раим. «Аральское море уходит...». Гречиха. Свет Родины

ФРОЛОВ Геннадий. «Добирался поздно ввечеру...»

ХЕЛЕМСКИЙ Яков. «За лозиями блестит синева...». «Подходит апрель-зимобор...». «Жесткий лист глянцевого лавра...»

ХОРОШАВЦЕВ Геннадий. «Как будто века тишины над запретною зоной...». «Ночи июня!..». Соловей

ХРАМОВ Евгений. «В Ялutorовске, городке сибирском...». Романс

ХРОМОВ Александр. Испытание

ЦАКУНОВ Олег. «Когда допеты песни, мы молчим...». Поэтам гражданской

ЧЕБОТАРЕВ Валерий. «Конец плодотворного августа...». Осень

ЧУЕВ Феликс. Гатчина. «Столкновение встречных протонов...»

ШАЛАМОВ Варлам. Луноход. «Коварна карта марта...». «Стоял я тихо возле скал...». «Не чеканка — литье...». «Читайте стихи, сбиваться с шага...»

ШАМАНСУР Юсуф. Памяти учителя. «Когда б узнал я наперед...»

ШАПОВАЛОВ Михаил. «Столько жалости, нежности, боли...». «Волной штормовых январей...». «Целую женщину в ус-

та...». «Птичьи стаи, гортанноголосы...»

ШЕРАЛИ Лонк. Чаша Хайяма

ШЕФНЕР Вадим. Знакомое место. Невод. «Ты в былые свое оглянься...»

ШИРОКОВ Виктор. Бабники половники

ШКЛЯРЕВСКИЙ Игорь. «Сегодня тревожно запахло весной...». «Уже в полях летает паутина...». «В открытом тамбуре на черном сквозняке...». «Я спал и не слышал, как ливень шумел...». «Листовой заваленный паром...». «Я и зимой тебя не разлюбил...». «Поэзию не понимал...». «Пустует синицы кормушка...»

ШЛЕНСКИЙ Владимир. «Когда перо доплет чернила...»

ОЧЕРКИ. СТАТЬИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ВСТРЕЧИ

АМЛИНСКИЙ Владимир. Мальчишки без девчонок

АНАШЕНКОВ Борис. Вальс Пушкин и другие

БЛАГОВ Светослав. Улыбка Анахиты

БОССАРТ Алла. Капля в море

БРАЙНИН И. «...Мы не играем»

ВАСИЛЬЕВ И. Течет под Белым речка Льба Женских и невесты

ВИЛЬЯМС Альберт Рис. По земле советской

ГЕРБЕР Алла. Без черно-вилок

ГУТИОНТОВ Павел. Летчик он не стал

ДАНИЛОВ Александр. Горизонт чист

ДЕВЯТАЯ ЕМЕЛЬЯНОВ В. Все остается людям

ЗВЕРЕВА Мария. Тесней наш верный круг составим...

ИКОНИКОВА Светлана. ФРОЛОВ Алексей. Трудно ли стать взрослым? Им вершить пятилетки. Диалог с заместителем председателя Государственного комитета Совета Министров СССР по профессионально-техническому образованию В. А. Саушевым

КАЗАКОВ Михаил. Кентавр

КАЗОВСКИЙ Мих. Вкус настоящей жизни

КОВАНОВ П. Будь хозяином!

КОРОЛЬКОВ Юрий. Говорит «Пэ-Тэ-Икс»

МАКСИМОВА Э. «Назидательно посвящается...»

МЕРЖАНОВ Мартын. Тридцатое апреля

НАУМОВА Н. О зрелости подлинной и мнимой. Наш апрель

Образ образования. Беседа с делегатом Первого Всесоюзного слета студентов Камилем Исхаковым

ОЧАКОВСКАЯ Л. Любимые твои ученики

ПРОКОФЬЕВ М. А. Пути советской школы

Пятилетке — творчество молодых

СОЛОВЕИЧИК С. Рассказывайте о Сухомлинском

воспитание по команде

СОРОКИН Э. Мой первый дом

СТАЛЬСКИЙ Н. Шаги часов

СУРКОВ Алексей. Благо народа — цель партии

Улица Менделеева

ФРОЛОВ Алексей. Уютный десант

Яблоневый герб

Человек и вещи

ЧУПРОВ Алексей. Завтра прыжки

ЭРЕНБУРГ Илья. Летопись мужества. Предисловие Константина Симонова

ЮДИНА Валентина. ЧЕРНЫХ Борис. Гинин думает о жизни

Всем «Миром»

ЯКОВЛЕВ Андрей. Полчас — это много

ЯКОВЛЕВ Борис. Они были первыми

Новые страницы

НАУКА И ТЕХНИКА

ВОЛГИН Борис. Ученый — кто же это такой?

ГЛАДКОВ Т. «Как ни трудно, работу не прерывайте...»

ДОРОФЕЕВА Вера. ДОРОФЕЕВ Виль. Выстрел в плазму

ДЬЯКОНОВ Кирилл. Природа и мы

ПОЛУНОВ Гр. Философия семи отмеров

СЕВАСТЬЯНОВ Виталий. Земные связи человека

ФЕДОРОВ Евгений. По законам природы

ХЕИЕРДАЛ Тур. Экспедиция «Ра»

ШИКАН Виктор. Человек и планеты

ЛИТЕРАТУРА. ИСКУССТВО

БОБОРЫКИН В. В пути

БРАЗУЛЬ Ирина. Апрельской ночью

ВОРОНОВ Вл. Ответственность

ЗЕРЧАНИНОВ Ю. СИЛЕЦКИЙ А. Фурмановы и Чапаевы. (К 80-летию со дня рождения Д. А. Фурманова)

Как это у них было (Алексей Сурков, Лев Славин, Мариэтта Шагинян, Семен Кирсанов, Павел Антокольский)

КАРП П. Дух гнева и печали

КИРЗОВ Вл. В зеркале судьбы

КОЖЕНКОВА Алла. «Объемный, многомерный мир театра»

Круг чтения

КУПЦОВ Иван. Устремленное в завтра

Трудное дело портрета

Энциклопедия Игоря Грабаря

ЛАВЛИНСКИЙ Л. В защиту жанра

О «тихой» лирике

ЛАЗАРЕВ Л. «Он родился и жил во второй половине двадцатого века»

ЛАТЫНИНА Алла. Мир Достоевского. К 150-летию со дня рождения писателя

ГНЕВ Владимир. О гуманизме и человеческой памяти

ПОЗДНЯЕВ Константин.

Милая сердцу Малеев-
ка
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ С. Пе-
вец отважных людей (к
70-летию со дня рожде-
ния А. А. Фадеева) . . .
Призвание писателя . . .
Разговор с Майей Пли-
сецкой
РАССАДИН Станислав.
Преодоление
РЕЙНЕР Ю. Поэтическое
видение мира
РОЗОВ Виктор. Я счаст-
ливый человек
РЯБИКИНА Светлана. Дни,
оставленные на рисун-
ках
СТОРОЖАКОВА Лариса.
Мысль изреченная и
ложь
СУРКОВ Алексей. Великий
демократический поэт
России. (К 150-летию со
дня рождения Н. А. Не-
красова)
ТУРКОВ А. Живая мысль
ТУРОВСКАЯ М. «Зори» на
Таганке
ФИЛИППОВ Борис. Как я
стал «домовым»
ЦИШЕВСКИЙ Юрий. «Джу-
зеппе Верди» и другие
Художник должен уметь
удивляться
ЧУКОВСКИЙ Корней. Тол-
стой как художествен-
ный гений
ШМИДТ И. Скульптор,
влюбленный в спорт
ЮРЬЕВ Е. Без риска нет
открытий
ЯКОБСОН Леонид. «Моя
битва за новую хорео-
графию»

ЗАМЕТКИ. КОРРЕСПОН- ДЕНЦИИ. ПОЧТА «ЮНОСТИ»

Аврора — золотой час. Об-
зор писем
АНДРЕЕВА Виктория. При-
звание
АРОВ Борис. Свадьба
амазонки
АРОНОВ А., ПЧЕЛЯКОВ А.
Тимофеев любит падать
на сено
ВАСИЛЬЕВ И. «Не посрам-
лю земли русской...»
ВАСИЛЬЕВ М. Колбаса
«особливой приятности»
ВОЛОДИН Д. Абрикосы в
Сокольниках
ЕГОРОВА А. Жанна д'Арк
Арзамасского уезда
ЗЕРЧАНИНОВ Юрий. Ре-
портаж из Толстой мо-
гилы
Как Мозолевский пере-
хитрил древних граби-
телей
КОЗЛОВСКИЙ Мих. Вкус
настоящей жизни
КУЗНЕЦОВА Наташа. Чтим
их память
ЛАММ А. Нежная береста
братьев Надеждиных
ЛЕСНЕВСКИЙ Ст. Лебеди
на лугу
ЛЕСС Ал. Ленинградский
друг Симеона
ЛОМАКИНА Инна. Третий
Шталин
НИКОЛЬСКИЙ В. Силач и
балерина
ОКУНЕВ Ив. Две встречи
с Ральфом Куулем
ПЧЕЛЯКОВ А. Цена вакци-
ны
Пчела в гостинице «Рос-
сия»
РЕЙН Евгений. Школа
Мельтиниса

Твои планы, ровесник . . .
«Урок обществоведения»
продолжается
ЧЕРАШНЯЯ Д. Они видят
мир
Шел самолет в Одессу . . .

СПОРТ. ШАХМАТЫ

АКСЕНОВ В. Рассказ о
баскетбольной команде,
играющей в баскетбол
АМЛИНСКИЙ Владимир.
СИДОРОВ Евгений.
ЦСКА — «Динамо» (Ди-
алог о футболе) . . .
БЛИЗНЮК Семен. Маль-
чик, бегущий к реке
БОТВИННИК Михаил. Пи-
шу правду
Первые ходы. Будет ли
удачлив претендент?
ЗЕРЧАНИНОВ Юрий. Три
рассказа на одну тему
Кто где, а Мухин на
крыше
ЛЮБЕЦКАЯ Татьяна. Вну-
чки тети Маши Под-
дубной
ПЧЕЛЯКОВ Александр.
«Ты» и «вы»
РЫЖКОВ Дмитрий. В по-
исках человека, убе-
жавшего от шайбы
«Твой любимый спорт-
смен?»
ТОКАРЕВ Станислав. Лар-
ка и Витя — мои
друзья
Турне, или две недели
с фигуристами, прове-
денные мною в роли,
которую трудно сфор-
мулировать

ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

АНТОНОВИЧ А. Трудная
задача
БЫСТРОЛЕТОВ Н. После
диктанта
ВЛАДИМОВ Михаил. Пу-
скается кино
Литературные пародии
ВОЛЬФСОН М. На всякий
случай
Учительница
Галка ГАЛКИНА. Каков во-
прос — таков ответ
Перлы
Я к вам пишу... Репли-
ка на реплику в журна-
ле «Москва»
Я меняю адрес
ДЕЖИН Владимир. Сюр-
приз
ДИМЕНТ М. «Симулянт»
ДРОБИЗ Герман. Старший
товарищ. Почему они не
берут билет
Взрослые дети. Узкие
специалисты
ДУМБАДЗЕ Н. Репетиция
**ЗАХАРОВЫ Наталья и Ва-
лери.** Машина времени
ИВАНОВ Александр. Раз-
говор с вороном
ИННИН Арк., ОСАДЧУК Л.
Машина Гименей
КАРЕЛИН Лазарь. Путь
мужчины
КУЧАЕВ Андрей. Экспери-
мент
ЛЮБЕЦКАЯ Татьяна. Силь-
ные мира сего
ПАНКОВ Вл. Нужные люди
ПОЛИКАРПОВ А. Япон-
ский талисман
РАСКАТОВ Мих. Не слышу
РИХТЕР Юрий. В свои во-
рота
РУБИНА Дина. Беспокой-
ная натура
Новенькая

СТРОНГИН В. ЧСД . . .
ТАРАСКИН А. Эти двое . . .
ФУРМАН Е. Принципи-
альный подход . . .
**ХАЙТ А., КУРЛЯНД-
СКИЙ А.** Бочка Диогена
ХМЕЛИК Наташа. Первый
бал
ШАРГОРОДСКИЕ А. и Л.
Жертва моды . . .
ШАТЬКО Е. Бег трусцой . . .

В ИЛЛЮСТРИРОВАНИИ ЖУРНАЛА ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:

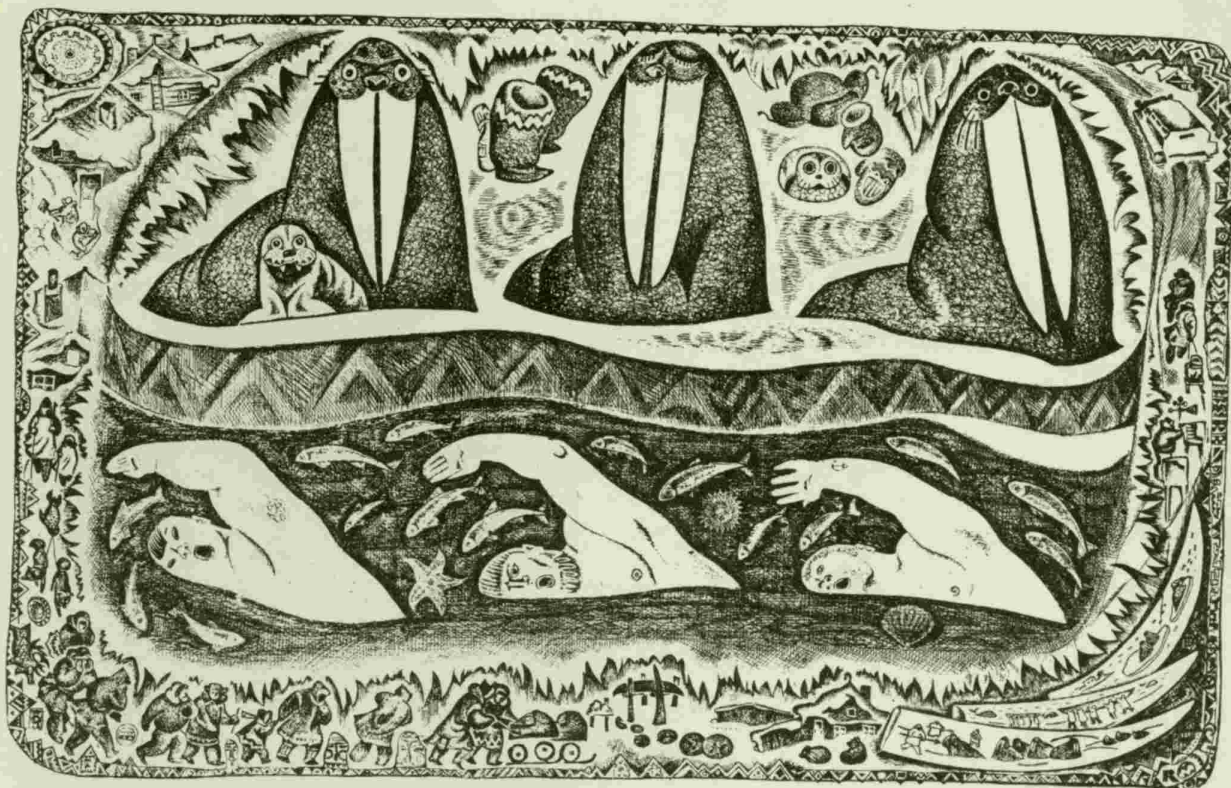
Г. Басыров, В. Бахчанян, Л. Би-
рюков, С. Бродский, И. Бронни-
ков, О. Верецкий, Ю. Вечерский,
В. Владыкин, А. Волков, Р. Воль-
ский, О. Вуколов, В. Гальдяев,
А. Головаченко, Д. Каретников,
Л. Корсаков, И. Лемешев, Е. Лехт,
М. Лисогорский, А. Лурье, А. Мак-
симов, В. Минаев, С. Минаева,
Е. Муханова, Г. Новожилов, И. Оф-
фенгенден, Г. Пондопуло, Г. Сае-
вич, К. Соколов, И. Суслев, С. Тро-
шин, А. Флерова, Л. Хайлов,
Э. Ханов, Ю. Цишевский, А. Чер-
нов, А. Шульц, В. Юдин.

АВТОРЫ РАБОТ НА ОБЛОЖКАХ:

В. Артамонов, И. Ахмадеев,
В. Богаткин, В. Былинкин, О. Ве-
рейский, Н. Вигилянская, В. Виль-
джюнас, В. Власов-Климов, О. Ву-
колов, В. Демин, И. Зарипов, Е. Зо-
лотарев, Ф. Качелаев, Д. Косьмин,
В. Кошелев, А. Леонов, А. Макси-
мов, Б. Окороков, В. Орлов, В. Пав-
лоцкий, М. Ройтер, А. Соколов,
Е. Соколова, С. Торлопов, В. Федо-
ров, Ю. Цишевский, И. Чайков,
А. Чернов.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ВКЛАДКАХ:

№ 1: И. Валиулин, О. Вуколов,
К. Добрай, А. Ливанов, К. Оганесян.
№ 2: К. Абрамвичус, В. Васи-
ленко, А. Пилар, Л. Подляская,
И. Чарская, Г. Черемушкин.
№ 3: Ю. Александров, Г. Ефимоч-
кин, А. Кашкуревич, Г. Мызников,
Е. Родионова, Э. Рябичев.
№ 4: А. Абдурахманов, Е. Бела-
шова, Б. Дюжев, В. Мухина, В. Со-
колов.
№ 5: А. Дюрер.
№ 6: И. Быканова, И. Иванов-
ский, Ю. Коровин, А. Орловский,
Ю. Павлов, Л. Ройтер, А. Щербин-
нин.
№ 7: З. Басыров, В. Беднов,
А. Казанский, О. Кикеев, П. Салм-
сов, Г. Янаков.
№ 8: О. А. Кипренский, М. В. Не-
стеров, В. Г. Перов, Рембрандт ван
Рейн.
№ 9: Ф. Ниеминен, П. Никонов,
И. Обросов, В. Сидоров, С. Юнту-
нен, Т. Яблонская.
№ 10: И. Э. Грабарь.
№ 11: Н. Задонский, М. Кажоци-
ня, Е. Моисеенко, Г. Неледова,
Г. Тоидзе, С. Торлопов.
№ 12: В. Захарова, Н. Коробова,
Н. Марченко, В. Мяков, В. Прядко,
А. Фогель.



«Моржи»

Офорты
Виктора
КОШЕЛЕВА
(Магадан)

Из серии
«Чукотские игры»



«Чат»



Цена 40 коп.

Индекс
71120